АНДРЕ

ЖИД

Тесные врата
Изабель
Пасторальная симфония



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Тесные врата. Изабель. Пасторальная симфония

Андре Жид

Аннотация
Андре Жид. Тесные врата. Изабель. Пасторальная симфония
Тесные врата
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Изабель
I
II
III
IV
V
VI
VII
Пасторальная симфония

Тетрадь первая
Тетрадь вторая

Аннотация

В сборник вошли три произведения Андре Жида, объединенные темой морального выбора и внутреннего конфликта личности, которые позволят читателю лучше понять талант одного из главных знатоков человеческой души французской литературы.

«Тесные врата» – во многом автобиографическая повесть, в которой рассказывается история Жерома и Алисы – кузенов, влюбленных друг в друга, но вынужденных отказаться от своих чувств в пользу нравственности и благодетели.

«Изабель» – повесть не столько о любви, сколько о пробуждении зрелости, в которой любовная история становится темой для авторских размышлений. Иллюзии Жерара о том, что поездка в поместье известного ученого сулит ему романтическое приключение, разбиваются о суровую реальность, когда тот становится свидетелем драмы, развернувшейся в семье Флош.

«Пасторальная симфония» – история о запретной любви между пастором и слепой

сиротой, которую он берет на воспитание и спасает от нищеты, обернувшаяся трагедией, когда сострадание превращается в страсть, а благочестие – в самообман.

Андре Жид
Тесные врата
Изабель
Пасторальная симфония

© Перевод. Я. Богданов. 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2026

Тесные врата

Подвизайтесь войти сквозь тесные врата.
Лука, 13:24

I

Той истории, которую я собираюсь рассказать, иному достало бы на целую книгу; мои же силы все ушли на то, чтобы прожить ее, и теперь я опустошен совершенно. Так что я лишь бесхитростно запишу свои воспоминания, и, если местами в них будут прорехи, я не стану латать их или заделывать, присочиняя то, чего не было; усилия, необходимые для такой отделки, лишили бы меня последней отрады, какую, надеюсь, принесет мне повествование.

Мне не было еще и двенадцати лет, когда я потерял отца. Моя мать, которую ничто более не удерживало в Гавре, где отец как врач имел практику, решила перебраться в Париж в надежде, что там я лучше закончу свое образование. Она сняла поблизости от Люксембургского сада небольшую квартиру. В ней вместе с нами поселилась и мисс Флора Эшбертон, у которой не осталось никакой родни и которая, будучи поначалу домашней воспитательницей моей матери, стала впоследствии ее ближайшей подругой. Я рос в окружении этих двух женщин, всегда

одинаково нежных и печальных и никогда не снимавших траура. Как-то раз, уже, наверное, порядочно времени спустя после смерти отца, моя мать вышла утром в чепце, перевязанном не черной лентой, а сиреневой.

— Мамочка! — воскликнул я. — Как не идет тебе этот цвет!

На следующий день на ней вновь была черная лента.

Здоровьем я не отличался, и если, несмотря на вечные заботы и хлопоты матери и мисс Эшбертон, как уберечь меня от переутомления, я все же не сделался лентяем, то исключительно благодаря какому-то врожденному трудолюбию. Едва наступали первые погожие дни, обе женщины немедленно находили, что я очень бледный и меня как можно скорее надо увозить из города; к середине июня мы переезжали в Фонгезмар, в окрестностях Гавра, где жили все лето в доме моего дяди Бюколена.

Окруженный, как это принято в Нормандии, садом, вполне заурядным, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом Бюколенов похож на множество других сельских домов постройки XVIII века. Два десятка окон смотрят на восток, в сад; столько же — на проти-

воположную сторону; по бокам окон нет. Рамы состоят из довольно мелких квадратиков: в тех из них, что недавно заменены, стекла кажутся гораздо светлее старых, которые сразу точно потускнели и позеленели. К тому же в некоторых есть еще и так называемые «пузыри»; взглянешь сквозь такой на дерево — оно все искривится, взглянешь на проходящего мимо почтальона — у него вдруг вырастает горб.

Сад имеет форму прямоугольника и окружен стеной. Через него к дому, огибая просторную затененную лужайку, ведет дорожка из песка и гравия. Стена здесь не такая высокая, и за ней виден хозяйственный двор, который со стороны дома прикрыт садом, а снаружи, как принято в здешних местах, обрамлен двумя рядами буковых деревьев.

Позади усадьбы, с западной стороны, сад разрастается свободнее. По нему вдоль шпалер, обращенных на юг и обвитых яркими цветами, проходит аллея, укрытая от морских ветров несколькими деревьями и стеной густого кустарника, португальского лавра. Другая аллея, идущая вдоль северной стены, теряется в гуще ветвей. Мои кузины всегда называли ее «темной аллеей» и с наступлением сумерек не отважи-

вались заходить в нее слишком глубоко. Обе эти аллеи в конце несколькими уступами спускаются к огороду, который как бы продолжает сад. Отсюда через маленькую потайную дверь в стене попадаешь в молодой лесок, где смыкаются подходящие справа и слева двойные ряды буковых деревьев. Если взглянуть с заднего крыльца дома, то за леском открывается чудесный вид на широкое поле со жнивьем. А еще чуть дальше, на горизонте, — деревенская церквушка да вечером, когда все затихает, кое-где струйки дыма над крышами.

Погожими летними вечерами мы спускались в «нижний сад», выходили через потайную дверку и шли к скамейке под буками, откуда тоже было видно довольно далеко; там, возле соломенного навеса, оставшегося от брошенной мергельной разработки, дядя, мать и мисс Эшбертон усаживались; неширокая долина перед нами наполнялась туманом, а вдали над лесом золотело небо. Обратно шли не спеша, темным уже садом. Возвратившись в дом, мы встречались в гостиной с тетей, которая почти никогда не принимала участия в наших прогулках… На этом для нас, детей, вечер заканчивался; однако очень часто мы допоздна читали в своих комнатах, пока

не слышались шаги взрослых, поднимавшихся по лестнице.

Кроме сада, местом, где мы проводили большую часть времени, была «классная» — дядин кабинет, куда поставили несколько школьных парт. Я сидел за одной партой с кузеном Робером, сзади нас садились Жюльетта и Алиса. Алиса была на два года старше, а Жюльетта на год моложе меня. Робер из нас четверых был самым младшим.

Писать воспоминания о своем детстве я не намерен и расскажу лишь о том, что имеет отношение к этой истории. А началась она, могу сказать совершенно определенно, в год смерти отца. Горе, постигшее нас, и глубокая печаль матери, даже в большей степени, нежели моя собственная, обострили мою природную чувствительность и, вероятно, предрасположили меня к новым переживаниям: я возмужал прежде времени; поэтому, когда тем летом мы вновь приехали в Фонгезмар, Жюльетта и Робер показались мне совсем еще маленькими, однако, увидев Алису, я внезапно понял, что и она, так же как и я, перестала быть ребенком.

Да, это было именно в год смерти отца; я не могу ошибиться, потому что хорошо помню один разговор матери и мисс Эшбертон, сразу после

нашего приезда. Они оживленно беседовали, когда я внезапно вошел в комнату; речь шла о моей тете: моя мать была возмущена тем, что она то ли вовсе не носила траура, то ли слишком рано сняла его. (По правде сказать, мне одинаково невозможно вообразить как тетю Бюколен в черном, так и мою мать в светлом платье.) В день нашего приезда, сколько мне помнится, на Люсиль Бюколен было платье из муслина. Мисс Эшбертон, которая всегда стремилась ко всеобщему согласию, пытаясь успокоить мою мать, осторожно заметила:

— Но ведь белый цвет тоже может быть знаком скорби…

— Это пунцовая-то шаль у нее на плечах — «знак скорби»? Да как вы могли сказать мне такое, Флора!

Я видел тетю только в летние месяцы, во время каникул, и вполне понятно, что из-за постоянной жары она и носила все эти очень открытые легкие платья; как раз глубокие вырезы и раздражали мою мать, даже гораздо больше, чем разные яркие накидки на тетиных обнаженных плечах.

Люсиль Бюколен была очень красива. На сохранившемся у меня маленьком портрете она изображена такой, какой была в ту пору, и ли-

цо ее настолько юно, что ее можно принять за старшую сестру ее собственных дочерей, рядом с которыми она сидит в обычной своей позе: голова слегка опирается на левую руку, мизинец которой жеманно отогнут и касается губ. Густые, слегка волнистые волосы подвернуты и схвачены на затылке крупной сеткой; в полукруглом вырезе корсажа — медальон из итальянской мозаики на свободной черной бархатке. Поясок, тоже из черного бархата, завязанный большим бантом, широкополая шляпа из тонкой соломки, которую она повесила за ленту на спинку стула, — все это еще больше делает ее похожей на девочку. В правой руке, опущенной вдоль тела, она держит закрытую книгу.

Люсиль Бюколен была креолкой; своих родителей она не знала совсем или потеряла очень рано. Позднее я узнал от матери, что родители то ли бросили ее, то ли умерли, и ее взяли к себе пастор Вотье с женой, у которых детей не было и которые вскоре после того вместе с девочкой уехали с Мартиники и поселились в Гавре, где уже жила семья Бюколен. Вотье и Бюколены сблизились; дядя мой был в ту пору за границей, служащим в каком-то банке, и лишь спустя три года, вернувшись домой, впервые увидел

маленькую Люсиль; он влюбился в нее и немедленно попросил руки, к великому огорчению своих родителей и моей матери. Люсиль было тогда шестнадцать лет, и к тому времени г-жа Вотье родила уже двоих детей; она начинала опасаться влияния на них приемной дочери, чей характер день ото дня все более удивлял их своей необычностью; кроме того, достатком семейство не отличалось… В общем, моя мать назвала мне достаточно причин, по которым Вотье с радостью восприняли предложение ее брата. Я склонен думать, ко всему прочему, что юная Люсиль грозила поставить их в ужасно неудобное положение. Я достаточно хорошо знаю гаврское общество и без труда могу себе представить, как там принимали эту прелестную девочку. Пастор Вотье, которого я узнал впоследствии как человека мягкого, осторожного и вместе наивного, бессильного перед интригами и совершенно безоружного против сил зла, — тогда эта благородная душа, видимо, была затравлена совершенно. О г-же Вотье не могу сказать ничего; она умерла в родах, на четвертом ребенке, и тот мальчик, почти одних со мною лет, позднее стал моим другом…

Люсиль Бюколен почти не участвовала в общей нашей жизни; она спускалась из своей комнаты

после полудня, когда все уже выходили из-за стола, тотчас же устраивалась где-нибудь на софе или в гамаке, лежала так до самого вечера, после чего поднималась в полном изнеможении. Бывало, несмотря на то что лоб у нее был абсолютно сухой, она прикладывала к нему платок, точно при испарине; платочек этот поражал меня своей необычайной тонкостью и запахом — каким-то не цветочным, а скорее даже фруктовым; иногда она брала в руки крошечное зеркальце со сдвигающейся серебряной крышечкой, висевшее у нее на поясе вместе с другими такими же вещицами на цепочке для часов; она долго разглядывала себя, потом, слегка послюнявив кончик пальца, что-то вытирала им в уголках глаз. Очень часто она держала книгу, хотя почти никогда ее не открывала; книга была заложена черепаховой закладкой. Когда вы подходили к ней, она вас не замечала, оставаясь погруженной в свои грезы. Нередко, по усталости или рассеянности, из ее рук, или с подлокотника софы, или из складок юбки что-то падало на пол — платочек ли, книга, какой-нибудь цветок или ленточка. Однажды — это тоже воспоминание из детства — я поднял книгу и, увидев, что это стихи, густо покраснел.

По вечерам Люсиль Бюколен также не подходи-

ла к общему семейному столу, а садилась после ужина за фортепьяно и, словно любуясь собой, играла медленные мазурки Шопена; иногда, сбиваясь с такта, она вдруг застывала на каком-нибудь аккорде…

Рядом с тетей я испытывал какое-то тревожное волнение, в котором были и растерянность, и смутное восхищение, и трепет. Быть может, неведомый инстинкт предупреждал меня об опасности, исходившей от нее; вдобавок я чувствовал, что она презирает Флору Эшбертон и мою мать и что мисс Эшбертон боится ее, а мать относится к ней неприязненно.

Я бы очень хотел простить вас, Люсиль Бюколен, забыть хоть ненадолго о том, сколько зла вы сделали… постараюсь по крайней мере говорить о вас без раздражения.

Как-то раз тем же летом — а может быть, и следующим, ведь обстановка почти не менялась, и некоторые события в моей памяти могли смешаться — я забежал в гостиную за книгой, там уже сидела она. Я было собрался уйти, как вдруг она, обычно будто и не замечавшая меня, произнесла:

— Почему ты так быстро уходишь, Жером? Ты меня испугался?

С бьющимся сердцем я подошел к ней, заставил себя улыбнуться и протянуть ей руку, которую она уже не отпускала, а свободной ладонью гладила меня по щеке.

— Бедный мальчик мой, как дурно одевает тебя твоя мать!..

На мне была тогда плотная блуза, типа матроски, с большим воротником, который тетя принялась собирать с обеих сторон.

— Отложной воротник так не носят, его весь нужно расстегнуть! — сказала она, отрывая верхнюю пуговицу. — Ну вот, взгляни-ка на себя теперь! — И, достав зеркальце, она почти прижала меня к себе, ее обнаженная рука обвила мою шею, скользнула за полурасстегнутый ворот и после насмешливого вопроса, не боюсь ли я щекотки, стала опускаться все глубже и глубже… Я вскочил так стремительно, что моя блуза треснула по шву; с пылающим лицом я бросился вон из комнаты, услышав вдогонку: «Фу, какой глупый!» Я убежал в самый дальний конец сада, и там, смочив платок в бочке с дождевой водой, прикладывая его ко лбу, тер им щеки, шею — все, чего коснулась рука этой женщины.

Бывали дни, когда с Люсиль Бюколен случались «приступы». Это начиналось внезапно, и в доме

все сразу шло кувырком. Мисс Эшбертон торопилась куда-нибудь увести или чем-то занять детей; но ничто не могло заглушить ужасных криков, доносившихся из спальни или из гостиной. Дядя в смятении носился по коридорам, разыскивая то салфетки, то одеколон, то эфир; вечером, выходя к столу без тети, он выглядел очень озабоченным и постаревшим.

Когда приступы уже почти проходили, Люсиль Бюколен звала к себе детей, то есть Робера и Жюльетту; Алису — никогда. В эти печальные дни Алиса почти не покидала своей комнаты, где ее изредка навещал отец; он вообще любил беседовать с ней.

Тетины приступы производили сильное впечатление на прислугу. Однажды приступ был каким-то особенно тяжелым, и я весь вечер провел вместе с матерью в ее спальне, где было меньше слышно то, что происходило в гостиной; вдруг из коридора донесся звук торопливых шагов и крик нашей кухарки:

— Хозяин, хозяин, спускайтесь скорее! Хозяйка, бедная, помирает!

Дядя как раз был в комнате у Алисы; моя мать пошла вместе с ним. Примерно через четверть часа они проходили мимо открытых окон комнаты,

где сидел я, но они об этом забыли, и я услышал, как моя мать говорила:

— Позволь, я скажу тебе, мой друг; это всего лишь комедия. — И она повторила несколько раз по слогам: — Ко-ме-дия.

Это произошло ближе к концу каникул, два года спустя после нашего траура. Увидеть тетю в следующий раз мне предстояло уже очень нескоро. Однако, прежде чем пойдет речь о событии, перевернувшем окончательно жизнь нашей семьи, а также о небольшом происшествии, которое еще накануне основной развязки превратило в настоящую ненависть то сложное и до поры смутное чувство, что я испытывал к Люсиль Бюколен, — самое время рассказать вам о моей кузине.

Была ли Алиса Бюколен хороша, о том я еще не мог тогда судить; меня неизменно влекло к ней и удерживало подле нее какое-то особое очарование, а не просто красота. Конечно, она была очень похожа на мать; однако выражение глаз ее было настолько отличным, что самое сходство между ними я заметил лишь много позднее. Описывать лица я не умею, от меня ускользают не только черты, но даже цвет глаз; я хорошо помню только ее улыбку, уже тогда немного грустную, да изгиб бровей, необычно высоко поднятых, обрамляв-

ших глаза большими полукружьями. Таких я не видел более ни у кого… Впрочем, нет: у одной флорентийской статуэтки дантовских времен; мне и юная Беатриче представляется с такими же большими дугами бровей. Глазам Алисы, всему ее существу они придавали постоянно вопросительное выражение, в котором были и вера, и тревога, — да, именно пылко-вопрошающее выражение. В ней все без исключения было вопрос и ожидание… Я расскажу вам, как этот вопрос овладел и мною, как выстроил он мою жизнь.

Жюльетта могла бы показаться даже более красивой; все в ней дышало веселостью и здоровьем, однако красота ее рядом с грацией ее сестры была как бы вся на поверхности, любому она являлась сразу и целиком. Что же касается моего кузена Робера, то в нем не было ничего примечательного. Просто он был почти мой ровесник, я играл с Жюльеттой и с ним; а с Алисой я разговаривал; она никогда не участвовала в наших играх; даже в самых ранних своих воспоминаниях я вижу ее неизменно серьезной, сдержанной, с мягкой улыбкой. О чем мы разговаривали? Да о чем могут говорить между собой двое детей? Вскоре я вернусь и к этому, но прежде, чтобы дольше не задерживаться на моей тете, я докончу рассказ о

ней и о том, что с ней связано.

Спустя два года после смерти отца мы с матерью приехали в Гавр на пасхальные каникулы. Остановились мы не у Бюколенов, которые в городе жили и без того достаточно стесненно, а у сестры моей матери, чей дом был попросторнее. Моя тетя Плантье, которую до этого я видел всего несколько раз, овдовела уже много лет назад; детей ее, которые были гораздо старше меня и совершенно иные по душевному складу, я тоже почти не знал. «Дом Плантье», как его окрестили в Гавре, стоял особняком, за чертой города, на склоне довольно высокого холма, который все здесь называют «Косогором». Бюколены же жили неподалеку от деловых кварталов; путь от одного дома к другому можно было сократить по крутой тропинке, и я по нескольку раз на дню то сбегал по ней вниз, то карабкался наверх.

В тот день я обедал у дяди. Вскоре после еды он собрался уходить; я проводил его до самой конторы, а затем поднялся в дом Плантье, чтобы найти мать. Там я узнал, что она ушла вместе с тетей и вернется только к ужину. Я тут же вновь спустился в город, где мне очень редко удавалось спокойно побродить одному. Я пошел к порту, который из-за тумана выглядел очень мрачно,

и часа два прогуливался по набережным и причалам. Неожиданно у меня появилось желание вновь без предупреждения зайти к Алисе, с которой я, впрочем, расстался совсем недавно… Я побежал по улицам, позвонил в дверь Бюколенов и уже было бросился вверх по лестнице, как вдруг открывшая мне служанка стала меня удерживать:

— Не поднимайтесь, господин Жером, подождите! С хозяйкой нашей опять приступ!

Я, однако, не послушался, сказав, что иду не к тете. Комната Алисы была на четвертом этаже; на втором располагались гостиная и столовая, а на третьем тетина спальня, откуда сейчас слышались голоса. Дверь, мимо которой мне нужно было пройти, оказалась открытой; из комнаты выбивался свет и пересекал лестничную площадку. Чтобы меня не заметили, я задержался в тени да так и застыл в изумлении при виде следующей сцены: окна зашторены, в двух канделябрах весело горят свечи, а посреди комнаты в шезлонге полулежит моя тетя; у ее ног сидят Робер и Жюльетта, а за спиной — неизвестный молодой человек в офицерском мундире. Сегодня сам факт присутствия там детей кажется мне чудовищным, но в моем тогдашнем неведении

он меня даже несколько успокоил.

Все смеются, глядя на этого неизвестного, который щебечет:

— Бюколен! Бюколен!.. Вот был бы у меня барашек, я непременно так и назвал бы его — Бюколен!

Тетя заливается смехом. Я вижу, как она протягивает молодому человеку сигарету, которую тот зажигает, и она делает несколько затяжек. Тут сигарета падает на пол, он бросается, чтобы поднять ее, нарочно спотыкается и оказывается на коленях перед тетей… Благодаря этой суматохе я проскальзываю наверх незамеченным.

Наконец я перед дверью Алисы. Жду еще немного. Снизу по-прежнему слышны громкие голоса и смех; видимо, они заглушают мой стук, поэтому я не знаю, был ли ответ. Толкаю дверь, она бесшумно отворяется. В комнате уже так темно, что я не сразу различаю, где Алиса; она стоит на коленях у изголовья постели, спиной к перекрестью окна, в котором день почти совсем угас. Не поднимаясь с колен, она оборачивается на мои шаги, шепчет:

— Ах, Жером, зачем ты вернулся?

Я наклоняюсь, чтобы обнять ее; лицо ее все в слезах…

В эти мгновения решилась моя жизнь; я и се-

годня не могу вспоминать о них без душевного волнения. Разумеется, я лишь приблизительно догадывался о причине страданий Алисы, но всем сердцем чувствовал, что муки эти невыносимы для ее неокрепшей трепетной души, для ее хрупкого тела, которое все сотрясалось в рыданиях.

Я все стоял рядом с ней, а она так и не поднималась с колен; я не способен был выразить тех новых чувств, что владели мною, и изливал душу в том, что прижимал к своей груди ее голову и целовал ее лоб. Опьяненный любовью, жалостью, непонятной смесью восторга, самоотречения и мужественной добродетели, я всеми силами души взывал к Богу и был готов посвятить себя без остатка единственно тому, чтобы это дитя не знало страха, зла и даже самой жизни. В каком-то благоговении я тоже опустился на колени, обнял ее еще крепче и услышал, как она прошептала:

— Жером, ведь они не заметили тебя, правда? Уходи скорее, прошу тебя! Пусть они не знают, что ты был здесь.

Потом совсем едва слышно:

— Жером, не говори никому… папа ведь ни о чем не знает…

Матери я ничего не сказал; однако бесконечные

ее шушуканья с моей тетей Плантье, таинственный, озабоченный и удрученный вид обеих женщин, непременное «ступай, сынок, поиграй» каждый раз, когда я оказывался рядом и мог услышать, о чем они шепчутся, — по всему было видно, что происходившее в доме Бюколенов не являлось для них тайной.

Не успели мы вернуться в Париж, как мать снова вызвали в Гавр: тетя убежала из дому.

— Одна или с кем-то? — спросил я у мисс Эшбертон, когда мать уже уехала.

— Мальчик мой, спроси об этом у своей матери; я не могу тебе ничего ответить, — сказала она, и я видел, как случившееся огорчило ее, давнего друга нашей семьи.

Два дня спустя мы с ней выехали вслед за матерью. Это было в субботу. На следующий день я должен был встретиться со своими кузинами в церкви, и мысль об этом только и занимала меня все время, так как в своих тогдашних детских рассуждениях я придавал большое значение тому, что наше свидание будет как бы освящено. До тети мне, в сущности, и дела не было, а потому я дал себе слово ни о чем не расспрашивать мать.

В маленькой часовне народу в то утро было немного. Пастор Вотье, скорее всего, не без

умысла выбрал темой проповеди слова Христа: *«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».*

Алиса сидела несколькими рядами впереди меня. Я видел ее профиль и смотрел на нее так пристально и неотрывно, забыв обо всем на свете, что даже голос пастора, в который я жадно вслушивался, казалось, доходил до меня через нее.

Дядя сидел рядом с моей матерью и плакал.

Пастор прочитал сначала весь стих полностью: *«Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».* Затем, обратив внимание на заложенное в стихе противопоставление, он заговорил прежде о «пространном пути»... Точно в полуобмороке или во сне, я как будто вновь увидел ту сцену в тетиной спальне: тетя полулежит в шезлонге и смеется, рядом — тот блестящий офицер, и тоже смеется... сама мысль о смехе, о веселье вдруг сделалась для меня неприятной, оскорбительной, предстала едва ли не крайним выражением греховности!..

«...И многие идут ими», — повторил пастор Вотье; он приступил к описанию, и я увидел толпу прекрасно одетых людей, которые, смеясь

и дурачась, шли и шли друг за другом, и я чувствовал, что не могу, не желаю присоединиться к ним, поскольку каждый шаг, сделанный вместе с ними, отдалял бы меня от Алисы.

Пастор вернулся к начальным строкам, и теперь я увидел тесные врата, которыми следовало входить. В моем тогдашнем состоянии они пригрезились мне отчасти похожими на машину для прокатывания стальных листов, я протискивался туда, напрягая все силы и чувствуя страшную боль, к которой, однако, добавлялся привкус неземного блаженства. Одновременно эти врата были и дверью в комнату Алисы, и, чтобы войти в нее, я весь сжимался, выдавливая из себя остатки эгоизма… *«Потому что узок путь, ведущий в жизнь»,* — продолжал пастор Вотье, и вот уже печаль и умерщвление плоти оборачивались для меня предчувствием какой-то еще неведомой радости — чистой, мистической, ангельской, — той самой, какой жаждала моя душа. Она, эта радость, являлась мне, словно пение скрипки — пронзительное и вместе нежное, — словно напряженное пламя свечи, в котором сгорали наши с Алисой сердца. Облаченные в белые одежды, о которых говорит Апокалипсис, мы шли вперед, взявшись за руки и не сводя глаз с цели нашего

пути… Эти детские грезы могут вызвать улыбку — пускай! Я ничего не изменял в них. А некоторая несвязность возникает оттого, что слова и образы лишь весьма приблизительно способны передать чувства людей.

«…И немногие находят их», — заканчивал пастор Вотье, объясняя, как отыскать эти узкие врата… Я бы хотел стать одним из них…

К концу проповеди напряжение во мне достигло такой степени, что, едва все кончилось, я стремительно вышел, так и не увидевшись с Алисой: из гордыни я вознамерился немедленно подвергнуть испытанию свое решение (а я его уже принял), заключив, что стану более достойным ее, если сейчас с ней расстанусь.

II

Эти суровые наставления нашли благодатную почву в душе, изначально готовой к служению долгу и — под воздействием примера отца и матери, в сочетании с пуританской дисциплиной, коей они подчинили первые порывы моего сердца, — почти совершившей окончательный выбор, который я мог бы выразить в одном слове — добродетель. Для меня было так же естественно смирять себя, как для иных ни в чем себе не отказывать, причем строгость, к которой меня приучали, ничуть не отвергалась, а, напротив, льстила моему самолюбию. Грядущее в моем представлении сулило не столько счастье, сколько вечное и напряженное стремление к нему, так что я уже едва ли видел различие между счастьем и добродетелью. Разумеется, как всякий подросток в четырнадцать лет, я еще не вполне определился и сохранял свободу выбора, но очень скоро любовь к Алисе решительно увлекла меня в том направлении. Благодаря этой внезапной вспышке, словно высветившей меня изнутри, я осознал сам себя: оказалось, что я замкнутый, со слабо выявленными способностями, весь в

ожидании чего-то, довольно безразличный к окружающим, скорее вялый, нежели предприимчивый, и не мечтающий ни о каких победах, кроме как над самим собой. Учиться я любил; из всех игр более всего меня увлекали те, что требовали сосредоточенности или усилий ума. У меня почти не было приятелей среди однокашников, а в их затеях я участвовал лишь из вежливости или за компанию. Впрочем, я сошелся достаточно близко с Абелем Вотье, который год спустя переехал в Париж и стал учиться в одном классе со мной. Это был приятный, несколько апатичный мальчик, к которому я испытывал скорее нежность, чем уважение, но с ним по крайней мере я мог поговорить о Гавре и Фонгезмаре, куда постоянно улетала моя мысль.

Моего кузена Робера Бюколена отдали в тот же лицей, что и нас, правда, двумя классами младше, так что встречался я с ним только по воскресеньям. Не будь он братом моих кузин, на которых, кстати, он почти ничем не походил, мне и вовсе не доставляло бы удовольствия видеть его.

Я был тогда весь поглощен своей любовью, и только потому, что ее отсвет падал на мои дружеские отношения с Абелем и Робером, они еще что-то значили для меня. Алиса напоминала

бесценную жемчужину, о которой говорится в Евангелии, а я — того человека, который распродает все, что имеет, лишь бы завладеть ею. Пусть я был еще ребенком, но разве я не прав, называя любовью чувство, которое я испытывал к моей кузине? Оно достойно этого имени гораздо более, нежели все то, что я познал в дальнейшей моей жизни, — впрочем, и тогда, когда я вступил в возраст, которому присуще уже вполне определенное томление плоти, чувство мое не слишком изменилось по своей природе: я по-прежнему не искал более прямых путей к овладению той, добиваться чьего расположения в раннем отрочестве почитал за великую честь. Все свои каждодневные занятия, усилия, богоугодные поступки я мистически посвящал Алисе, доводя свою добродетель до особой утонченности, когда, как нередко бывало, даже оставлял ее в полном неведении относительно того, что свершалось мною лишь ради нее. Все чаще упивался я подобного рода опьяняющей простотой и скромностью и привыкал — увы, не доискиваясь корней этого моего пристрастия — находить удовольствие исключительно в том, что доставалось мне ценой определенных усилий.

Вполне возможно, что этим соревнованием

был воодушевлен лишь я один. Не похоже, чтобы Алиса хоть в малой степени заинтересовалась им и сделала хоть что-нибудь из-за меня или для меня, я же только ради нее и усердствовал. Душа ее не ведала никаких ухищрений и была прекрасна в своей полнейшей естественности. В ее добродетели было столько легкости и грациозности, что она, казалось, ничего ей не стоила. Ее серьезный взгляд очаровывал благодаря тому, что сочетался с детской улыбкой; я вспоминаю сейчас этот взгляд, в котором читался такой мягкий, такой нежный вопрос, и понимаю, почему мой дядя тогда, весь в смятении и растерянности, именно у своей старшей дочери искал поддержки, совета и утешения. Тем летом я очень часто видел их вдвоем. Горе сильно состарило его; за столом он почти не разговаривал, а если вдруг оживлялся, то видеть эту наигранную радость было еще тяжелее, чем сносить молчание. Он закрывался в кабинете и курил там до самого вечера, пока к нему не заходила Алиса; ей приходилось долго упрашивать его выйти на воздух; она гуляла с ним по саду, словно с ребенком. Спустившись по цветущей аллее, они усаживались неподалеку от ступенек, ведущих к огороду, на принесенные нами из дома стулья.

Однажды вечером я допоздна зачитался, лежа прямо на газоне, в тени огромного пурпурного бука, отделенный от цветочной аллеи только живой изгородью из лаврового кустарника, из-за которой внезапно послышались голоса моего дяди и Алисы. Как я понял, разговор шел о Робере; Алиса упомянула мое имя, и, поскольку уже можно было различить слова, я услышал, как дядя громко произнес:

— Ну, он-то всегда будет трудолюбив!

Невольно оказавшись в роли подслушивающего, я хотел было уйти или по крайней мере как-то обнаружить свое присутствие, но как? Кашлянуть? Или крикнуть — мол, я здесь и все слышу? Я промолчал, причем больше от смущения и застенчивости, чем из желания узнать, о чем они будут говорить дальше. К тому же они всего лишь проходили мимо, да и я мог разобрать далеко не все… Шли они медленно; наверняка Алиса по своей привычке несла легкую корзинку, по дороге обрывая увядшие цветы и подбирая опавшую после частых морских туманов завязь. Я услышал ее высокий чистый голос:

— Папа, ведь правда же, дядя Палисье был замечательным человеком?

Ответ дяди прозвучал приглушенно и неясно;

я не разобрал слов. Алиса спросила настойчиво:

— Ну скажи, очень замечательным?

Ответ такой же невнятный; затем снова голос Алисы:

— А правда Жером умный?

Как же я мог удержаться и не прислушаться?.. Но нет, по-прежнему неразборчиво. Вновь она:

— Как ты думаешь, он может стать замечательным человеком?

Тут голос дяди наконец-то сделался погромче:

— Доченька, прежде я бы все-таки хотел узнать, кого ты называешь замечательным. Ведь можно быть замечательнейшим человеком, и это никому не будет заметно, я имею в виду глаза людские… замечательнейшим в глазах Божьих.

— Я именно так и понимаю это слово, — сказала Алиса.

— Ну а к тому же… разве можно знать заранее? Он еще так молод… Разумеется, у него прекрасные задатки, но одного этого недостаточно…

— Что же еще нужно?

— Что я могу тебе ответить, доченька? И доверие нужно, и поддержка, и любовь…

— А что ты называешь поддержкой? — прервала его Алиса.

— Привязанность и уважение к любимому

человеку… чего мне так не хватало, — с грустью ответил дядя; затем голоса окончательно стихли вдали.

Во время вечерней молитвы я все терзался своей невольной бестактностью и дал себе слово завтра же признаться кузине. Возможно, к этому решению примешивалось и желание узнать что-нибудь еще из их разговора.

На следующий день в ответ на первые же мои слова она произнесла:

— Но, Жером, ведь подслушивать — это очень дурно. Ты должен был нас предупредить или уйти.

— Уверяю тебя, я не подслушивал… просто я нечаянно услышал… Вы же проходили мимо.

— Мы шли очень медленно.

— Да, но слышно было очень плохо. А потом и вовсе ничего… Скажи, что тебе ответил дядя, когда ты спросила, что еще нужно?

— Жером, — рассмеялась она, — ты же все прекрасно слышал! Просто тебе хочется, чтобы я это повторила.

— Уверяю тебя, я расслышал только первые слова… когда он говорил о доверии и о любви.

— Потом он сказал, что нужно еще много всего другого.

— А ты что ответила?

Она вдруг посерьезнела:

— Когда он сказал, что в жизни нужна поддержка, я ответила, что у тебя есть мать.

— Ах, Алиса, ты же знаешь, что она не всегда будет со мной… Да и потом это совсем разные вещи…

Она опустила глаза.

— Он мне сказал то же самое.

Весь дрожа, я взял ее за руку.

— Чего бы я ни добился в жизни, знай, что это ради тебя одной.

— Но, Жером, я тоже могу когда-нибудь покинуть тебя.

Всю душу вложил я в свои слова:

— А я не покину тебя никогда!

Она слегка пожала плечами:

— Разве у тебя не хватит сил, чтобы идти вперед одному? Каждый из нас должен прийти к Богу самостоятельно.

— Нет, все равно только ты укажешь мне верный путь.

— Зачем тебе понадобилось искать другого проводника, кроме Христа?.. Неужели ты думаешь, что мы сможем когда-нибудь стать ближе друг к другу, чем тогда, когда, забывая один о другом,

мы возносим молитву Богу?

— Да, чтобы он соединил нас, — перебил я ее, — только об этом я и молю его утром и вечером.

— Разве ты не понимаешь, что бывает единение в Боге?

— Понимаю всем сердцем! Это значит, забыв обо всем, обрести друг друга в поклонении одному и тому же. Мне даже кажется, что я поклоняюсь тому же, что и ты, только ради того, чтобы обрести тебя.

— Значит, твоя любовь к Богу небезупречна.

— Не требуй от меня слишком многого. На что мне небеса, если я не смогу обрести там тебя.

Приложив палец к губам, она произнесла с торжественностью в голосе:

– *Ищите прежде царства Божия и правды его.*

Передавая сейчас тот наш разговор, я понимаю, что он покажется отнюдь не детским тому, кто не знает, сколько нарочитой серьезности вкладывают в свои разговоры некоторые дети. Но и что из того? Неужели же сейчас я стану искать какие-то оправдания тем словам? Ни в малейшей степени, так же как не собираюсь приглаживать их, чтобы они выглядели естественнее.

Оба мы раздобыли Евангелие в латинском переводе и уже знали наизусть целые страни-

цы. Алиса выучила латынь вместе со мной под предлогом помощи брату, но я-то думаю, что она просто не хотела отставать от меня в чтении. И я, как следствие, отныне увлекался только теми предметами, про которые я точно знал, что они заинтересуют и ее. Если это и стало чему-либо помехой, то уж, во всяком случае, не моему рвению, как можно было бы предположить; напротив, мне тогда казалось, что она с легкостью опережает меня во всем. Просто дух мой избирал себе путь с постоянной оглядкой на нее, да и вообще все, что нас занимало тогда, все, что понималось нами под словом «мысль», чаще служило лишь предлогом к некоему единению душ, причем более изысканному, нежели обычная маскировка чувства или одно из обличий любви.

Мать моя поначалу, видимо, была обеспокоена возникшим между нами чувством, всей глубины которого она не могла пока и вообразить; однако со временем, видя, как убывают ее силы, она все более лелеяла надежду соединить нас своим материнским объятием. Болезнь сердца, от которой она страдала уже давно, давала о себе знать все чаще. Во время одного из особенно сильных приступов она подозвала меня.

— Бедный мой мальчик, видишь, как я поста-

рела, — сказала она. — Вот так же однажды вдруг я и покину тебя.

Не в состоянии продолжать, она замолчала. Тогда я в неудержимом порыве почти выкрикнул слова, которых, как мне показалось, она и ждала от меня:

— Мамочка… ты знаешь, как я хочу, чтобы Алиса стала моей женой. — Этой фразой я, очевидно, выразил самые сокровенные ее мысли, потому что она сразу же подхватила:

— Конечно, Жером, именно об этом я и хотела поговорить с тобой.

— Мамочка, — всхлипнул я, — как ты думаешь, она меня любит?

— Конечно, мальчик мой. — И она несколько раз повторила с нежностью: — Конечно, мальчик мой. — Каждое слово давалось ей с трудом, и она добавила: — Пусть Господь решит.

Наконец, когда я наклонился к ней, она погладила меня по голове, сказав: — Храни вас Бог, дети мои! Храни вас Бог обоих! — а затем впала в какое-то сонное оцепенение, из которого я уже не пытался ее вывести.

К этому разговору мы больше не возвращались; на другой день матери стало лучше, я отправился на занятия, и те полупризнания словно бы забы-

лись. Да и что еще я мог тогда для себя открыть? В любви Алисы ко мне я не сомневался ни на мгновение, а если бы даже и возникла хоть тень сомнения, она навек исчезла бы из моего сердца после печального события, которое случилось вскоре же.

В один из вечеров моя мать тихо угасла, почти на руках у меня и мисс Эшбертон. Сердечный приступ, который унес ее, поначалу не казался сильнее тех, что бывали раньше, и тревогу мы почувствовали лишь перед самым концом, поэтому никто из родных даже не успел ее застать. Первую ночь возле нашей дорогой покойницы мы провели также вдвоем с ее старой подругой. Я очень любил мать и, помню, был очень удивлен, что, несмотря на слезы, в глубине души я не чувствовал особой печали; да и плакал я больше от жалости к мисс Эшбертон, которая была безутешна от мысли, что ее подруга, будучи намного моложе ее самой, поспешила вперед нее предстать перед Богом. Тайная надежда на то, что это скорбное событие ускорит наш с Алисой брак, была во мне несравненно сильнее, чем чувство горя.

На следующий день приехал дядя. Он передал мне письмо от своей дочери, которая прибыла

вместе с тетей Плантье еще на день позже.

…Жером, друг мой и брат, — писала она, — *мне так жаль, что я не смогла сказать ей перед смертью несколько слов, которые принесли бы ей то великое успокоение, коего она так ждала. Пусть же простит меня! И пусть отныне один только Бог ведет нас обоих! Прощай, бедный мой друг. Твоя, нежнее, чем прежде, Алиса.*

Что могло означать это письмо? Что это могли быть за слова — по поводу которых она так жалела, что вовремя не сказала их, — если не те, где она ясно определяла бы наше совместное будущее? Впрочем, я был тогда слишком юн, чтобы немедленно просить ее руки. Да и нуждался ли я в обещаниях с ее стороны? Разве не были мы уже как бы обручены? Для близких наша любовь не являлась тайной, ни дядя, ни тем более моя мать не чинили нам никаких препятствий, напротив, дядя держал себя со мной как с родным сыном.

Пасхальные каникулы, наступившие через несколько дней, я проводил в Гавре, живя в доме тети Плантье, но завтракая и обедая почти всегда у дяди Бюколена.

Тетя Фелиция Плантье была добрейшей женщиной, однако ни кузины, ни я не были с ней в особенно доверительных отношениях. Она пре-

бывала в какой-то вечной суете, все ее движения были отрывистыми и беспорядочными, а голос начисто был лишен плавности и выразительности; среди дня она могла, застигнув кого-либо из нас врасплох, затискать в объятиях — столь бурным было переполнявшее ее чувство привязанности к нам. Дядя Бюколен очень любил ее, но достаточно было один раз услышать, каким тоном он разговаривал с ней, чтобы мы явственно ощутили, насколько ближе ему была моя мать.

— Бедный мой мальчик, — начала она однажды вечером, — не знаю, что ты собираешься делать этим летом, но я бы хотела знать твои планы, чтобы решить, чем я сама буду заниматься. Если я могу быть тебе чем-нибудь полезной…

— Я как-то об этом еще не думал, — ответил я. — Наверное, отправлюсь куда-нибудь попутешествовать.

Она не унималась:

— Просто имей в виду, что у меня тебе будет ничуть не хуже, чем в Фонгезмаре. Конечно, если ты поедешь туда, и твоему дяде, и Жюльетте будет очень приятно…

— Вы хотите сказать, Алисе.

— Разумеется! Извини, ради бога… Поверишь ли, но я почему-то вообразила, что ты любишь

Жюльетту! И только когда твой дядя все мне рассказал… примерно с месяц назад… Понимаешь, я очень люблю вас всех, но не слишком-то знаю, какие вы; мне так редко удается вас видеть!.. Я потом, я совсем не наблюдательна, у меня совершенно нет времени на то, чтобы спокойно разобраться в том, что меня не касается. Я видела, ты всегда играешь с Жюльеттой… ну, и подумала… она ведь такая милая, веселая.

— Да, я до сих пор охотно играю с ней, но люблю все же Алису…

— Ну и прекрасно! Замечательно, люби на здоровье… Я же, пойми, просто почти совсем не знаю ее, она такая молчаливая, не то что ее сестра. Но уж если ты выбрал именно ее, то наверняка у тебя были на то какие-то веские причины.

— Но, тетя, я вовсе не выбирал ее, чтобы полюбить, и мне даже в голову не приходило, что нужно иметь какие-то причины, чтобы…

— Ну, не сердись, Жером, право, я не собираюсь хитрить с тобой… Вот теперь из-за тебя забыла, о чем хотела сказать… Ах, да, слушай: я, конечно же, уверена, что все это закончится свадьбой, но у тебя траур, и тебе сейчас все-таки не полагается обручаться… да и молод ты пока еще… Я и подумала, что твое нынешнее присутствие

в Фонгезмаре, без матери, может быть неправильно истолковано…

— Тетя, но я же именно поэтому и сказал, что собираюсь попутешествовать.

— Да-да. Так вот, мальчик мой, я подумала, что все уладится, если рядом с тобой буду я, и поэтому я так все устроила, чтобы часть лета у меня была свободной.

— Мне достаточно было бы попросить мисс Эшбертон, и она бы с радостью приехала.

— Я уже знаю, что и она приедет. Но этого мало! Я тоже там побуду… Не подумай, я и не претендую на то, чтобы заменить твою мать, бедняжку, — здесь она вдруг начала всхлипывать, — но я смогу помочь по хозяйству… В общем, ни ты, ни дядя твой, ни Алиса ничем стеснены не будете.

Тетя Фелиция заблуждалась относительно пользы от ее присутствия. По правде говоря, если нас что-то и стесняло, то только оно. Как ею и было обещано, она с июля обосновалась в Фонгезмаре, куда вскоре переехали и мы с мисс Эшбертон. Вызвавшись помочь Алисе в хлопотах по дому, она наполняла этот самый дом — прежде такой тихий — несмолкающим шумом. Усердие, с каким она бралась за то, чтобы нам было хорошо с ней и чтобы, как она говорила, «все уладилось»,

настолько нас подавляло, что мы с Алисой не знали, как себя вести в ее присутствии, и чаще всего сидели, точно воды в рот набрав. Должно быть, она сочла нас очень угрюмыми и нелюдимыми… Но даже если бы мы и не молчали, разве она смогла бы хоть что-то понять в нашей любви?.. А вот Жюльетте с ее характером, напротив, оказалось довольно легко приспособиться к этому буйству чувств, и потому к нежности, которую я питал к тете, примешивалась некоторая обида на то, что младшая ее племянница пользовалась у нее совершенно очевидным предпочтением.

Однажды утром, получив почту, она позвала меня.

— Жером, бедняжка, если бы ты знал, как я расстроена: заболела моя дочь и просит срочно приехать, так что мне придется покинуть вас…

Терзаемый неуместной щепетильностью, я тут же отправился разыскивать дядю, дабы выяснить, приличествует ли мне оставаться в Фонгезмаре после отъезда тети. Но после первых же моих слов он прервал меня, воскликнув:

— Чего только не выдумает моя несчастная сестра, чтобы усложнить простейшее дело! Да с какой это стати ты вдруг от нас уедешь, Жером? Ведь ты для меня уже почти как сын родной!

Таким образом, тетя не пробыла в Фонгезмаре и двух недель. С ее отъездом в доме опять все пошло по-старому, вернулось прежнее спокойствие, которое так напоминало счастье. Траур мой совсем не омрачал нашу любовь, но делал ее строже, серьезнее. Началась размеренная, неторопливая жизнь, в которой, словно в пустом амфитеатре, было отчетливо слышно малейшее биение наших сердец.

Как-то вечером, спустя несколько дней после отъезда тети, за столом разговор зашел о ней, и, помнится, мы тогда говорили:

— Откуда такая суетливость! Чем объяснить, что душа ее беспрестанно клокочет от избытка жизни? Вот каким может предстать твое отражение, о прекрасный лик любви!..

Мы имели в виду изречение Гете по поводу г-жи фон Штейн: «Было бы чудесно взглянуть на отражение мира в этой душе». Тут же мы выстроили неведомо какую иерархию, поставив на самую вершину качества, так или иначе связанные с созерцанием. Все время молчавший дядя вдруг заговорил, глядя на нас с грустной улыбкой:

— Дети мои, Господь узнает образ свой, даже если он разбит на тысячу осколков. Поостережемся же судить о человеке по одному-двум

эпизодам его жизни. Те качества, что так не нравятся вам в моей несчастной сестре, развились у нее после целого ряда событий, о которых мне известно слишком много, чтобы я мог позволить себе судить ее так же строго, как это делаете вы. Не существует таких человеческих качеств, которые, будучи весьма милыми в молодости, к старости не становились бы неприятными. То, что вы назвали суетливостью, поначалу было у Фелиции очаровательной живостью, непосредственностью, открытостью и изяществом… Поверьте мне, мы не слишком отличались от вас сегодняшних. Я, например, походил на тебя, Жером, — наверное, даже больше, чем можно сейчас себе представить. Фелиция весьма напоминала нынешнюю Жюльетту… да-да, вплоть до физического сходства: бывает, ты что-то такое скажешь или засмеешься, — здесь он обернулся к Жюльетте, — и я вдруг ощущаю, что это она, но толь та, давняя; у нее была точно такая же улыбка, как у тебя, и еще эта привычка — ты тоже иногда так делаешь, а у нее это довольно быстро прошло: просто сидеть, ничем не занимаясь, выставив вперед локти и уперевшись лбом в сплетенные пальцы рук.

Мисс Эшбертон наклонилась ко мне и почти

прошептала:

— А Алиса очень напоминает твою мать.

Лето в тот год было великолепным. Казалось, все было проникнуто голубизной, купалось в ней. Жар наших сердец торжествовал над силами зла, над смертью, любая тень отступала перед нами. Каждое утро я просыпался от ощущения радости, вставал с первым лучом солнца, бросаясь в объятия нового дня… Когда я в мечтах вспоминаю те дни, они являются мне, словно бы омытые росой. Жюльетта поднималась гораздо раньше сестры — Алиса обычно засиживалась допоздна — и спускалась вместе со мной в сад. Она сделалась посредницей между сестрой и мною; ей я мог до бесконечности рассказывать о нашей любви, а она, похоже, была готова без устали слушать меня. Я говорил ей то, что не осмеливался сказать самой Алисе, перед которой от избытка любви робел и терялся. Да и Алиса как бы приняла эту игру: ей, видимо, нравилось, что я с такой радостью о чем-то говорю с ее сестрой, хоть она и не знала — или делала вид, что не знает, — что мы говорили только о ней.

О прелестное притворство любви, точнее, притворство от избытка любви! Какими тайными путями ты вело нас от смеха к слезам и от

прозрачно-наивной радости к суровой требовательности добродетели!

Лето ускользало, прозрачное и плавное настолько, что из тех перетекавших один в другой дней моя память сегодня почти ничего не в состоянии воскресить. Из событий только и было, что разговоры да чтение…

— Мне снился дурной сон, — сказала Алиса однажды утром, когда мои каникулы уже подходили к концу. — Как будто я живу, а ты умер. Нет, я не видела, как ты умирал, а просто знала: ты умер. Это было так ужасно, так невозможно, что я решила: буду думать, что ты исчез, тебя нет. Мы оказались разлучены, но я чувствовала, что остался какой-то способ снова увидеться с тобой, я все искала его, искала и от напряжения проснулась. И все утро, мне кажется, находилась под впечатлением от этого сна — как будто он продолжался. Мне по-прежнему представлялось, что нас с тобой разлучили и что я буду с тобой в разлуке еще долго-долго… Всю мою жизнь, — добавила она едва слышно, — и что всю жизнь от меня будут требоваться какие-то большие усилия…

— Для чего?

— От нас обоих потребуются большие усилия — чтобы соединиться.

Я не принял всерьез эти ее слова или побоялся принять их всерьез. Словно оспаривая их, с отчаянно бьющимся сердцем, в приливе внезапной смелости я выпалил:

— А мне сегодня приснилось, что я женюсь на тебе, и ничто, ничто на свете не сможет нас разлучить — разве только смерть.

— Ты считаешь, что смерть разлучает? — сразу же спросила она.

— Я хотел сказать…

— Я думаю, наоборот, она может сблизить… да, сблизить то, что при жизни было разъединено.

Все это вошло в нас так глубоко, что я до сих пор отлично помню даже интонацию, с которой те слова были сказаны. Вот только смысл их во всей полноте стал мне понятен лишь много позднее.

Лето ускользало. Почти все поля уже опустели, так что становилось как-то неожиданно далеко видно. Вечером накануне моего отъезда, нет, даже за день до него, мы прогуливались с Жюльеттой в леске за нижним садом.

— Что это такое ты читал вчера Алисе? — спросила она меня.

— Когда именно?

— Когда вы остались на скамейке у карьера, а мы ушли вперед…

— А… кажется, что-то из Бодлера…

— А что? Ты не мог бы мне почитать?

– *Мы погружаемся во тьму, в оцепененье…*[1] — начал я неохотно, однако она тут же подхватила каким-то изменившимся, дрожащим голосом:

– *О лето жаркое, недолог праздник твой!*

— Как! Ты это знаешь? — воскликнул я в изумлении. — А мне казалось, что ты вообще не любишь стихов…

— Отчего же? Просто ты никогда не читал их мне, — ответила она и засмеялась, впрочем, слегка натянуто. — Временами, я замечаю, ты принимаешь меня совсем за дурочку.

— Можно быть очень умным человеком и при этом не любить стихи. Я никогда не слышал, чтобы ты их сама читала или просила меня почить.

— Я не могу соперничать с Алисой… — Она на мгновение замолчала и вдруг, словно спохватившись: — Так ты уезжаешь послезавтра?

— Что делать…

— А чем ты будешь заниматься зимой?

— Буду учиться на первом курсе Эколь Нормаль.

— А когда же ты собираешься жениться на

---

[1] Примечания: 1

«Осенняя песнь». Пер. М. Донского.

Алисе?

— Не раньше, чем отслужу в армии. Даже, пожалуй, не раньше, чем станет более или менее ясно, что я буду делать в дальнейшем.

— А разве ты еще не решил?

— Я пока и не хотел бы решать. Слишком многое меня влечет. Я постоянно откладываю тот момент, когда нужно будет сделать выбор и заняться чем-то одним.

— А помолвку ты тоже откладываешь из-за того, что боишься определенности?

Я молча пожал плечами, однако она продолжала настаивать:

— Так чего же вы ждете? Почему не обручитесь уже сейчас?

— А зачем нам обручаться? Разве нам недостаточно знать, что мы принадлежим и будем принадлежать друг другу, не оповещая об этом всех вокруг? Если я посвящаю ей свою жизнь, неужели ты думаешь, что моя любовь станет крепче от каких-то обещаний? Я считаю, наоборот, всякие клятвы оскорбляют любовь… Помолвка мне была нужна лишь в том случае, если бы я не доверял ей.

— В ней-то я ни капельки не сомневаюсь…

Мы медленно шли по саду и были как раз в

том месте, где я когда-то невольно подслушал разговор Алисы с ее отцом. Внезапно я подумал, что Алиса — а она тоже вышла в сад, я видел — сейчас сидит на скамейке возле развилки аллей и вполне может нас услышать; я сразу же ухватился за возможность объяснить ей таким образом то, чего не смел сказать прямо; в восторге от своей выдумки, я стал говорить громче.

— О! — воскликнул я с несколько чрезмерной для моего возраста напыщенностью; поглощенный своими излияниями, я не улавливал в репликах Жюльетты того, что она намеренно не договаривала. — О! Если бы люди могли, вглядевшись в душу любимого человека, увидеть там, словно в зеркале, свой собственный образ! Читать в другом, как в самом себе, и даже лучше, чем в себе! Какой безмятежной была бы тогда нежность! Какой чистой была бы любовь!..

Волнение Жюльетты при этих словах я самодовольно отнес на счет моего ходульного лиризма. Она вдруг припала к моему плечу.

— Жером, милый! Я так хотела бы верить, что она будет счастлива с тобой! Если же ты принесешь ей страдания, мне кажется, я возненавижу тебя.

— Ах, Жюльетта! — воскликнул я, обняв ее и

глядя ей в глаза. — Я сам возненавидел бы себя за это. Как тебе объяснить… Ведь я не определяюсь в своей карьере именно потому, что хочу по-настоящему начать жизнь только с ней вместе! И я не думаю ни о каком будущем, пока она не со мной! Да и не собираюсь я никем становиться без нее…

— А что она отвечает, когда ты ей говоришь об этом?

— Да в том-то и дело, что я никогда с ней об этом не говорил! Ни разу! Вот еще одна причина, почему мы до сих пор не помолвлены. Мы даже никогда не заговаривали ни о свадьбе, ни о том, что будем делать дальше. Ах, Жюльетта! Жизнь вместе с ней кажется мне настолько прекрасной, что я не смею, понимаешь, не смею ей об этом говорить.

— Ты хочешь, чтобы счастье для нее было внезапным.

— Да нет же, вовсе нет! Просто я боюсь… испугать ее, понимаешь?.. Я боюсь, как бы это огромное счастье, которое мне уже видится, не внушило ей страха!.. Однажды я спросил, не хочется ли ей отправиться в путешествие. Она ответила, что не хочется, ей вполне достаточно знать, что та или иная страна существует, что там хорошо и что другие могут спокойно отпра-

виться туда…

— Жером, а ты сам хочешь путешествовать?

— По всему свету! Мне и жизнь представляется как долгое-долгое путешествие — вместе с ней — по разным книгам, странам, людям… Вдумывалась ли ты когда-нибудь, что означают такие слова, как, например, «поднять якорь»?

— Да, я часто об этом думаю, — прошептала она.

Однако я почти не слышал ее и продолжал говорить сам, а те слова упали на землю, как несчастные подстреленные птицы.

— Отплыть ночью, проснуться в ослепительном блеске зари и почувствовать, что мы одни среди этих зыбких волн…

— А потом будет порт, который ты видел на карте еще ребенком, и все вокруг так ново, незнакомо… Я вижу, как вы с Алисой сходите на берег, она опирается на твою руку…

— Мы сразу побежим на почту, — подхватил я, смеясь, — и спросим, нет ли для нас письма от Жюльетты…

— Из Фонгезмара, где она останется одна, и этот уголок покажется вам таким маленьким, грустным и таким далеким-далеким…

Точно ли это и были ее слова? Не берусь утвер-

ждать, так как, повторяю, я был настолько переполнен своей любовью, что, кроме ее голоса, никакой другой для меня словно не существовал.

Мы подошли тем временем к развилке аллей и собирались уже повернуть обратно, как вдруг, выйдя из густой тени, перед нами возникла Алиса. Она была так бледна, что Жюльетта вскрикнула.

— Мне в самом деле что-то нездоровится, — проронила она поспешно. — Уже стало свежо. Пожалуй, я лучше вернусь в дом.

И, повернувшись, она быстро пошла к дому.

— Она все слышала! — воскликнула Жюльетта, как только Алиса несколько удалилась.

— Но мы не сказали ничего такого, что могло бы ее огорчить. Напротив…

— Оставь меня, — бросила Жюльетта и побежала догонять сестру.

В эту ночь мне так и не удалось заснуть. Алиса еще выходила к ужину, но потом сразу ушла к себе, сославшись на мигрень. Что она все-таки слышала из нашего разговора? Я лихорадочно перебирал в памяти наши слова. Потом я вдруг подумал, что, наверное, мне не следовало идти совсем рядом с Жюльеттой, да еще приобняв ее за

плечи; однако то была не более чем детская привычка, мы часто так гуляем, и Алиса много раз нас видела. Ах, каким же я был слепцом, выискивая свои прегрешения и даже ни разу не подумав о том, что Алиса вполне могла, гораздо лучше, чем я, услышать слова Жюльетты, на которые я едва обращал внимание и которые почти не мог припомнить. До них ли мне было! В страшной тревоге и растерянности, в ужасе от одной мысли, что Алиса может усомниться во мне, и не в состоянии вообразить, что опасность может исходить от чего-то иного, я решил, несмотря на все сказанное мною Жюльетте, и, видимо, под впечатлением от того, что сказала мне она, решил отбросить свои опасения, свою щепетильность и завтра же объявить о помолвке.

До моего отъезда оставался один день. Я мог предположить, что Алиса так грустна именно из-за этого. Мне даже показалось, что она меня избегает. День проходил, а я все не мог увидеться с ней наедине; испугавшись, что мне придется уехать, так и не поговорив с нею, я перед самым ужином решился войти прямо к ней в комнату; она надевала коралловое ожерелье и, чтобы застегнуть его, подняла руки и немного наклонилась вперед, стоя спиной к двери и глядя через

плечо в зеркало, по бокам которого горели два канделябра. Именно в зеркале она меня сначала и увидела, но не обернулась, а еще некоторое время так смотрела на меня.

— Надо же! Оказывается, дверь была не заперта?

— Я стучал, ты не ответила, Алиса, ты знаешь, что я завтра уезжаю?

Она не ответила, только положила на камин ожерелье, которое ей так и не удалось застегнуть. Слово «помолвка» показалось мне слишком откровенным, слишком грубым, и уж не помню, что я сказал вместо него. Едва Алиса поняла, о чем я говорю, она точно потеряла равновесие и оперлась о каминную полку… Впрочем, меня самого так трясло, что я был не в состоянии поднять на нее глаз.

Я стоял совсем близко и, по-прежнему глядя в пол, взял ее за руку; она не отняла ее, а, напротив, слегка наклонившись и приподняв мою руку, прикоснулась к ней губами и прошептала, почти прижимаясь ко мне:

— Нет, Жером, нет, не будем обручаться, прошу тебя…

Сердце мое так сильно билось, что, по-моему, и ей было слышно. Еще более нежным голосом

она добавила:

— Не будем пока…

— Но почему? — тут же спросил я.

— Это я тебя должна спросить почему. Зачем все менять?

Я не осмелился задать ей вопрос о вчерашнем разговоре, но она, вероятно, догадалась, о чем я подумал, и как бы в ответ на мои мысли сказала, глядя мне прямо в глаза:

— Ты ошибаешься, мой друг: мне не нужно так много счастья. Ведь мы уже и так счастливы, правда?

Она хотела улыбнуться, но улыбке не получилось.

— Нет, потому что я должен покинуть тебя.

— Послушай, Жером, сегодня я не могу говорить с тобой об этом… Давай не будем омрачать наши последние минуты вместе… Нет-нет. Успокойся же, я люблю тебя сильнее, чем прежде. Я напишу тебе письмо и все объясню. Обещаю, что напишу завтра же… как только ты уедешь. А сейчас ступай, иди! Ну вот, я уже плачу… Оставь меня…

Она отталкивала меня, мягко отстраняясь от моих объятий, и, оказалось, это и было нашим прощанием, потому что в тот вечер мне больше не удалось ничего ей сказать, а на следующий

день, когда я уже выходил из дома, она заперлась у себя. Я увидел только, как она помахала мне рукой, провожая взглядом увозивший меня экипаж.

III

В тот год я почти не виделся с Абелем Вотье: не дожидаясь призыва, он поступил добровольцем, а я заканчивал повторный курс в выпускном классе и готовился к кандидатским экзаменам. Будучи на два года моложе Абеля, я решил проходить службу после окончания Эколь Нормаль, куда мы оба как раз должны были поступить.

Мы были рады вновь увидеть друг друга. По окончании службы в армии он больше месяца путешествовал. Я боялся, что найду его очень изменившимся, однако он лишь приобрел большую уверенность в себе, сохранив в полной мере прежнее свое обаяние. Всю вторую половину дня накануне начала занятий мы провели вместе в Люксембургском саду, и я, не удержавшись, подробно рассказал ему о своей любви, о которой он, впрочем, знал и без того. За прошедший год он приобрел кое-какой опыт в отношениях с женщинами, вследствие чего общался со мной с некоторым самодовольством и высокомерием; я на это, однако, не обижался. Он высмеял меня за то, что я, как он выражался, не смог настоять на своем, и не уставал твердить, что главное — не

давать женщине опомниться. Я не возражал ему, но все же думал, что его замечательные советы не годились ни для меня, ни для нее и что он просто показывал, насколько плохо он понял характер наших отношений.

На другой день после нашего приезда я получил такое письмо:

Дорогой Жером!

Я много думала над тем, что ты мне предлагал (что я предлагал! Так говорить о нашей помолвке!). Боюсь, что я слишком немолода для тебя. Вероятно, тебе это пока не так заметно, поскольку ты еще не встречался с другими женщинами, но я думаю о том, как мне придется страдать впоследствии, когда, уже будучи твоей, я увижу, что перестала тебе нравиться. Скорее всего, ты будешь очень возмущаться, читая эти строки: мне кажется, я даже слышу твои возражения – но тем не менее прошу тебя подождать еще, пока ты не станешь немного постарше.

Пойми, я говорю здесь лишь о тебе одном, ибо про себя я знаю точно, что никогда не перестану любить тебя.

Алиса

Перестать друг друга любить! Да разве можно было хотя бы представить себе такое! Мое удивление было даже сильнее огорчения; в полной растерянности, захватив письмо, я помчался к Абелю.

— Ну и что же ты собираешься делать? — спросил он, качая головой и сжав губы, после того как прочитал письмо. Я воздел руки в знак неуверенности и отчаяния. — Надеюсь по крайней мере, что отвечать ты не будешь! С женщинами только начни серьезный разговор — пиши пропало… Слушай меня: если в субботу вечером мы доберемся до Гавра, то в воскресенье утром можем быть уже в Фонгезмаре и вернемся обратно в понедельник, к первой лекции. Твоих я в последний раз видел еще до армии, так что предлог вполне подходящий и для меня приятный. Если Алиса поймет, что это лишь предлог, тем лучше! Я беру на себя Жюльетту, а ты в это время поговоришь с ее сестрой, причем постараешься вести себя по-мужски… По правде говоря, есть в твоей истории

что-то не очень мне понятное. Наверное, ты не все мне рассказал… Но не важно, я сам все выясню!.. Главное, не сообщай им о нашем приезде: твою кузину нужно застичь врасплох и не дать ей времени подготовиться к обороне.

Едва я толкнул садовую калитку, сердце мое так и забилось. Навстречу нам сразу же выбежала Жюльетта; Алиса была занята в бельевой и выходить явно не спешила. Мы уже вовсю беседовали с дядей и мисс Эшбертон, когда она наконец спустилась в гостиную. Если наш внезапный приезд и взволновал ее, то это ничуть не было заметно; я вспомнил слова Абеля и подумал, что она так долго не выходила именно потому, что готовилась к обороне. Ее сдержанность казалась еще более холодной на фоне необычайной живости Жюльетты. Я почувствовал, что она осуждает меня за это возвращение, по крайней мере весь ее вид выражал лишь неодобрение, а искать за ним какое-то тайное и более искреннее чувство я не решался. Она села в дальний угол у окна и, как бы отвлекшись от всего, полностью погрузилась в вышивание, сосредоточенно разбирая узор и слегка шевеля губами. К счастью, Абель не умолкал, ибо сам я был совершенно не в состоянии поддерживать разговор, так что без его рассказов

о военной службе и о путешествии первые минуты встречи были бы крайне томительными. Похоже, и дядя был чем-то весьма озабочен.

Не успели мы пообедать, как Жюльетта взяла меня за руку и позвала в сад.

— Ты представляешь, меня уже сватают! — выпалила она, как только мы остались вдвоем. — Вчера папа получил письмо от тети Фелиции, она пишет, что какой-то виноградарь из Нима собирается просить моей руки. По ее уверениям, человек он очень хороший, этой весной видел меня несколько раз в гостях и вот влюбился.

— А ты сама его хотя бы заметила, этого господина? — спросил я с непроизвольной враждебностью по отношению к новоявленному поклоннику.

— Да, я поняла, кто это. Этакий добродушный Дон Кихот, неотесанный, грубый, очень некрасивый и довольно забавный, так что тете стоило немалых усилий держаться с ним серьезно.

— Ну и как, есть ли у него… основания надеяться? — съязвил я.

— Перестань, Жером! Ты шутишь! Какой-то торговец!.. Если бы ты хоть раз его увидел, то не стал бы задавать таких вопросов.

— Ну а… дядя-то что ответил?

— То же, что и я: дескать, я еще слишком молода для замужества… К несчастью, — хихикнула она, — тетя предвидела подобное возражение и написала в постскриптуме, что господин Эдуар Тессьер — так его зовут — согласен подождать, а сватается он так заранее просто для того, чтобы «занять очередь»… Как все это глупо! А что еще мне было делать? Не могла же я просить передать ему, что он страшен, как смертный грех!

— Нет, но могла сказать, что не хочешь мужа-виноградаря.

Она пожала плечами.

— Все равно для тети это было бы непонятно… Ладно, хватит об этом. Скажи лучше, ведь Алиса тебе писала?

Она буквально тараторила и вообще была очень возбуждена. Я протянул ей письмо Алисы, которое она прочла, густо краснея. Затем она спросила, и мне послышались в ее голосе гневные нотки:

— Ну так что же ты собираешься делать?

— Даже и не знаю, — ответил я. — Оказавшись здесь, я сразу же понял, что мне было бы гораздо легче тоже написать ей. Я уже корю себя за то, что приехал. Но ты-то хоть понимаешь, что она хотела сказать?

— Я думаю, она хочет предоставить тебе полную свободу.

— Но на что она мне, эта свобода? Зачем она такое пишет, тебе ясно или нет?

Она ответила: «Нет», но так сухо, что я, совершенно не будучи ни в чем уверенным, все же именно с этой минуты заподозрил, что Жюльетте, должно быть, что-то известно. Внезапно на повороте аллеи, по которой мы шли, она обернулась.

— А сейчас оставь меня. Ты же приехал не для того, чтобы болтать со мной. Мы и так пробыли слишком долго вдвоем.

И она побежала к дому, а уже через минуту я услышал ее фортепьяно.

Когда я вошел в гостиную, она, не переставая играть, разговаривала с подошедшим Абелем, но как-то вяло и довольно бессвязно. Я снова вышел в сад и долго бродил по нему в поисках Алисы.

Нашел я ее в той части сада, где росли фруктовые деревья; возле самой стены она собирала букет из первых хризантем, чей аромат мешался с запахом опавшей буковой листвы. Воздух весь был напоен осенью. Солнце отдавало свое последнее скудное тепло цветам на шпалерах, небо было безоблачным, ясным, как на Востоке. Лицо Алисы тонуло в большом, глубоком головном уборе,

который Абель привез для нее из своего путешествия по Зеландии и который она немедленно надела. При моем приближении она не обернулась, но по тому, как она слегка вздрогнула, я понял, что она услышала мои шаги. Я внутренне напрягся, собирая всю свою смелость, чтобы вынести тот суровый укор, с которым она вот-вот должна была на меня взглянуть. Словно желая оттянуть это мгновение, я сбавил шаг и был уже совсем близко, как вдруг она, по-прежнему не поворачиваясь ко мне лицом, а глядя в землю, точно надутый ребенок, протянула почти за спину, навстречу мне, большой букет хризантем, как бы в знак того, что мне можно подойти. А поскольку я предпочел истолковать сей жест наоборот и остановился как вкопанный, она сама, наконец обернувшись, подошла ко мне, подняла голову, и я увидел… что она улыбается! В сиянии ее глаз мне вдруг все снова показалось таким простым и естественным, что я без всякого усилия и ничуть не изменившимся голосом сказал:

— Я вернулся из-за твоего письма.

— Я так и подумала, — сказала она и, смягчая голосом свой упрек, добавила: — Это как раз меня больше всего и рассердило. Почему ты так странно воспринял мои слова? Ведь речь идет о

совсем простых вещах… (Мои огорчения и заботы в тот же миг и впрямь показались мне какими-то надуманными, рожденными лишь воображением.) Разве я не говорила тебе, что мы и так уже счастливы? Почему же тебя удивляет мой отказ что-либо менять, как ты это предлагаешь?

В самом деле, рядом с ней я чувствовал себя счастливым, я был наверху блаженства — настолько, что желал лишь одного: думать так, как она, жить ее мыслью; мне только и нужна была эта ее улыбка, да еще взять бы ее за руку и идти, идти вот так, вместе, среди этих цветов, под этим ласковым солнцем.

— Если ты считаешь, что так будет лучше, — сказал я очень серьезно, раз и навсегда смиряясь со своей участью и полностью отдавшись мимолетному блаженству, — если ты так считаешь, тогда не надо никакой помолвки. Когда я получил твое письмо, я сразу же понял, что действительно был счастлив, но что мое счастье скоро кончится. Прошу тебя, верни мне его, без него я не смогу жить. Я так сильно люблю тебя, что готов ждать всю жизнь, но пойми, Алиса, если ты должна будешь разлюбить меня или усомнишься в моей любви, я этого не перенесу.

— Увы, Жером, как раз в этом я не сомневаюсь.

Она произнесла это спокойно и в то же время с грустью, но лицо ее по-прежнему светилось такой прекрасной, покойной улыбкой, что меня охватил стыд за мои опасения и настойчивые попытки что-то изменить. Мне даже показалось, что только они и явились причиной грусти, нотки которой я расслышал в ее голосе. Без всякого перехода я заговорил о своих планах, об учебе и о том новом жизненном поприще, на котором намеревался достичь немалых успехов. Тогдашняя Эколь Нормаль отличалась от той, в какую она превратилась с недавнего времени; ее довольно строгая дисциплина не подходила лишь ленивым или упрямым, а те, кто по-настоящему хотел учиться, получали для этого все возможности. Мне нравилось, что почти монастырский ее уклад оберегал бы меня от светской жизни, которая и без того не слишком меня влекла, а могла бы даже возбудить во мне отвращение, стоило только Алисе высказать на этот счет малейшее опасение. Мисс Эшбертон сохранила за собой парижскую квартиру, в которой они когда-то жили вместе с моей матерью. Ни у меня, ни у Абеля, кроме нее, в Париже знакомых не было, и каждое воскресенье мы по полдня проводили бы у нее; по воскресеньям же я писал бы Алисе

подробнейшие письма о своем житье-бытье.

К тому времени мы уже присели на остов полуразобранного парника, из которого там и сям выбивались длиннейшие огуречные плети, пустые и увядающие. Алиса слушала внимательно, задавала вопросы. Никогда прежде ее привязанность не казалась мне такой прочной, а нежность такой чуткой. Все мои опасения, заботы, малейшие волнения улетучивались от ее улыбки, растворялись в той восхитительной атмосфере душевной близости, словно туман в небесной лазури.

Потом к нам присоединились Жюльетта с Абелем, и мы, сидя на скамейке под буками, провели остаток дня за перечитыванием *«Триумфа времени»* Суинберна: каждый по очереди читал по одной строфе. Наступил вечер.

— Пора! — сказала Алиса, целуя меня на прощанье, будто бы в шутку, но одновременно как бы припоминая — и довольно охотно — роль старшей сестры, к обязанностям которой ей пришлось вернуться в связи с моим неблагоразумным поведением. — Обещай же мне, что отныне ты будешь менее романтичен, ладно?..

— Ну как, состоялась помолвка? — спросил меня Абель, едва мы снова остались вдвоем.

— Дорогой мой, об этом больше не может быть и речи, — отрезал я, добавив не менее категоричным тоном: — Так будет намного лучше, никогда еще я не был так счастлив, как сегодня вечером.

— И я тоже! — воскликнул он и вдруг бросился мне на шею. — Сейчас я скажу тебе нечто потрясающее, необыкновенное! Жером, я влюбился без памяти в Жюльетту! Я еще в прошлом году о чем-то таком догадывался, но с тех пор столько воды утекло, и я не хотел ничего говорить тебе до сегодняшней встречи. А теперь все: моя жизнь решена. *Люблю, да что люблю — боготворю Жюльетту!* То-то мне давно уже казалось, что я не просто так к тебе привязан, а как к будущему шурину!..

Тут он начал петь, хохотать, изо всех сил сжимать меня в своих объятиях, прыгать, как ребенок, на своем диване в вагоне поезда, мчавшего нас в Париж. Я был буквально задушен его излияниями и одновременно несколько смущен присутствовавшей в них примесью литературности, но как, скажите мне, противостоять такому неистовому веселью?..

— Так что, ты уже объяснился? — вставил я наконец между двумя очередными приступами.

— Да нет же, как можно! — воскликнул он. — Я

не собираюсь сжигать самую очаровательную главу в этой истории.

В любви и лучше есть мгновенья,
Чем те, что дарит объясненье…

Помилуй, кому другому, но только не тебе упрекать меня в медлительности!

— Ладно! — оборвал я его в некотором раздражении. — Скажи лучше, что она?..

— Так ты не заметил, как она была взволнована, увидев меня! Как она поминутно краснела, как была возбуждена, как от смущения без умолку говорила!.. Да нет, разумеется, ты ничего не заметил, ты был занят одной Алисой… А как она расспрашивала меня, как ловила каждое мое слово! Она здорово поумнела за этот год. Не знаю, с чего ты взял, что она не любит читать; просто ты, как всегда, все достоинства приписываешь Алисе… Нет, ты бы просто поразился ее познаниями! Угадай, какое развлечение мы нашли после обеда? Припоминали одну из дантовских *Canzone*! Каждый говорил по стиху, и это она поправляла меня, когда я сбивался. Ты знаешь ее прекрасно: *Amor che nella mente mi ragiona.* И ведь ни разу не сказал мне, что она выучилась итальянскому!

— Я и сам этого не знал, — пробормотал я, нема-

ло удивленный.

— Да как же! Когда мы только начали эту *Canzone*, она сказала мне, что услышала ее впервые от тебя.

— Видимо, она слышала, как я читал ее Алисе. Обычно она садилась где-нибудь рядом с шитьем или вышивкой, но черт меня возьми, если она хоть раз обнаружила, что все понимает!

— Вот же! Вы с Алисой оба погрязли в эгоизме. Варитесь в своей любви и даже взглядом не удостоите этот чудный росток, эту расцветающую душу, этот ум! Не хочу расхваливать сам себя, но как ни говори, а я появился очень вовремя… Нет-нет, ты же понимаешь, я нисколько не сержусь на тебя, — спохватился он, вновь стиснув меня в объятиях. — Но обещай — Алисе ни слова. Беру это дело целиком на себя. Жюльетта влюблена, это ясно, так что я могу спокойно оставить ее в этом состоянии до каникул. Причем я даже не буду ей писать. А на Новый год мы вдвоем приедем в Гавр и уж тогда…

— Что тогда?

— Как что? Алиса вдруг узнает о нашей помолвке. У меня-то уж все пройдет как по маслу. А что будет потом, подумай-ка? Согласие Алисы, которого ты все никак не можешь добиться, ты

получишь благодаря мне и нашему примеру. Мы убедим ее, что наша свадьба состоится только после вашей…

Он не закрывал рта и утопил меня в неиссякаемом словесном потоке, который не прекратился даже с прибытием поезда в Париж и даже с нашим приходом в Школу, потому что, хотя мы и проделали путь к ней от вокзала пешком и было уже далеко за полночь, Абель поднялся вместе со мной в мою комнату, где разговор и продолжился до самого утра.

Воодушевленный Абель расписал уже все наше настоящее и будущее. Он увидел и изобразил нашу двойную свадьбу, живописал в деталях всеобщее удивление и ликование, восторгался тем, как прекрасна вся наша история, наша дружба и его собственная роль в наших отношениях с Алисой. Поначалу я еще слабо защищался от такой дурманящей лести, но в конце концов не устоял и незаметно увлекся его химерическими прожектами. Любовь подогревала в нас обоих тщеславие и геройство; так, сразу по окончании Школы и нашей двойной свадьбы, благословленной пастором Вотье, мы намеревались все вчетвером отправиться в путешествие; затем мы приступали к каким-то титаническим свер-

шениям, а жены наши охотно становились нам помощницами. Абель, которого не особенно влекла университетская карьера и который верил, что рожден писателем, созданием нескольких драматических шедевров быстро сколачивал себе состояние, которого ему так не хватало; я же, более увлеченный самими исследованиями, нежели выгодой, которую можно из них извлечь, собирался целиком отдаться изучению религиозной философии и написать ее историю… Да что проку вспоминать сейчас тогдашние наши надежды?

Со следующего дня мы окунулись в работу.

IV

До новогодних каникул оставалось так мало времени, что огонь моей веры, ярко воспылавший после последней встречи с Алисой, мог гореть, ничуть не ослабевая. Как мною и было обещано, каждое воскресенье я писал ей длиннейшие письма, а в остальные дни, сторонясь товарищей и общаясь чуть ли не с одним Абелем, я жил только мыслью об Алисе; поля полюбившихся мне книг были испещрены пометками в расчете на нее — так даже мой собственный интерес подчинялся возможному ее интересу. При всем этом ее письма поселяли во мне какую-то тревогу; хотя отвечала она довольно регулярно, я гораздо больше был склонен видеть в ее усердном внимании ко мне стремление подбодрить меня в моих занятиях, чем какой-то естественный душевный порыв; тогда как у меня все оценки, рассуждения, замечания служили лишь средством для наилучшего выражения моей мысли, у нее, как мне казалось, напротив, все это использовалось лишь для того, чтобы свою мысль от меня скрыть. Иногда я даже задавался вопросом, уж не играет ли она таким образом со мной… Как бы то

ни было, твердо решив ни на что не жаловаться, я в своих письмах ничем не обнаруживал своей обеспокоенности.

Итак, в конце декабря мы с Абелем поехали в Гавр.

Остановился я у тети Плантье. Когда я приехал, ее не было дома, однако не успел я устроиться в моей комнате, как вошел кто-то из прислуги и передал, что тетя ждет меня в гостиной.

Наскоро осведомившись о том, как я себя чувствую, как устроился, как идет учеба, она без дальнейших предосторожностей дала волю своему участливому любопытству.

— Ты мне еще не рассказывал, мой мальчик, доволен ли ты остался пребыванием в Фонгезмаре? Удалось ли тебе продвинуться вперед в твоих делах?

Пришлось стерпеть неуклюжую тетину доброжелательность; но все же, как ни тягостно мне было столкнуться со столь упрощенным отношением к чувствам, о которых, как мне по-прежнему казалось, даже самые чистые и нежные слова способны были дать лишь весьма грубое представление, сказано это было настолько просто и сердечно, что обида выглядела бы глупо. Тем не менее поначалу я слегка воспротивился.

— Разве вы сами не говорили весной, что считаете нашу помолвку преждевременной?

— Да я помню, помню, вначале всегда так говорят, — закудахтала она, овладевая моей рукой и страстно сжимая ее в своих ладонях. — И к тому же из-за твоей учебы, а потом службы в армии вы сможете пожениться только через несколько лет, я все знаю. Я-то лично не очень одобряю такие помолвки, которые долго длятся; девушки просто устают ждать… Хотя иногда это бывает так трогательно… А объявлять о помолвке вовсе не обязательно… Но этим как бы дают понять — о, весьма осторожно! — что искать больше никого не надо. Да и вообще ваши отношения, вашу переписку никто не посмеет осудить; наконец, если вдруг объявится какой-то другой претендент — а такое вполне может случиться, — намекнула она с выразительной улыбкой, — это позволит деликатно ответить, что… нет, дескать, не стоит и пытаться. Ты знаешь, что к Жюльетте уже сватались? Этой зимой ее очень многие приметили. Ну, правда, она еще очень молоденькая — так она и ответила, — но молодой человек согласен подождать. Не такой уж он, по правде сказать, молодой, но… в общем, отличная партия. Человек солидный, надежный. Кстати, ты его завтра

увидишь, он придет ко мне на елку. Расскажешь мне потом о твоих впечатлениях.

— Боюсь, тетя, рассчитывать ему не на что. Вроде бы у Жюльетты есть кто-то другой на примете, — сказал я, сделав невероятное усилие, чтобы тут же не назвать имя Абеля.

— Гм-гм? — вопросительно промычала тетя, несколько скривившись и склонив набок голову. — Ты меня удивил! Почему же она мне ни о чем не рассказала?

— Ладно, там видно будет… Ей что-то нездоровится последнее время, Жюльетте-то, — снова начала она. — Впрочем, мы не о ней сейчас… Э-э… Алиса тоже очень милая девушка… Так скажи, наконец, определенно, ты объяснился или нет?

Хоть я восставал всей душой против самого этого слова — «объяснился», — казавшегося мне совершенно неподходящим и даже грубым, я был застигнут врасплох ее вопросом и, не умея как следует врать, пролепетал:

— Да, — чувствуя, как запылало мое лицо.

— И что же она?

Я уставился в пол и хотел было промолчать, но словно помимо воли еще более невнятно буркнул:

— Она не захотела обручаться.

— Ну и правильно сделала! — воскликнула тетя. — Господи, у вас же еще все впереди…

— Ах, тетушка, не будем об этом, — вставил я в тщетной надежде остановить ее.

— Впрочем, меня это ничуть не удивляет. Она-то всегда мне казалась посерьезнее тебя, твоя кузина…

Не могу объяснить, что на меня нашло в тот миг; очевидно, тетин допрос так меня взвинтил, что сердце мое было готово буквально разорваться; как ребенок, зарылся я лицом в тетушкины колени и зарыдал.

— Тетушка, право же, ну как вы не поймете… Она вовсе и не просила меня подождать…

— О Боже! Неужели она тебе отказала? — произнесла она с необычайной нежностью и сочувствием, приподняв мое лицо.

— Да нет… в общем, не совсем.

Я грустно покачал головой.

— Ты боишься, что она тебя разлюбила?

— Нет-нет, дело вовсе не в этом.

— Бедный мой мальчик, если хочешь, чтобы я тебя поняла, расскажи, будь добр, чуточку подробнее, в чем все-таки дело.

Мне было больно и стыдно оттого, что я поддался минутной слабости, ведь тетя все равно была

неспособна по-настоящему понять, чего я, собственно, опасался; однако если отказ Алисы был обусловлен какими-то скрытыми причинами, то тетя, осторожно расспросив ее, могла бы, вполне возможно, выведать их. Она и сама почти сразу же об этом заговорила.

— Вот послушай: Алиса должна прийти ко мне завтра помогать наряжать елку. Уж я-то быстро пойму, к чему тут все клонится, а за обедом все тебе расскажу, и ты сам увидишь, я уверена, что не о чем тебе тревожиться.

Обедать я пошел к Бюколенам. Жюльетта, которой в самом деле нездоровилось, заметно изменилась: в ее взгляде появилась какая-то настороженность, даже почти озлобленность, отчего она еще менее стала походить на сестру. Ни с одной из них в тот вечер я не смог поговорить наедине; признаться, я не очень к этому и стремился, и, поскольку дядя выглядел довольно усталым, я распрощался вскоре после того, как все вышли из-за стола.

На рождественскую елку к тетушке Плантье каждый год собиралось очень много детей, родни и друзей. Елку ставили в вестибюле у лестницы, куда выходили одна из прихожих, гостиная и застекленные двери небольшого зимнего сада,

где устраивался буфет. Елку еще не успели до конца нарядить, и уже в день праздника, утром, то есть на следующий день после моего приезда, Алиса, как тетя меня о том и уведомила, пришла довольно рано, чтобы помочь ей развесить на ветвях украшения, огоньки, засахаренные фрукты, сладости и игрушки. Мне самому очень хотелось поучаствовать вместе с ней в этих приятных хлопотах, но нужно было дать возможность тете поговорить с ней, поэтому я ушел, даже не повидав ее, и всю первую половину дня пытался отвлечься от беспокойных мыслей.

Сначала я пошел к Бюколенам, думая увидеться с Жюльеттой, но там узнал, что меня опередил Абель; не желая прерывать их важный разговор, я тут же вышел и до самого обеда бродил по набережным и улицам города.

— Голова ты садовая! — таким возгласом встретила меня тетя. — Это же надо так усложнять себе жизнь! Что за ерунду ты наговорил мне с утра пораньше!.. Но, слава Богу, я человек прямой: только мисс Эшбертон подустала, я ее спровадила, мы с Алисой остались вдвоем, и тут я ее без обиняков и спросила, почему, дескать, она отказалась этим летом обручиться с тобой. Думаешь, она растерялась? Не тут-то было! Она спокойненько мне

ответила, что не хочет выходить замуж раньше сестры. Она и тебе ответила бы тоже самое, если бы ты ее спросил напрямик. Ну, скажи, стоило мучиться-то, а? Вот так-то, милый мой: прямота, она лучше всего… Алиса, бедняжка, и об отце своем мне говорила: не могу, мол, бросить его одного… О, да мы обо всем успели поболтать. До чего ж умненькая девочка! Я, говорит, не уверена, что подхожу ему; боясь, слишком у нас большая разница в возрасте, и ему, мол, лучше найти девушку вроде Жюльетты…

Тетушка продолжала, но я ее больше не слушал; только одно мне было важно: Алиса не согласна выходить замуж раньше сестры. А на что ж тогда Абель! Значит, все-таки прав он был, не бахвалился, когда говорил, что одним махом устроит обе наши женитьбы…

Как мог, скрывал я от тети то возбуждение, которое вызвало во мне это, в сущности простое, открытие, и всем своим видом выражал лишь радость, показавшуюся ей вполне естественной и вдобавок особенно приятной оттого, что именно она, как ей казалось, мне ее доставила; едва отобедав, я, не помню уж, под каким предлогом, отпросился и кинулся к Абелю.

— Ага! Что я говорил?! — бросился он обнимать

меня, когда я поведал ему о своей радости. — Слушай, скажу тебе сразу, что наш утренний разговор с Жюльеттой был почти решающим, хотя речь шла почти исключительно о тебе. Но она выглядела какой-то усталой, слегка раздраженной… В общем, я боялся слишком взволновать ее и особенно далеко не заходил, да и долго оставаться у нее я не мог по той же причине. Теперь же, после того что ты мне рассказал, считай, дело сделано! Знаешь, я могу сейчас все, что хочешь, — прыгать, скакать, колесом ходить. Когда пойдем вместе к Бюколенам, держи меня крепче, не то я взлечу по дороге: я чувствую, что становлюсь легче Эвфориона… Когда Жюльетта узнает, что только из-за нее Алиса отказывается ответить тебе согласием; когда я немедленно сделаю предложение… Эх! Да ты послушай: я уже вижу, как преподобный отец сегодня же вечером перед рождественской елкой, вознося хвалы Господу со слезами на глазах, благословляет нас четверых, бросившихся к его ногам. Мисс Эшбертон испарится от охов и вздохов, тетушка Плантье растает в своем корсаже, а елка, сверкая огнями, воспоет славу Божию и вострепещет, как те горы у пророка Аввакума.

Елку собирались зажечь только к вечеру, когда

соберутся дети, родственники и друзья. Выйдя от Абеля и не зная, чем заняться — настолько меня томило нетерпение, — я, чтобы убить время, пустился бродить по окрестностям возле скалы Сент-Адресс, заблудился, и вышло так, что, когда я вернулся к тете, праздник уже начался.

Едва войдя в вестибюль, я увидел Алису; она, похоже, ждала меня и сразу же подошла. В вырезе ее платья виднелся висевший на шее старинный аметистовый крестик, который я подарил ей в память о моей матери, но который она при мне еще не надевала. Ее осунувшееся лицо выражало такую боль, что мне стало не по себе.

— Почему ты опоздал? — быстро произнесла она, будто ей не хватало дыхания. — Я хотела поговорить с тобой.

— Я заблудился там, у скалы… Но что с тобой, тебе плохо?.. Алиса, ради Бога, что случилось?

Губы ее дрожали, и некоторое время она стояла молча, словно в каком-то ошеломлении; я не смел больше расспрашивать ее, потому что меня самого вдруг сдавило невероятной тоской. Она положила руку мне на шею, как будто хотела приблизить мое лицо. Я подумал, что она собирается что-то сказать, но в этот момент уже начали входить гости, и рука ее безвольно упала…

— Не получится, — прошептала она и, видя, что я чуть не плачу, и отвечая на немой вопрос, застывший в моих глазах, добавила, словно это смехотворное объяснение могло совершенно меня успокоить: — Нет-нет… не волнуйся, просто у меня болит голова: дети устроили такой ужасный шум… мне пришлось спрятаться здесь… Сейчас мне пора вернуться к ним.

Она быстро вышла. Вестибюль наполнился людьми. Я подумал, что разыщу ее в гостиной, и действительно заметил ее в противоположном конце комнаты посреди толпы детей, с которыми она затевала какие-то игры. Между ней и мною я заметил нескольких знакомых, мимо которых я, скорее всего, не мог проскочить, не рискуя быть задержанным, а раскланиваться, вести светские беседы я был не в состоянии. Разве что проскользнуть вдоль стены… Стоило попытаться.

Когда я проходил мимо большой застекленной двери, ведущей в сад, то почувствовал, что кто-то схватил меня за руку. Это оказалась Жюльетта, притаившаяся в дверном проеме за шторой.

— Пойдем в зимний сад, — выпалила она. — Мне нужно с тобой поговорить. Иди с другой стороны, я к тебе подойду.

Затем, быстро приоткрыв дверь, она скрылась

в саду.

Что же все-таки произошло? Мне захотелось срочно увидеться с Абелем. Что он такого сказал? Что сделал?.. Через вестибюль я прошел в оранжерею, где меня уже ждала Жюльетта.

Лицо ее пылало; нахмуренные брови придавали взгляду пронзительно-страдальческое выражение; глаза болезненно блестели; даже голос звучал сдавленно и резко. Она была точно вне себя от ярости; несмотря на мою тревогу, я с удивлением и даже некоторым смущением отметил про себя, как она красива. Мы были одни.

— Алиса говорила с тобой? — сразу же спросила она.

— Два слова, не больше: я ведь опоздал.

— Ты знаешь, что она хочет, чтобы я первая вышла замуж?

— Да.

Она пристально смотрела мне в глаза:

— А знаешь, за кого ей хочется, чтобы я вышла?

Я молчал.

— За тебя! — буквально выкрикнула она.

— Но это безумие!

— Вот именно! — Произнесено это было одновременно с отчаянием и торжеством. Она

приняла какой-то вызывающий вид и вся даже откинулась назад…

— Теперь я знаю, что мне следует делать, — добавила она невнятно, затем распахнула дверь и, выйдя, со звоном захлопнула ее.

И в голове, и в душе у меня все смешалось. Кровь стучала в висках. Четко я помнил лишь одно: нужно разыскать Абеля; уж он-то, наверное, сможет объяснить мне странное поведение обеих сестер… Однако вернуться в гостиную я не осмелился, так как все непременно заметили бы, в каком я состоянии. Я вышел на воздух. В саду было холодно, и, побыв там некоторое время, я немного пришел в себя. Уже смеркалось, и город постепенно скрывался в морском тумане; деревья стояли голые; от земли и неба точно исходила какая-то безысходная тоска… Послышалось пение — очевидно, это был хор детей возле рождественской елки. Я вернулся в дом через вестибюль. Двери в гостиную и прихожую были распахнуты, и я заметил в гостиной тетушку, которая, словно прячась за пианино, что-то говорила стоявшей рядом Жюльетте. Все гости толпились в прихожей, поближе к елке. Дети допели рождественскую песню, наступила тишина, и пастор Вотье, встав спиной к елке,

начал читать нечто вроде проповеди: он никогда не упускал возможности «посеять семена добра», как он говорил. Мне стало душно, яркий свет резал глаза, и я повернулся, чтобы снова выйти, как вдруг возле дверей увидел Абеля; видимо, он стоял так уже несколько минут и глядел на меня весьма враждебно. Когда наши взгляды встретились, он пожал плечами. Я подошел к нему.

— Ну и дурак же ты! — процедил он сквозь зубы и тут же добавил: — Ладно, пошли отсюда, я уже по горло сыт этим сладкоречием! — Едва мы вышли, как он снова обрушился на меня, поскольку я продолжал молча и недоуменно смотреть на него. — Дурак! Олух! Да она же тебя любит! Ты что, не мог мне раньше сказать?

Я стоял как оглушенный. Все это не укладывалось у меня в голове.

— Нет, но это же надо! Самому такого не заметить!

Он схватил меня за плечи и яростно тряс. Голос его дрожал и прорывался сквозь стиснутые зубы с каким-то свистом.

— Абель, умоляю, — наконец произнес я таким же дрожащим голосом, когда он изо всех сил потащил меня куда-то, — чем так сердиться, ты бы лучше рассказал мне, что произошло. Я ничего

не понимаю.

Внезапно остановившись под фонарем, он впился в меня глазами, затем крепко прижал к себе, положил голову мне на плечо и глухо зарыдал:

— Прости, прости, брат! Я сам был так же глуп и слеп и ничего не видел, как и ты.

Слезы немного успокоили его; он поднял голову и начал говорить, снова зашагав куда-то:

— Что произошло… Да стоит ли к этому возвращаться? Утром, как ты знаешь, у нас с Жюльеттой был разговор. Она была просто необыкновенно красива и возбуждена; я-то думал, что из-за меня, а на самом деле потому, что мы говорили о тебе, вот и все.

— Так, значит, ты уже тогда догадался?..

— Нет, тогда еще не совсем, но сейчас это ясно даже по малейшим деталям…

— Ты уверен, что не ошибся?

— Ошибся?! Братец ты мой, да только слепой не увидит, что она любит тебя.

— А Алиса, значит…

— А Алиса приносит себя в жертву. Ей стала известна тайна сестры, и она собралась уступить место. Право, старина, это вовсе не так уж трудно понять!.. Я попытался было снова поговорить

с Жюльеттой, но едва я начал, точнее, едва она начала догадываться, в чем дело, как тут же вскочила с дивана, на котором мы сидели рядом, и несколько раз повторила: «Я так и знала», хотя по голосу было понятно, что ничего она не знала…

— Ну право, сейчас не до шуток!

— Отчего же? Вся эта история мне кажется ужасно забавной… Так вот, потом она бросилась в комнату к сестре, и я с тревогой слушал доносившиеся оттуда отголоски бурной сцены. Я-то надеялся, что Жюльетта еще выйдет, но вместо нее появилась Алиса. Она уже была в шляпе, очень смутилась, увидев меня, на ходу поздоровалась и ушла… Вот и все.

— Значит, Жюльетту ты с тех пор не видел?

После некоторого колебания Абель ответил:

— Видел. Когда Алиса ушла, я толкнул дверь ее комнаты. Жюльетта стояла, словно в оцепенении, перед камином, опершись локтями о мраморную полку, положив подбородок на ладони и пристально смотрела на себя в зеркало. Я вошел, но она даже не обернулась, а только вдруг как притопнет да как крикнет: «Оставьте же меня наконец!» — причем так сердито, что я почел за лучшее удалиться. Вот и все.

— И что же теперь?

— А!.. Я с тобой поговорил, и мне уже лучше… Что теперь? Попробуй вылечить Жюльетту от этой любви, ибо или я совсем не знаю Алису, или до тех пор тебе ее не видать.

Мы еще довольно долго шли в полном молчании.

— Пойдем назад! — сказал он наконец. — Гости уже ушли. Боюсь, преподобный меня заждался.

Мы вернулись. Действительно, гостиная уже опустела; в прихожей, возле разоренной елки, на которой догорали последние свечки, остались только тетушка с двумя детьми, дядя Бюколен, мисс Эшбертон, пастор, обе мои кузины и еще какая-то личность, на вид довольно смешная; я видел, как он весь вечер беседовал с тетей, но тогда не признал в нем того самого жениха, о котором мне рассказывала Жюльетта. Крупный, плотный, загорелый, с большими залысинами, он был явно другого звания, другой среды, другой породы, да и сам он, похоже, чувствовал себя чужаком среди нас, отчего нервно крутил и мучил свою седеющую эспаньолку, выступавшую из-под пышных нависающих усов. Двери были по-прежнему распахнуты, а в вестибюле, куда мы вошли без лишнего шума, было темно, так что никто не заметил нашего присутствия. Внезапно

меня пронзило страшное предчувствие.

— Стой! — прошипел Абель, хватая меня за руку.

Мы увидели, как незнакомец подошел к Жюльетте и взял ее за руку, которую та безвольно отдала ему, даже не взглянув на него. Сердце мое похолодело.

— Да что же это делается, Абель?! — пробормотал я, словно все еще не понимая или надеясь, что не до конца понимаю.

— Черт побери! Малышка поднимает ставку, — услышал я в ответ свистящий шепот. — Ей не хочется отстать от сестры. Держу пари, сейчас ей рукоплещут все ангелы на небесах!

Жюльетту уже обнимал и целовал дядя, ее обступили тетушка и мисс Эшбертон, подошел и пастор Вотье… Я рванулся вперед. Алиса, заметив меня, вся дрожа, бросилась мне навстречу.

— Жером, это совершенно невозможно. Она же не любит его! Она мне это сказала еще сегодня утром. Вмешайся, Жером! О Боже, что с нею будет?!

В отчаянной мольбе она повисла у меня на плече; я не пожалел бы жизни, чтобы облегчить хоть немного ее горе.

Вдруг возле елки кто-то вскрикнул, все сра-

зу же засуетились… Мы подбежали и увидели, как тетушка подхватила упавшую без чувств Жюльетту. Все столпились вокруг, склонились над ней, и мне почти не было видно ее, только рассыпавшиеся волосы, которые, казалось, откидывали назад ее смертельно побледневшее лицо. По пробегавшим по ее телу судорогам можно было предположить, что это не был заурядный обморок.

— Что вы, что вы! — громко успокаивала тетушка перепуганного дядю Бюколена, которого уже утешал пастор Вотье, указывая пальцем на небо. — Нет-нет, ничего страшного! Она просто переволновалась, перенервничала. Господин Тессьер, помогите-ка мне, вы ведь такой сильный. Сейчас отнесем ее ко мне в комнату, на мою постель… ко мне на постель… — Она наклонилась и что-то шепнула на ухо своему старшему сыну, и я увидел, как тот тут же убежал, очевидно за доктором.

Тетушка и жених поддерживали Жюльетту под плечи и спину, руки ее бессильно висели. Алиса осторожно и нежно несла сестру за ноги. Абель держал ее голову, которая иначе откинулась бы совершенно назад, и я видел, как он, весь согнувшись, осыпал поцелуями и собирал ее

распущенные волосы.

Я остановился в дверях тетиной комнаты. Жюльетту положили на постель; Алиса что-то сказала г-ну Тессьеру и Абелю, но я не услышал ни слова, затем она проводила их до двери и попросила, чтобы мы дали ее сестре отдохнуть; она собиралась остаться возле нее вместе с тетей Плантье…

Абель схватил меня за руку, увлекая прочь, в ночную темноту, и мы еще долго шагали так, подавленные, не зная куда, не зная зачем.

V

Я не искал иного смысла в жизни, кроме любви, цеплялся за нее изо всех сил, не ждал ничего, да и не хотел ничего ждать, кроме того, что приходило ко мне от моей возлюбленной.

На следующий день, когда я уже был почти готов идти к ней, тетя остановила меня и протянула только что полученное ею письмо:

…Ночь прошла очень беспокойно, Жюльетта металась и успокоилась только к утру, когда подействовали прописанные доктором лекарства. Заклинаю Жерома несколько дней не приходить сюда. Жюльетта может случайно услышать его шаги или голос, а ей сейчас нужен полный покой…

Боюсь, что до выздоровления Жюльетты мне придется задержаться здесь. Если я не смогу принять Жерома до его отъезда, передай ему, дорогая тетя, что я ему обязательно напишу…

Запрет касался меня одного. И тетя, и вообще кто угодно могли звонить и приходить к Бюколенам; а тетя уже намеревалась пойти туда сегодня же утром. Какой еще от меня особенный шум?

Что за нелепый предлог?.. Впрочем, не важно!

— Что ж, ладно. Я не пойду.

Мне дорого стоило отказаться от встречи с Алисой; я желал этой встречи, но одновременно и боялся, — боялся предстать в ее глазах виноватым в том, что случилось с ее сестрой, а потому мне было все-таки легче не увидеться с ней вовсе, чем увидеть ее раздраженной.

В любом случае мне хотелось видеть Абеля.

Открывшая дверь горничная протянула мне записку:

Пишу эту записку, чтобы ты не беспокоился. Оставаться долее в Гавре, совсем рядом с Жюльеттой, выше моих сил. Вчера вечером, вскоре же после того, как мы расстались, я сел на пароход в Саутхемптон. Поживу до конца каникул в Лондоне, у С… Увидимся в Школе.

…Так в один миг я лишился всякой людской поддержки. Дальнейшее пребывание в Гавре не сулило мне ничего, кроме новых страданий, и я вернулся в Париж задолго до начала занятий. Я обратился помыслами к Богу, к Тому, «от Кого исходит всякое истинное утешение, всякая благодать и всякое совершенство». Ему принес я свою боль, и молитва моя ободрялась, вдохновлялась

мыслью о том, что и она ищет прибежища в Нем и молится.

Потекло время, в раздумьях и занятиях, без каких-либо иных событий, кроме писем Алисы и моих к ней. Я сохранил их все и именно на них опираюсь, восстанавливая в памяти последующие события…

Новости из Гавра доходили до меня через тетушку, поначалу даже исключительно через нее; так я узнал, какие серьезные опасения вызывало тяжелое состояние Жюльетты в первые дни. Лишь через двенадцать дней после моего отъезда я получил наконец первое письмо от Алисы:

Извини, пожалуйста, дорогой мой Жером, что я не написала тебе раньше: состояние нашей бедняжки Жюльетты не оставляло времени на письма. С тех пор, как ты уехал, я почти неотлучно была возле нее. Я попросила тетю держать тебя в курсе наших дел. Думаю, она выполнила мою просьбу, и ты, наверное, знаешь, что вот уже третий день Жюльетте лучше. Я благодарю Бога, но радоваться пока не смею.

Также и Робер, о котором я здесь почти не упоминал и который приехал в Париж спустя несколько дней после меня, смог немного рас-

сказать мне о том, как поживают его сестры. Собственно, ради них я и уделял ему гораздо больше времени, нежели мне бы того хотелось, следуй я склонностям своего характера; он поступил в сельскохозяйственную школу, и едва у него выдавался свободный день, как мне приходилось заниматься им и изобретать, чем бы его развлечь.

От него я узнал то, о чем не решался спросить ни у Алисы, ни у тети: оказывается, Эдуар Тессьер усердно заходил справляться о здоровье Жюльетты, однако до отъезда Робера из Гавра он еще не виделся с ней вновь. Узнал я также и то, что Жюльетта, с тех пор, как я уехал, в общении с сестрой хранила упорное молчание, которое ничто не способно было нарушить.

Несколько позднее через тетю мне стало известно кое-что и о злополучной помолвке Жюльетты: Алиса, я это чувствовал, надеялась, что помолвка немедленно расстроится, однако Жюльетта сама настояла, чтобы о ней объявили как можно раньше. Ее решимость, о которую разбивались все советы, увещевания и мольбы, сделала ее упрямой, слепой и немой — точно замурованной в молчание.

Шло время. От Алисы, которой я уже и не знал, о

чем писать, приходили короткие, скупые письма, лишь усугублявшие мою тоску. Я словно погружался в густой зимний туман; увы, ни настольная лампа, ни весь пыл моей любви, ни моя вера были не в силах одолеть мрак и холод в моем сердце. А время шло.

И вот однажды, весенним утром, я неожиданно получил письмо Алисы, адресованное тетушке, которая в это время куда-то уехала из Гавра и переслала письмо мне; я выписываю из него то, что поможет лучше понять эту историю:

…Ты должна быть довольна моим послушанием: как я тебе и обещала, я приняла-таки г-на Тессьера и долго с ним говорила. Не скрою, держался он очень достойно, и я даже почти поверила, признаюсь честно, в то, что этот брак может оказаться не таким уж несчастливым, как я вначале опасалась. Разумеется, Жюльетта не любит его, но мне он кажется от раза к разу все менее недостойным любви. Судя по его словам, он отлично все понимает и ничуть не заблуждается относительно характера моей сестры, но он уверен, что его любовь к ней может многое изменить, и убеждает меня, что нет таких препятствий, которые смогли бы устоять перед его терпением и упорством. Ты уже поняла,

что влюблен он без памяти.

Ты права, я была необычайно тронута, узнав, что Жером так много занимается с моим братом. Думаю, что он просто счел это своим долгом — ибо по характеру они с Робером совершенно непохожи, — а также, вероятно, хотел таким образом понравиться мне, но сам же он наверняка смог убедиться: чем больше усилий требует от нас исполнение долга, тем мудрее и возвышеннее становится наша душа. Подобные суждения кому-то могут показаться выспренними, но, тетушка, право же, не смейся над своей великовозрастной племянницей, ибо эти мысли поддерживают меня и облегчают мои попытки толковать брак Жюльетты как благо.

Я так благодарна за твою нежную заботу обо мне, дорогая тетушка!.. Но не думай, пожалуйста, что я несчастлива; я бы могла даже сказать: наоборот — ибо потрясение, испытанное Жюльеттой, отозвалось и во мне. Для меня вдруг прояснились те слова из Писания, которые я раньше повторяла почти бездумно: «Проклят человек, который надеется на человека». Еще задолго до того, как я нашла это место в Библии, я прочла эти слова на рождественской открытке, которую прислал мне Жером, когда

ему еще не было и двенадцати, а мне уже исполнилось четырнадцать. На той открытке, рядом с цветочным венком, который тогда нам очень нравился, было помещено четверостишие — парафраз, кажется, Корнеля:

Обречены те, кто подмогу
В невзгодах ищут у людей.

Признаться, та простая строка Иеремии мне бесконечно ближе. Жером, когда выбирал открытку, разумеется, не обратил особого внимания на эти слова, но сейчас, судя по письмам, его образ мыслей стал очень походить на мой, и я каждый день благодарю Бога за то, что Он одновременно приближает к себе нас обоих.

Памятуя о нашем с тобой разговоре, я больше не пишу ему таких длинных писем, как прежде, чтобы не отвлекать его от работы. Ты, наверно, уже подумала, что как бы в возмещение за это я бесконечно долго рассказываю о нем, поэтому, пока не поздно, заканчиваю письмо. Прошу тебя, не сердись.

Какую бурю переживаний вызвало во мне это письмо! Я проклинал неумелое тетушкино вмешательство (что же это был за разговор, о котором упомянула Алиса и после которого она

почти перестала писать мне?), неуместную заботу, заставившую ее поставить меня обо всем этом в известность. Если мне и без того тяжело было переносить молчание Алисы, не лучше ли в тысячу раз было держать меня в неведении, что то, о чем она давно перестала говорить со мной, она спокойно пишет кому-то другому! Все раздражало меня: и то, что она так легко пересказывает тетушке наши самые заветные тайны, и естественный тон письмо, и ее спокойствие, и серьезность, и готовность шутить…

— Нет-нет, дружище! Тебе прежде всего не дает покоя то, что письмо адресовано не тебе, — сказал Абель, непременный мой спутник, Абель, с которым только и мог я поговорить и к которому в моем одиночестве меня неизменно снова и снова пригоняли моя слабость, потребность выплакаться, неверие в собственные силы и — в минуты растерянности — доверие, которое я питал к его советам, несмотря на явную разность наших натур или скорее благодаря ей…

— Изучим внимательно этот документ, — произнес он, разложив страницы письма на своем столе.

К тому времени я уже промучился три ночи, а четыре дня, соответственно, носил все в себе,

старяясь не подать виду! Самостоятельно я уже почти пришел к тем же умозаключениям, которые выдал мне мой друг:

— Давай так: посмотрим, что с этой блестящей партией сделает огонь любви. Уж мы-то знаем, как действует его пламя. Черт меня побери, если Тессьер не есть тот самый мотылек, который спалит в нем свои крылышки…

— Оставим это, — смутился я от его шуточек. — Поговорим лучше про то, что идет дальше.

— А что дальше? — удивился он. — Дальше все только о тебе. Жалуйся, несчастный! Нет ни строчки, ни единого слова, которые не были бы наполнены мыслью о тебе. По сути дела, и письмо-то адресовано тебе; переслав его, тетя Фелиция лишь вернула его истинному получателю. Только из-за того, что ты далеко, Алиса и припадает к груди этой доброй тетеньки. Вот, к примеру, стихи Корнеля, которые замечу в скобках, принадлежат Расину, для нее, для тетушки-то, они ведь пустой звук. Да говорю же тебе, с тобой она всем этим делится, тебе все это рассказывает. Ты будешь последним болваном, если уже через две недели твоя кузина не напишет тебе такое же длинное, легкое и приятное письмо…

— Да она вовсе не собирается этого делать!

— Сейчас все в твоих руках! Хочешь совет? Еще в течение… ну, в общем, довольно долгое время даже не заикайся ни о любви, ни о женитьбе. Ведь после того, что случилось с ее сестрой, она именно за это на тебя и сердится, понимаешь? Упирай на братские чувства, без конца пиши о Робере, коли у тебя хватает терпения возиться с этим кретином. Короче, просто занимай ее чем-нибудь, и все, а остальное само собой выйдет. Эх, вот бы мне можно было ей написать!..

— Ты был бы недостоин чести ее любить.

Тем не менее я все-таки последовал совету Абеля, и действительно письма Алисы постепенно начали становиться более живыми, хотя я не мог надеяться ни на подлинную радость с ее стороны, ни на решительное смягчение до тех пор, пока Жюльетта не обрела если уж не счастье, то по крайней мере определенное положение.

Алиса писала тем временем, что дела Жюльетты идут все лучше, в июле должна состояться свадьба и жаль, что мы с Абелем не сможем приехать из-за нашей учебы… То есть, как я понял, она сочла, что наше присутствие на церемонии вовсе не обязательно, поэтому мы, сославшись на очередной экзамен, ограничились тем, что послали поздравительные открытки.

Примерно недели через две после свадьбы Алиса прислала мне такое письмо:

Дорогой Жером,

суди сам о том, как я была поражена, открыв вчера наугад подаренный тобой прелестный томик Расина и обнаружив то самое четверостишие с твоей давнишней рождественской открытки, которую я вот уже скоро десять лет храню между страниц Библии.

Порыв, меня влекущий к Богу,
Победней всех земных страстей.
Обречены те, кто подмогу
В невзгодах ищут у людей.

Я считала, что это отрывок из какого-то корнелевского парафраза, и, по правде говоря, не находила в нем ничего особенного. Но, читая дальше «IV Духовное песнопение», я напала на такие прекрасные строфы, что не в силах удержаться, чтобы не переписать их сейчас для тебя. Не сомневаюсь, что они тебе известны,

насколько я могу судить по инициалам, которые ты неосторожно оставил на полях. (В самом деле, у меня появилась привычка помечать в моих и ее книгах большой буквой «А» те пассажи, которые мне понравились или с которыми я хотел познакомить и ее.) Но не важно! Я сама получу удовольствие, переписывая их. Сначала я даже слегка обиделась, когда поняла, что моя находка на самом деле была твоим подарком, но это гадкое чувство уступило место радости от мысли, что ты полюбил эти строфы так же, как и я. Когда я переписываю их, мне кажется, что мы вместе их читаем.

Глас горний истины превечной
Из поднебесья к нам воззвал:
«Зачем, о люди, так беспечно
Земных вы ищете похвал?
Изъян ли слабых душ виною,
Что крови ваших жил ценою
Вы покупаете подчас
Не хлеб, который насыщает,
Но тень его, что лишь прельща-

ет,

А голод пуще гложет вас.

Хлебы, что свыше вам дарятся, —

Созданье Божией руки.

Они для ангелов творятся

Лишь из отборнейшей муки.

Вас этим хлебом вожделенным

В столь вам любезном мире бренном

Вовек никто не угостит,

А кто за мною устремится,

Тот сможет вволю угоститься

И будет жив, здоров и сыт».

.....

В твоем плену душа обрящет

Покой блаженный навсегда,

Испив воды животворящей,

Что не иссякнет никогда.

Не скрыт от мира сей родник,

Чтоб всяк хоть раз к нему при-

ник.

Мы ж пьем из мутного пруда,
Довольствуясь безумцев долей,
Иль из неверных суходолий,
Где не задержится вода.

Как это прекрасно, Жером, как прекрасно! Не правда ли, ты ощутил эту красоту так же, как и я? В моем издании дается маленькое примечание о том, что г-жа Ментенон, услышав эту песнь в исполнении м-ль д'Омаль, пришла в восхищение, «уронила несколько слезинок» и просила исполнить один из отрывков еще раз. Я выучила ее наизусть и без устали повторяю ее про себя. Жалею я лишь об одном: что не слышала, как ее читаешь ты.

От наших путешественников продолжают приходить приятные вести. Ты уже знаешь, как понравилось Жюльетте в Байонне и в Биаррице, несмотря даже на ужасную жару. С тех пор они побывали в Фонтараби, останавливались в Бургосе, дважды переходили Пиренеи… Только что я получила от нее восторженное

письмо из Монсерра. Они рассчитывают побыть дней десять в Барселоне, а затем вернуться в Ним: Эдуар хочет успеть до конца сентября, чтобы все подготовить к сбору винограда.

Мы уже целую неделю с отцом в Фонгезмаре; завтра должна приехать мисс Эшбертон, а через четыре дня Робер. Бедный мальчик, как ты знаешь, не сдал экзамен, причем не потому, что он был трудный, а просто экзаменатор задавал такие причудливые вопросы, что он растерялся. Не могу поверить, что Робер не был готов, – после всего, что ты мне писал о его старании и усердии. Видимо, этому экзаменатору нравится таким образом приводить в смущение учеников.

Что же касается твоих успехов, дорогой друг, то мне даже как-то неловко поздравлять тебя – настолько они мне кажутся естественными. Я так верю в тебя, Жером! Едва я начинаю о тебе думать, как сердце мое наполняется надеждой. Сможешь ли ты уже сейчас приступить к той работе, о которой ты мне рассказывал?..

...У нас в саду ничего не изменилось, но дом как будто опустел! Ты ведь понял, не правда ли, почему я просила тебя не приезжать этим летом; я чувствую, что так будет лучше, и повторяю это каждый день, потому что мне очень тяжело не видеть тебя так долго... Иногда я непроизвольно начинаю тебя искать: вдруг прерываю чтение и оборачиваюсь... Мне кажется, что ты рядом!

Продолжаю письмо. Сейчас ночь, все легли спать, а я засиделась перед открытым окном; в саду очень тепло и все благоухает. Помнишь, в детстве, когда мы видели или слышали что-то очень красивое, мы думали: «Спасибо, Боже, за то, что мы это создал...» Вот и сегодня в моей душе лишь одна мысль: «Спасибо, Боже, за то, что ты подарил такую прекрасную ночь!» И вдруг мне так захотелось, чтобы ты оказался здесь, рядом, совсем близко, захотелось изо всех сил – так, что даже ты, наверное, это почувствовал.

Как ты хорошо сказал в одном письме: «есть такие счастливые души», в

которых восхищение неотделимо от признательности... Мне столько еще хотелось бы сказать тебе! Вот я пытаюсь представить ту солнечную страну, о которой пишет Жюльетта. Мне видятся и совсем иные края – там еще просторнее, еще больше солнца, еще пустыннее. Меня не покидает какая-то странная уверенность, что однажды – не знаю, каким образом, – мы вместе увидим великую таинственную страну...

Вы, конечно, без труда можете себе представить, как я читал это письмо — с радостным замиранием сердца, со слезами любви. За ним последовали другие. Да, Алиса благодарила меня за то, что я не приехал в Фонгезмар; да, она умоляла меня не искать с ней встречи в этом году, но сейчас она жалела о том, что меня нет рядом с ней, она хотела видеть меня; этот призыв слышался с каждой страницы. Почему я не поддался ему? Что придавало мне силы? Советы Абеля, разумеется; боязнь одним махом разрушить мое счастье плюс некое природное сдерживающее начало, боровшееся с влечением сердца.

Выписываю из этих писем то, что имеет отно-

шение к моему рассказу:

Дорогой Жером,

я в восторге от твоих писем. Как раз собралась ответить на письмо из Орвьето, а тут пришли еще сразу два – из Перуджи и Ассизи. Теперь я тоже мысленно путешествую: телом я как будто бы здесь, но на самом деле я иду рядом с тобою по белым дорогам Умбрии; чуть свет я вместе с тобой отправляюсь в путь и словно впервые любуюсь утренней зарей… Ты звал меня, поднявшись на развалины Кортоны, правда? Я слышала твой голос… Мы стояли на вершине горы, над раскинувшимся внизу Ассизи, и нам страшно хотелось пить! Зато каким блаженством был для меня стакан воды, которым нас угостил монах-францисканец! Поверь, друг мой, я точно на все смотрю твоими глазами! Мне так понравилось то, что ты написал о святом Франциске! Да, именно: мысль должна стремиться к возвышенности, а вовсе не к полному освобождению, которому неизменно сопутствует мерзостная гор-

дыня. Все порывы свои употребить не на бунт и возмущение, но на служение...

В Ниме, судя по письмам, все идет так хорошо, что, мне кажется, самому Богу угодно, чтобы я сейчас только и делала, что радовалась. Единственное, что омрачает это лето, – состояние моего несчастного отца; несмотря на все мои заботы, он по-прежнему о чем-то грустит, точнее, каждый раз возвращается к своей грусти, едва я оставляю его одного, и выводить его из этого состояния с каждым разом все труднее. Вся окружающая нас природа словно говорит с нами на языке счастья, но он уже как будто перестает понимать этот язык и даже не делает никаких усилий, чтобы расслышать его... У мисс Эшбертон все в порядке. Я читаю им обоим твои письма; одного письма хватает для разговоров дня на три, а там приходит следующее...

...Позавчера уехал Робер; остаток каникул он проведет у своего друга Р..., отец которого служит управляющим на образцовой ферме. Конечно, в той жизни, какую мы здесь ведем, для него никаких

особенных радостей нет, а потому, когда он заговорил об отъезде, я поддержала его...

...Столько еще хочется сказать тебе – говорила и говорила бы с тобой без конца! Иногда я никак не могу найти верных слов, да и мысли путаются: пишу наяву, словно во сне, и чувствую, почти до боли, лишь одно – как много, бесконечно много смогу еще отдать и получить.

Как случилось, что мы оба молчали столько долгих месяцев? Будем считать, что это была зимняя спячка. О, только бы она уже прошла навсегда, эта ужасная, страшная зима молчания! С тех пор, как ты вновь нашелся, и жизнь, и мысли, и порывы наших душ – все кажется мне прекрасным, восхитительным, неисчерпаемо богатым.

12 сентября

Получила твое письмо из Пизы. У нас здесь тоже погода стоит просто замечательная, никогда еще Нормандия не казалась мне такой прекрасной. Позавчера я прошла пешком огромное расстояние, просто так, гуляя; вернулась усталая, но

в очень приподнятом настроении, буквально опьяненная солнцем и радостью. Как хороши были мельницы в лучах палящего солнца! Мне даже не нужно было воображать себя в Италии, чтобы почувствовать прелесть всего этого.

Да, друг мой, в «многоголосии» природы для меня различим и внятен сейчас один только, как ты его называешь, призыв к радости. Я слышу его в пении каждой птицы, вдыхаю с ароматом каждого цветка и все отчетливее понимаю, что для меня единственно возможной формой молитвы может быть только поклонение: повторять вслед за святым Франциском: «Боже! Боже!» «e non altro», «и ничего больше», а сердце переполняется невыразимой любовью.

Но я не собираюсь превращаться в какую-нибудь невежествующую монашку, не бойся! В последнее время я прочла очень много, благо выпало несколько дождливый дней; я как бы перенесла это свое поклонение на книги… Закончив Мальбранша, я тут же принялась за «Письма к Кларку» Лейбница; затем, просто для

передышки, читала «Ченчи» Шелли – без особого удовольствия; прочла заодно и «Мимозу»… Наверное, ты возмутишься, но я бы отдала и всего Шелли, и всего Байрона за те четыре оды Китса, которые мы читали вместе прошлым летом; равно и всего Гюго отдам я за несколько сонетов Бодлера. Выражение «великий поэт» бессмысленно: гораздо важнее быть чистым поэтом… Спасибо тебе, о брат мой, за то, что ты позволил мне узнать, понять и полюбить все это.

…Не сокращай твоего путешествия только ради того, чтобы мы могли эти несколько дней провести вместе, не надо. Нет, серьезно: будет лучше, если мы еще какое-то время не увидимся. Поверь, даже если бы ты был рядом со мной, я не смогла бы думать о тебе больше, чем сейчас. Не хочу огорчать тебя, но именно сейчас во мне почти пропало желание встречи. Не знаю, хорошо ли это, но, честное слово, узнай я, что ты приедешь сегодня вечером… куда-нибудь убежала бы.

Ради Бога, только не требуй от меня объяснить это… чувство. Я знаю лишь од-

но: я о тебе постоянно думаю (для твоего счастья этого должно быть достаточно) и тем счастлива.

……
……..

Вскоре после получения этого письма я возвратился из Италии, был немедленно призван на военную службу и отправлен в Нанси. Там я не знал ни одной живой души, но радовался, что остался один, ибо в этой ситуации и для меня, гордого своей любовью, и для Алисы становилось еще очевиднее, что ее письма были моим единственным прибежищем, а ее образ в моей памяти — «единственной моей энтелехией», как сказал бы Ронсар.

По правде говоря, я весьма бодро переносил ту довольно суровую дисциплину, в которой нас держали. Я закалял свою стойкость и если и жаловался на что-то Алисе, то лишь на разлуку. Но даже саму длительность разлуки мы превратили в достойное испытание лучших наших качеств. «Ты же никогда не жаловался, — писала мне Алиса. — Я даже не могу вообразить такое: ты — и вдруг упал духом…» После подобных слов чего только не вынесешь!

Прошел почти целый год с нашей последней встречи. Она, похоже, и не задумывалась об этом, а как будто только начала отсчитывать дни. Однажды я упрекнул ее за это.

А разве я не была рядом с тобой в Италии? – писала она в ответ. – Неблагодарный! Да я ни на один день не покидала тебя! Пойми, что только сейчас и впредь на какое-то время я не смогу следовать за тобой: вот это – и только это – я и называю разлукой. Правда, я честно пытаюсь вообразить тебя в военной форме… Но у меня не получается. Самое большое, на что я способна, – это представить тебя вечером, в комнатке на улице Гамбетта: ты что-то пишешь или читаешь… Даже нет, на самом деле я вижу тебя только в Фонгезмаре или в Гавре – через год.

Через год! Те дни, что уже прошли, – не в счет; все мои надежды устремлены к некоему дню в будущем, и он приближается – медленно-медленно. Помнишь, у нас в глубине сада есть низкая стена, вдоль которой посажены хризантемы и по которой мы однажды рискнули прой-

ти. Вы с Жюльеттой прошли поверху, как мусульмане, прямиком направляющиеся в рай, а у меня с первых же шагов закружилась голова, и ты кричал мне снизу: «Не смотри под ноги!.. Только вперед! Иди, иди, не останавливайся! Смотри прямо перед собой!» Потом наконец – и это было лучше, чем все твои слова, – ты вспрыгнул на стену и стал ждать меня впереди. У меня сразу же прошли и дрожь, и головокружение: я смотрела только на тебя и бежала навстречу твоим раскрытым объятиям…

Что станется со мной без веры в тебя, Жером? Мне необходимо чувствовать, что ты сильный; ты моя опора. Не слабей же.

Словно бросая самим себе некий вызов и словно получая удовольствие от продления нашего ожидания, а также из боязни, что встреча может не получиться, мы условились, что несколько дней увольнения, которые мне дали перед Новым годом, я проведу в Париже, у мисс Эшбертон…

Я уже говорил: я привожу здесь далеко не все письма. Вот то, которое я получил где-то в сере-

дине февраля:

Проходя вчера по Парижской улице, испытала сильное волнение, увидев в витрине магазина М… Весьма нарочито выставленную книгу Абеля, о выходе которой ты меня предупреждал, но в чью реальность я никак не могла поверить. Не смогла удержаться, зашла, однако заглавие показалось мне настолько смешным, что я не знала, сумею ли сказать его продавцу; я уже представляла, как выйду из магазина с первой попавшейся, любой другой книжкой. К счастью, небольшая стопка «Вольностей и шалостей» уже лежала на прилавке в ожидании покупателя, так что мне не пришлось ничего говорить, я просто взяла один экземпляр, бросив на прилавок пять франков.

Я очень благодарна Абелю за то, что он не прислал мне эту свою книгу! Листая ее, я испытывала стыд, причем стыд не столько из-за книги как таковой – в ней, кстати сказать, больше глупостей, чем непристойностей, – но стыд при мысли, что ее написал Абель, Абель Вотье, твой

друг. Тщетно искала я от страницы к странице тот «большой талант», который обнаружил в ней критик из «Тан». Из разговоров в нашем маленьком гаврском обществе, где частенько вспоминают Абеля, я узнала, что книга имеет настоящий успех. Я услышала, что неизлечимое ничтожество этого ума называют здесь «легкостью» и «изяществом»; разумеется, я вела себя осторожно, и о том, что я прочла эту книгу, знаешь только ты один. Бедный пастор Вотье, который – я это видела – сначала был по-настоящему расстроен, в конце концов спросил меня, не будет ли ему уместнее всем этим гордиться; именно в этом стараются его уверить все вокруг. Вчера у тети Плантье г-жа В… вдруг возьми да и скажи ему:

«Вы, господин пастор, наверное, на седьмом небе от такого блестящего успеха вашего сына». Он даже смутился: «Боже мой, мне пока еще далеко до этого…» «А вы приближаетесь, приближаетесь», – вставила тут тетя, без всякой задней мысли, конечно, но таким ободряющим тоном, что все засмеялись, и он в том

числе.

То ли еще будет, когда поставят «Нового Абеляра», – пьесу, которую он, как мне стало известно, пишет для какого-то театра на Бульварах и о которой, по-моему, уже трубят во всех газетах!.. Бедный Абель! Неужто это и вправду тот успех, которого он желал и которым удовольствуется!

Вычитала вчера в «Вечном Утешении»: «Кто взаправду желает славы истинной и долгой, не стремится к славе преходящей; кто же ту последнюю не презирает в сердце своем, воистину показывает, что не любит он славы небесной»; прочла эти слова и подумала: спасибо, Господи, что избрал ты Жерома для славы небесной, рядом с которой все прах.

Недели, месяцы протекали в однообразных занятиях, однако я даже не торопил время, не подгонял часы, ибо жил одними лишь воспоминаниями и надеждами.

Мой дядя и Алиса собирались в июне отправиться в окрестности Нима к Жюльетте, у которой к этому сроку должен был родиться ребенок.

Встревоженные последними новостями от нее, они решили выехать несколько раньше.

Твое последнее письмо, – писала мне Алиса, – пришло в Гавр, когда мы уже уехали, а сюда его доставили только через неделю, представляешь? Я просто измучилась за эту неделю, у меня внутри все словно сжалось, окоченело, будто у меня отняли часть души. Брат мой! Только когда есть ты, я становлюсь собой и даже больше самой себя…

У Жюльетты снова все хорошо, со дня на день ожидаем родов и не особенно волнуемся. Она знает, что я тебе пишу сегодня; она уже на следующий день после нашего приезда в Эг-Вив спросила: «А как дела у Жерома?.. Он тебе по-прежнему пишет?..» Я не посмела ей соврать, и тогда она добавила: «Когда будешь ему отвечать, передай, что я… – тут она потупилась, но почти сразу же закончила, даже с легкой улыбкой, – …что я выздоровела». У меня иногда возникала догадка, что она в своих письмах, всегда таких веселых, разыгрывала передо мной

комедию счастья, причем сама уже начинала в нее верить… То, из чего она строит сегодня свое счастье, настолько отлично от прежних ее мечтаний, от всего, что, как тогда казалось, только и может сделать ее счастливой!.. Ах, до чего же это так называемое счастье тесно связано с состоянием души и как мало на самом деле значит для него все внешнее, из чего оно вроде бы и складывается! Впрочем, избавляю тебя от многих мыслей по этому поводу, которые возникли у меня во время прогулок в одиночестве по здешним «ландам» и которые более всего удивляют меня тем, что я не чувствую никакой особенной радости: ведь счастье Жюльетты должно было бы передаться и мне… почему же моим сердцем все больше овладевает непонятная меланхолия, с которой я никак не могу справиться? Сама красота здешних мест, которую я чувствую, которую я по крайней мере осознаю, лишь усугубляет эту мою необъяснимую грусть… Когда приходили твои письма из Италии, я умела видеть все твоими глазами, а сейчас мне кажется,

что я будто бы краду у тебя все, чем любуюсь здесь одна. Помню, в Фонгезмаре и Гавре я выработала в себе некую особую стойкость, специально для дождливых дней; здесь это замечательное качество совершенно не нужно, и я беспокоюсь оттого, что оно останется вообще без применения. А еще меня шокирует то, как здесь смеются: наверное, быть менее шумным, чем они, и означает для меня «грустить»... Теперь мне ясно, что ко всем моим прежним радостям неизменно примешивалась гордыня: оказавшись здесь, среди этого чуждого мне веселья, я чувствую себя так, словно меня унизили.

С тех пор как я приехала сюда, я почти ни разу не молилась: не могу избавиться от какого-то детского ощущения, что Бог тоже не на прежнем своем месте. Прощай, тороплюсь закончить; ужасно стыдно и за эти кощунственные слова, и за слабость свою, и за грусть, и за то, что сама это признаю и что пишу тебе обо всем этом в письме, которое завтра непременно порвала бы, не уйди оно с вечерней почтой...

Следующее ее письмо целиком было посвящено рождению племянницы, для которой она собиралась стать крестной матерью, а также описанию радости Жюльетты, дядюшки… И ни слова о ее собственных переживаниях.

Затем снова пошли письма из Фонгезмара, куда в июле приезжала и Жюльетта.

Сегодня утром Эдуар с Жюльеттой уехали. Особенно жалко мне было расставаться с моей маленькой крестницей: через полгода, когда я вновь увижу ее, многие ее движения, жесты будут мне совершенно незнакомы; пока же почти все они были придуманы, открыты ею на моих глазах. Как удивительно и таинственно любое развитие, становление! Только лишь по невнимательности нашей мы не изумляемся ему всякий раз. Я проводила целые часы, склонившись над колыбелькой стольких надежд. Почему же развитие останавливается так скоро и любое создание окончательно застывает, будучи еще таким далеким от Бога? Что причиной тому – эгоизм, самоуспокоенность, потеря влечения к

совершенству? О, если бы мы могли, если бы хотели стать еще ближе к Небу!.. Это было бы настоящее соревнование!

Жюльетта выглядит очень счастливой. Первое время я огорчалась, видя, что она забросила и чтение, и фортепьяно; но действительно, Эдуар Тессьер не любитель музыки, да и к книгам особого вкуса не имеет, и Жюльетта, видимо, поступает мудро, не ища радостей там, куда он не мог бы за ней последовать. Более того, она весьма интересуется занятиями мужа, и тот держит ее в курсе всех своих дел, которые, кстати, с этого года пошли в гору; он шутит, что именно женитьба помогла ему приобрести весьма обширную клиентуру в Гавре. В последний раз, когда он ездил по делам, его сопровождал Робер. Эдуар вообще очень внимателен к нему, уверяет, что понял его характер, и не теряет надежды привить ему прочный вкус к такого рода занятиям.

Отцу гораздо лучше; он даже помолодел, наблюдая счастье дочери, вновь увлекся фермой, садом, а на днях попросил меня возобновить чтение вслух, которое

мы когда-то начинали с мисс Эшбертон и которое прервалось в связи с приездом Тессьеров. Так что читаю им о путешествиях барона Хюбнера – мне и самой это интересно. Сейчас у меня появится больше времени читать и для себя, но я пока подожду твоих указаний; сегодня утром полистала одну за другой несколько книжек и поняла, что читать их у меня нет ни малейшего желания!..

С этого времени письма Алисы становились все тревожнее и настойчивее.

Боязнь тебя побеспокоить не позволяет мне сказать, как я жду тебя, – писала она ближе к концу лета. – Каждый день, который мне предстоит прожить до встречи с тобой, давит на меня тяжким грузом. Еще целых два месяца! Мне кажется, они будут тянуться дольше, чем все то время, которое уже прошло без тебя! Чем бы я ни занялась, лишь бы отвлечься от ожидания, все кажется мне до смешного временным, и в конце концов я все бросаю. Книги вдруг лишились всех достоинств, всякого очарования,

прогулки – всякой привлекательности, природа вообще – всякого значения, сад словно выцвел и растерял все свои запахи. Я завидую тяготам твоей службы, этим обязательным упражнениям, которые ты сам не выбирал и которые беспрестанно отрывают тебя от тебя самого, изматывают тебя, убыстряют бег времени и по вечерам бросают тебя, предельно уставшего, в сон. Твое описание маневров было настолько живым, что я долго не могла от него отойти: дурно спала ночами и вскакивала от звука побудки. Положительно, я слышала, как горнист играл зорю! Я так хорошо представляю теперь то состояние, похожее на легкое опьянение, о котором ты пишешь, эту утреннюю веселую бодрость, это едва заметное головокружение… До чего же прекрасным был, наверное, тот холодный, сверкающий инеем рассвет на холмах вблизи Мальзевиля!..

С недавнего времени я что-то неважно себя чувствую. Нет-нет, ничего серьезного, просто слишком сильно жду тебя, – очевидно, поэтому.

А вот еще через полтора месяца:

Это мое последнее письмо к тебе, друг мой. Пусть неизвестна еще точная дата твоего возвращения, ясно, что ее сообщат в самом скором времени, и я уже не успею ни о чем написать. Я бы очень хотела увидеться с тобой в Фонгезмаре, но погода совсем испортилась, на дворе очень холодно, и отец настаивает, что пора перебираться в город. Теперь, когда ни Жюльетта, ни Робер больше не живут с нами, мы легко могли бы поселить тебя, но все-таки лучше, если ты остановишься у тети Фелиции, которая тоже будет счастлива тебя принять.

По мере того как приближается день нашей встречи, мое ожидание становится все более мучительным и даже переходит в какую-то боязнь; твой приезд, которого я так ждала, теперь как будто внушает мне страх; изо всех сил я стараюсь о нем не думать, но едва представлю звонок в дверь, звук твоих шагов по лестнице, и сердце мое буквально замирает или начинает болеть... Самое

главное, не ожидай услышать от меня каких-то особенных слов… Я чувствую, что на этом заканчивается мое прошлое; дальше я не вижу ничего; жизнь для меня останавливается…

Четыре дня спустя, то есть за неделю до увольнения, я все же получил еще одно, очень короткое письмо:

Друг мой, я всецело поддерживаю твое решение не искать способов во что бы то ни стало продлить срок твоего пребывания в Гавре и время, отпущенное на нашу первую встречу. Разве есть у нас друг для друга какие-то слова, которых мы еще не написали? Поэтому, если тебе будет нужно уже к 28 числу вернуться в Париж, чтобы успеть записаться на лекции, не раздумывай и не жалей даже в том случае, если на нас у тебя останется два дня. Впереди у нас целая жизнь, разве не так?

VI

Наша первая встреча произошла у тетушки Плантье. Почему-то я вдруг ощутил всю тяжесть, весь груз оставшейся за плечами службы… Потом мне показалось, что она нашла меня изменившимся. Но какое значение могло иметь для наших отношений это первое обманчивое впечатление? Я со своей стороны, боясь не узнать в ней ту Алису, которую запомнил, поначалу даже едва осмеливался взглянуть на нее. Нет, все же главное, чем мы тяготились, так это навязанной нам глупейшей ролью жениха и невесты, той нарочитостью, с которой все окружающие торопились удалиться и оставить нас наедине.

— Право же, тетушка, ты нас нисколько не стесняешь, мы и не собрались секретничать, — громко сказала наконец Алиса, когда тетины попытки незаметно исчезнуть стали уж вовсе неприличными.

— Наоборот, наоборот, дети мои! Я отлично вас понимаю: после долгой разлуки молодым людям так хочется кое о чем порассказать друг дружке…

— Ну пожалуйста, тетя, нам будет крайне

неприятно, если ты уйдешь, — произнесено это было почти с раздражением, так что я едва узнал голос прежней Алисы.

— Тетя, уверяю вас, как только вы уйдете, мы станем немы как рыбы! — прибавил я со смехом, но на самом деле мне уже было не по себе от мысли, что мы можем остаться одни. И между нами троими продолжился разговор — пустой, фальшиво-оживленный, подхлестываемый натужной веселостью, за которой каждый скрывал свою растерянность. На следующий день мы должны были встретиться вновь — дядя позвал меня на обед, — так что в тот первый вечер мы расстались без сожаления, счастливые тем, что закончилась вся эта комедия.

Я пришел задолго до обеденного времени, но нашел Алису болтающей с подругой, которую у нее не достало сил выпроводить и которая сама не была настолько тактичной, чтобы вовремя уйти. Когда она оставила нас одних, я выразил притворное удивление, что Алиса не задержала ее еще и на обед. Измученные бессонной ночью, мы оба нервничали. Подошел дядя. Я нашел его сильно постаревшим, и Алиса это почувствовала. Он стал туговат на ухо, плохо слышал, что я говорю; приходилось кричать, чтобы и он по-

нял, поэтому все речи мои выглядели довольно глупо.

После обеда, как и было уговорено, тетушка Плантье усадила нас к себе в экипаж и повезла в Роше с тем расчетом, чтобы мы с Алисой, возвращаясь, прошли пешком самую приятную часть пути.

Было очень жарко для этого времени года. Участок берега, по которому мы шли, оказался совершенно открытым и ничем не примечательным; сбросившие листву деревья не давали ни малейшей тени. Подгоняемые непонятной заботой о том, как бы тетя не заждалась нас в экипаже, мы совсем некстати ускоряли шаг. Голова моя, словно обручем, сдавленная мигренью, не выдавала ни единой мысли; просто для приличия или оттого, что это хоть как-то могло заменить слова, я, продолжая идти, взял Алису за руку. От волнения, утомленности ходьбой и от тягостности молчания нам обоим кровь ударила в лицо: у меня стучало в висках, а Алиса покрылась неприятными красными пятнами. Наши сцепленные влажные руки уже доставляли нам неудобство, и очень скоро они расцепились и грустно распались.

Из-за нашей неуместной спешки мы дошли до

условленного перекрестка гораздо быстрее экипажа: тетя поехала по другой дороге, и притом еле-еле, чтобы дать нам время наговориться. Мы сели ждать на обочину; вдруг поднялся ледяной ветер, а поскольку до этого мы взмокли, он продул нас до костей; нам ничего не оставалось, как встать и пойти навстречу экипажу… Однако нас ждало нечто еще худшее — назойливые расспросы бедной тетушки, уверенной, что мы все это время не замолкали, и страстно желавшей узнать поподробнее о нашей помолвке. Алиса, которая уже едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, молчала, сославшись на страшную головную боль. До самого возвращения никто больше не проронил ни слова.

На другой день я проснулся с болью во всем теле, простуженный, словом, совершенно больной, а потому к Бюколенам собрался лишь во второй половине дня. К моему несчастью, Алиса была не одна: с ней была Мадлен Плантье, одна из внучек нашей тети Фелиции, с которой, как мне было известно, Алиса частенько любила поболтать. Сейчас она несколько дней гостила у бабушки; не успел я войти, как она бросилась мне навстречу:

— Если ты отсюда собираешься на берег, я пойду с тобой.

Я машинально согласился; так мне и не удалось застать Алису одну. Впрочем, присутствие этой милой девочки, безусловно, только помогло нам: я совершенно не чувствовал давешнего смущения, между нами троими вскоре легко возникла общая беседа, и, кстати, не такая уж пустая, как я поначалу опасался. Когда я прощался, Алиса улыбнулась мне довольно странно; мне показалось, она так и не осознала, что на следующий день я уезжаю. Но все же перспектива очень скорой встречи заметно смягчала некоторый трагизм нашего расставания.

Тем не менее после обеда, под воздействием вдруг нахлынувшего смутного беспокойства, я снова отправился в город и около часа бродил по улицам, прежде чем решился вторично зайти к Бюколенам. Принял меня дядя. Алисе нездоровилось, она уже поднялась к себе и, скорее всего, сразу же легла. Я еще очень недолго поговорил с дядей и вышел…

Как ни досадны были эти помехи и препятствия, я бы не стал все сваливать на них. Даже сойдись все на редкость удачно, мы непременно выдумали бы свое смущение и неловкость. Более же всего прочего меня огорчало то, что и Алиса почувствовала то же самое. Вот письмо, которое я

получил немедленно по возвращении в Париж:

О мой друг, какая жалкая, нелепая встреча! И не говори, пожалуйста, что виной тому другие, — ведь ты и сам в это не веришь. Я думаю, точнее, знаю наперед, что теперь всегда будет так! Поэтому давай больше не встречаться, прошу тебя!

Откуда вдруг это смущение, эта неловкость, скованность, наконец, эта немота, тогда как нам столько нужно сказать друг другу? В первый день я была даже рада этому молчанию и думала, что оно непременно будет нарушено, что ты мне скажешь какие-то необыкновенные слова — без этого ты просто не сможешь уехать.

Однако когда в таком же молчании прошла вся наша унылая прогулка в Орше, и особенно когда так обреченно расцепились, распались наши руки, мне показалось, что сейчас от горечи и муки у меня разорвется сердце. И самым горьким было даже не то, что ты отпустил мою руку, а то, что я сама почувствовала: не сделай этого ты, я первая убрала бы ее — мне уже неприятно было держать свою руку в твоей.

На другой день, то есть вчера, я места себе не находила, все утро ждала тебя. Я была в таком состоянии, что больше не могла просто сидеть

дома и пошла на мол, оставив для тебя записку, где меня искать. Довольно долго я стояла и смотрела, как бушует море, но боль от того, что тебя нет рядом, не проходила; тогда я вдруг вообразила, что ты мог остаться ждать меня в моей комнате, и я вернулась домой. Я знала, что во второй половине дня буду занята: Мадлен еще накануне предупредила меня о том, что хочет зайти, и я согласилась, поскольку рассчитывала увидеться с тобой утром. Но, возможно, лишь ее присутствию мы обязаны единственными приятными моментами этой встречи. У меня даже промелькнуло какое-то странное ощущение, что мы будем так сидеть и разговаривать еще долго-долго… И вот ты подходишь к софе, на которой мы сидим, наклоняешься ко мне, говоришь мне «прощай», а я просто не в состоянии ответить: я только тогда вдруг осознала, что ты уезжаешь, что все кончено.

Не успели вы с Мадлен уйти, как меня пронзила мысль, что это невозможно, я этого не перенесу. Ты только представь: я бросилась следом! Я хотела поговорить с тобой еще, сказать тебе наконец все то, о чем никогда не говорила, я уже бежала к дому Плантье… Но тут мне показалось, что уже слишком поздно, вся моя решимость куда-то

исчезла… В полном отчаянии я поспешила назад, чтобы написать тебе… что это мое последнее письмо… прощальное… потому что я не могла избавиться от ощущения, что вообще вся наша переписка не более чем мираж, что как ни жаль, но каждый из нас писал письма сам себе и что… ах, Жером, Жером… мы так и не стали ближе один другому.

Правда, то письмо я порвала, но сейчас я пишу его снова, и получается почти то же самое. Пойми, моя любовь нисколько не ослабла, напротив, я впервые так ясно почувствовала — хотя бы по тому волнению, смущению, которое овладело мною при твоем приближении, — как глубоко я люблю тебя. Но вместе с тем и безнадежно, ибо стоит ли скрывать от самой себя: когда ты был далеко, я любила тебя сильнее. Увы, я об этом догадывалась и раньше! Эта встреча, которой мы так ждали, прояснила все окончательно, и тебе тоже, мой друг, нужно трезво взглянуть на то, что произошло. Прощай, горячо любимый брат; да хранит и направляет тебя Господь: к Нему одному человек может приближаться, ничего не опасаясь.

И, словно сочтя боль, уже доставленную мне этим письмом, недостаточной, она на следующий

день приписала:

Прежде чем отправить это письмо, я бы все-таки хотела попросить тебя быть впредь несколько более сдержанным в том, что касается только нас двоих. Уже много раз ты больно ранил меня тем, что посвящал Абеля или Жюльетту в то, что должно было остаться между нами, и, кстати, именно это обстоятельство, задолго до того, как ты сам начал об этом догадываться, навело меня на мысль, что любовь твоя была по преимуществу головной, замечательным в своем роде самовнушением нежности и верности.

Последние строки были, несомненно, продиктованы опасением, что я покажу это письмо Абелю. Неужели же недоверие ко мне настолько обострило ее проницательность? Или она и раньше распознавала в словах моих отзвуки его дружеских советов?..

Но с некоторого времени я весьма отдалился от него! Наши дороги разошлись окончательно, и ее просьба была совершенно излишней: я и без того уже учился нести в одиночку мучительное бремя своих горестей.

Три дня кряду я страдал, сочиняя ответ; более всего я боялся каким-нибудь напыщенным рас-

суждением, слишком бурными возражениями, да и вообще любым неловким оборотом разбередить кровоточащую рану; раз двадцать начинал я письмо, в котором изливал свою любовь. Я и сейчас не могу сдержать рыданий, перечитывая этот листок бумаги, омытый слезами, — черновик того, что я в конце концов решился отправить:

Алиса! Сжалься надо мной, над нами обоими!.. Твое письмо причинило мне боль. Как бы хотел я с чистой душой улыбнуться твоим опасениям! Да, я испытывал все те чувства, о которых ты пишешь; но я боялся признаться в них самому себе, а ты сделала до жути осязаемым то, что нам лишь померещилось и что теперь сгущается между нами!

Если ты чувствуешь, что твоя любовь ко мне ослабла... Но нет, прочь от меня это жестокое предположение, которое опровергается всем твоим письмом! И чего стоят тогда твои мимолетные страхи? Алиса! Не успеваю я настроиться на спокойное рассуждение, как снова все во мне цепенеет, и я слышу лишь стоны своего сердца. Я слишком сильно люблю тебя и чем сильнее люблю, тем слабее становлюсь в красноречии. «Головная любовь»... Что тебе возразить на это? Если я люблю тебя всеми силами души своей, то

как, скажи мне, различу я, что идет от ума, а что от сердца? Коль скоро причиной твоих оскорбительных обвинений явилась наша переписка, коль скоро именно она вознесла нас на такую высоту, падение с которой в действительность едва не стало для нас смерти подобным, коль скоро отныне, собираясь писать мне, ты будешь думать, что пишешь себе самой, а также потому, что у меня уже не достанет сил вынести еще хоть одно письмо, подобное последнему, я прошу тебя: прекратим на какое-то время всякую переписку.

В остальном письмо мое, кроме возражений ее поспешным суждениям, содержало слезную мольбу довериться самим себе и свидеться еще раз. Прошлой нашей встрече не благоприятствовало все: обстановка, случайные люди, время года — вплоть до неосмотрительно-экзальтированной переписки накануне. На этот раз мы будем молчать, пока не повидаемся, а произойти это должно, по моим прикидкам, весной, в Фонгезмаре, где, как я надеялся, мне поможет все былое и где дядя с охотою позволит мне пожить на пасхальных каникулах так долго — или так недолго, — как ей самой заблагорассудится.

Решение мое было тщательно продуманным, и потому, отослав письмо, я мог с головой окунуть-

ся в работу.

Однако увидеться с Алисой мне привелось еще до конца года. За четыре дня до Рождества умерла мисс Эшбертон, чье здоровье уже несколько месяцев все ухудшалось. Со времени окончания моей военной службы мы снова жили вместе; я почти не отходил от нее и застал ее последние мгновения. От Алисы пришла открытка, из которой явствовало, что она отнеслась к принятому нами обету молчания гораздо серьезнее, чем к постигшему меня горю: дядя приехать не сможет, а она приедет, но исключительно ради того, чтобы быть на похоронах, поэтому в Париже пробудет лишь от поезда до поезда.

Кроме нас с нею, почти никого не было ни на заупокойной службе, ни на проводах; следуя за гробом, мы едва обменялись несколькими фразами, однако в церкви, когда она сидела рядом со мной, я не раз чувствовал на себе ее нежный взгляд.

— Значит, как договорились, — сказала она на прощанье, — до Пасхи ничего.

— Да, но на Пасху…

— Я буду ждать тебя.

Мы вышли из ворот кладбища. Я предложил проводить ее на вокзал, но она махнула извозчи-

ку и уехала, не сказав больше ни слова.

VII

— Алиса ждет тебя в саду, — сказал дядя, отечески обняв меня, когда, уже к концу апреля, я наконец приехал в Фонгезмар. В первое мгновение я был даже несколько уязвлен тем, что она не выбежала мне навстречу, но почти сразу же это сменилось чувством признательности ей за избавление нас обоих от необходимости заполнять первые минуты банальными приветствиями и расспросами.

Она была где-то в глубине сада. Я решил сразу пойти к той клумбе на пересечении дорожек, которую с разных сторон словно обступали, в эту пору все в цвету, сирень, рябина, ракитник; чтобы не заметить ее слишком издалека и чтобы она не видела, как я подхожу, я направился в обход, другой стороной сада, по тенистой аллее, где в гуще ветвей воздух был влажен и свеж. Я шел очень медленно; небо над головой было сродни моей радости — ясное, прозрачное, оно лучилось светом и теплом. Алиса, конечно, не ожидала, что я подойду этой аллеей, и я уже был совсем рядом, за ее спиной, а она все еще не слышала моих шагов; я остановился… Вместе со мной словно

бы остановилось и время; вот оно, то мгновение, подумал я, быть может, самое сладостное, то, что предваряет счастье и с которым само счастье не сравниться…

Мне захотелось упасть перед ней на колени, я шагнул вперед, и тут она услышала меня. Резко поднявшись и уронив прямо на землю лежавшее на коленях вышивание, она протянула ко мне руки и положила их мне на плечи. На какое-то время мы словно застыли — она, по-прежнему вытянув руки, слегка склонив набок голову, улыбаясь и молча, с нежностью глядя на меня. Она была вся в белом. Лицо казалось, как всегда, слишком серьезным, но эту улыбку на нем я помнил с детства…

— Алиса, выслушай меня, — заговорил я вдруг с жаром. — У меня есть целых двенадцать дней, но я не останусь ни на день дольше, чем тебе того захочется. Давай выберем какой-нибудь условный знак, по которому я сразу понял бы: завтра я должен уехать из Фонгезмара. И я уеду на следующий же день, без всяких упреков и жалоб. Ты согласна?

Ничего заранее не подготовив, я говорил совершенно свободно. Она немного подумала и ответила:

— Если вечером я выйду к ужину и на шее у меня не будет аметистового крестика, который так тебе нравится… ты поймешь?

— …что это будет мой последний вечер.

— И ты уедешь, — продолжала она, — без слез, без вздохов…

— …даже не прощаясь. Мы расстанемся в тот вечер, как обычно, причем настолько обыкновенно, что ты еще подумаешь: а вдруг он не понял? Но когда на другой день ты будешь меня искать, я просто исчезну.

— Я не буду искать тебя на другой день.

Она подала мне руку, я поднес ее к губам и произнес:

— Но до того рокового вечера — никаких намеков, чтобы я ни о чем не догадывался.

— А ты тогда — никаких намеков на предстоящее расставание.

Теперь необходимо было преодолеть скованность, которая могла возникнуть после столь торжественных первых минут встречи.

— Как бы мне хотелось, — снова начал я, — чтобы эти несколько дней вместе показались нам такими же, как и все прочие… То есть я хочу сказать, нам не надо воспринимать их как нечто необыкновенное. И потом… может быть, понача-

лу даже не нужно непременно заводить какой-то разговор…

Она засмеялась. Я прибавил:

— Не найдется ли, скажем, для нас обоих какого-нибудь занятия?

Нам и прежде всегда нравилось возиться в саду, а недавно к тому же старого садовника заменил новый, и сад, брошенный на два месяца, требовал серьезного ухода. Нужно было постричь розовые кусты: одним из них, уже вовсю пошедшим в рост, мешали сухие ветви; другим, вьющимся, пора было ставить новые опоры, иначе они падали; ненасытные побеги-волчки ослабляли ветки, которым предстояло цвести. Большинство этих роз было когда-то привито нашими руками, и сейчас мы узнавали своих питомцев; уход за ними поглотил нас надолго и позволил нам, особенно в первые три дня, много разговаривать, не касаясь серьезных тем, и, даже когда мы молчали, в этом не было ничего тягостного.

Так мы немного попривыкли друг к другу. На это постепенное привыкание я и рассчитывал гораздо больше, чем на любое объяснение. Само воспоминание о долгой нашей разлуке уже начало стираться, отступал понемногу и тот смутный страх, который я нередко чувствовал в ней, тот

самый душевный спазм, которого она так боялась во мне. Со времени нашего скорбного осеннего свидания Алиса даже помолодела, никогда раньше не находил я ее такой красивой. Я еще ни разу не поцеловал ее. Каждый вечер я снова и снова видел висящий у нее на груди на тонкой золотой цепочке сверкающий аметистовый крестик. От этого доверия в моем сердце возрождалась надежда, да что надежда — уверенность, причем и в душе Алисы, как мне представлялось, происходило то же самое: мог ли я сомневаться в ней, коль скоро уже не сомневался в себе? Наши беседы тоже становились все откровеннее.

— Алиса, — начал я однажды утром, когда все вокруг казалось как-то особенно восхитительным и наши сердца словно расцветали вместе с природой, — теперь, когда Жюльетта счастлива, не находишь ли ты, что и мы тоже…

Я говорил медленно, не сводя с нее глаз, но тут она вдруг так сильно побледнела, что я запнулся на полуслове.

— Мой друг! — произнесла она, не поднимая на меня глаз. — Рядом с тобой я чувствую себя настолько счастливой, что никогда не поверила бы, что такое может быть… Но знай: мы с тобой рождены не для счастья.

— Что душа человека может предпочесть счастью?

Эти слова я буквально выкрикнул.

— Святость… — шепнула она так тихо, что я скорее угадал, чем услышал ее ответ.

Счастье мое, широко расправив крылья, уносилось от меня ввысь, к небесам.

— Но и ее я смогу достичь только с тобой, — вырвалось у меня. Уткнувшись лбом в ее колени и рыдая, как дитя, но вовсе не от горя, а от любви, я все твердил: — Только с тобой! Только с тобой!

Этот день прошел, как и все предыдущие, а вечером Алиса вышла без аметистового крестика. Верный данному обещанию, я уехал, едва рассвело.

Два дня спустя я получил странное письмо с эпиграфом из Шекспира:

> *That strain again, – it had a dying fall:*
>
> *O, it came o'er my ear like the sweet south,*
>
> *That breathes upon a bank of violets,*
>
> *Stealing and giving odour. –*

Enough; no more,

'Tis not so sweet now as it was before...[2]

Да, я невольно искала тебя все утро, брат мой! Я не могла поверить, что ты уехал, сердилась на тебя за то, что ты сдержал слово, думала: это была просто игра. Я заглядывала за каждый куст, ждала, что ты вот-вот выскочишь. Но нет! Ты действительно уехал. Спасибо.

Остаток дня я провела целиком во власти некоторых мыслей, которые мне бы и хотелось изложить тебе, и какого-то непонятного, но отчетливого страха, что, если вдруг ты о них не узнаешь, у меня навсегда останется такое чувство, будто я подвела тебя, и ты с полным пра-

---

[2] Примечания: 2

И пусть, насытившись, желанье звуков
От полноты зачахнет и умрет.
Еще раз тот напев! Он словно замер!
Он обольстил мой слух, как ветер юга,
Что, вея над фиалковой грядой,
Нам в душу веет сладким ароматом.
Довольно, перестаньте! Нет, уж он
Не нежит слух, как это было прежде.

(Пер. А. Кронеберга)

вом осудишь меня...

С первых же часов твоего пребывания в Фонгезмаре я с удивлением, а затем и с беспокойством заметила, что рядом с тобой испытываю совершенно непривычное для меня состояние удовлетворенности. «Это такое чувство, – говорил ты мне, – когда не желаешь больше ничего!» Увы, именно это меня и тревожит...

Я бы очень хотела, мой друг, чтобы ты правильно меня понял, и в особенности чтобы ты не принял за некие рассудочные ухищрения (насколько нескладными они предстали бы в этом случае!) эту попытку выразить в словах самое могучее устремление моей души.

«Это не настоящее счастье, если чего-то не хватает», – сказал ты мне однажды, помнишь? И тогда я не нашлась, что ответить. Нет, Жером, нам все-таки чего-то не хватает. Жером, милый, так и должно быть. Эту сладостную удовлетворенность я не могу считать подлинной. Разве не поняли мы прошлой осенью, какие муки она таит в себе?..

Да упаси нас Господь принять такое

счастье за подлинное! Мы рождены для иного счастья...

Подобно тому как наша прежняя переписка повредила осенней нашей встрече, так и сейчас воспоминание о том, что ты еще вчера был здесь, мешает мне писать это письмо. Когда я раньше писала тебе, я испытывала восторг – куда он исчез? Тем, что мы переписывались, тем, что были вместе, мы исчерпали все самое чистое, что имелось в радости, которую могла дать нам наша любовь. И я невольно восклицаю вслед за Орсино из «Двенадцатой ночи»: «Довольно! Хватит! Здесь уж больше нет еще недавно бывшего блаженства».

Прощай же, мой друг. Hic incipit amor Dei[3]*. Узнаешь ли ты когда-нибудь, как я люблю тебя?.. Твоя до самого конца*

Алиса

Едва речь заходила о добродетели, о необходимости проявить лучшие свои качества, я был готов на все. Меня неудержимо влек к себе

---

[3] Примечания: 3

Здесь начало любви к Богу *(лат.)*.

ослепительный блеск героизма, неотделимого в моих глазах от любви. Письмо Алисы наполнило меня пьянящей отвагой. Видит Бог, на любые подвиги добродетели я был готов ради нее. Чем круче вверх уходила тропа, тем вернее она могла привести меня к Алисе. И я верил, что она не станет, не успеет стать такой узкой, чтобы мы не смогли идти по ней вдвоем! Увы, я и не подозревал, какой за всем этим крылся тонкий замысел, мне даже в голову не приходило, что она может вновь ускользнуть от меня, достигнув вершины первой.

Я написал ей длиннейшее письмо, из которого помню лишь один пассаж, но достаточно показательный:

> *Я часто думаю,* – обращался я к ней, – *что моя любовь – это то, что есть во мне самого лучшего; она служит опорой всем остальным моим достоинствам, позволяет мне подняться над самим собой, тогда как без тебя я навек застыл бы на уровне серой посредственности. Я всегда предпочту самую крутую тропу, ибо по ней меня будет вести надежда присоединиться к тебе.*

Уж и не припомню, что там было еще, но ответ я заслужил следующий:

Пойми, мой друг, святость – это не выбор, это обязанность (последнее слово было подчеркнуто трижды). Если ты тот, за кого я тебя принимала, ты тоже не сможешь уклониться от нее.

И все. Я понял, точнее, почувствовал, что переписке между нами конец и что здесь бессильны любые, самые хитроумные советы, равно как и самая терпеливая настойчивость.

И тем не менее я продолжал писать — так же длинно и нежно. После третьего моего письма пришла короткая записка:

Мой друг,

не думай, пожалуйста, что я приняла какое-то особое решение не писать тебе: просто я потеряла к этому вкус. Мне по-прежнему доставляет удовольствие читать твои письма, но я все чаще корю себя за то, что до такой степени занимаю твои мысли.

Уже не за горами лето. Давай пока прекратим переписку, а лучше приезжай во

второй половине сентября ко мне в Фонгезмар. Недели на две, согласен? Если да, то можешь не отвечать. Твое молчание будет означать для меня согласие, а потому я даже желаю, чтобы ты мне не отвечал.

Я не ответил. Было очевидно, что это молчание — лишь некое заключительное испытание, которому она меня подвергает. И когда после нескольких месяцев работы, а затем нескольких недель путешествия я вернулся в Фонгезмар, на душе у меня было легко и покойно.

Удастся ли мне, оставаясь в границах этого бесхитростного повествования, сделать более или менее понятным то, что вначале казалось мне почти необъяснимым? Впрочем, способен ли я описать что-либо другое, кроме ситуации, положившей начало тем бедам, натиску которых я уже был не в силах противостоять? Как бы ни казнил я себя сегодня за то, что не сумел различить за внешней, и притом весьма поверхностной, видимостью трепета живой тогда еще любви, все же вначале я одной лишь видимости и доверился, а именно, не узнав прежней своей подруги, принялся обвинять ее… Нет, даже тогда

я не винил вас, Алиса! Я только рыдал, в отчаянии от того, что вы так изменились. Теперь, когда силу вашей любви я оцениваю по коварству ее молчания и по ее жестокой изобретательности, должна ли будет моя любовь равнять себя по той беспощадности, с которой вы губили меня?..

Пренебрежение? Холодность? Отнюдь. Не было ничего такого, что можно преодолеть, победить, против чего можно хотя бы бороться; подчас я был просто в недоумении и задавался вопросом, уж не выдумал ли я сам свои собственные несчастья, настолько неуловимой оказывалась каждый раз их причина и настолько умело Алиса делала вид, что она совершенно ни при чем. На что же мне было сетовать? При встрече она улыбалась, как никогда раньше, выказывала небывалую для нее услужливость и предупредительность, так что после первого дня я был почти готов принять все за чистую монету… Так ли уж важно, в конце концов, что она впервые почему-то гладко зачесала и стянула сзади в пучок волосы, отчего черты ее лица приобрели какую-то несвойственную им жесткость; или что она надела платье, которое ей совсем не шло, огрубляло изящные линии ее тела, а вдобавок было сшито из на редкость невзрачной и даже неприятной на ощупь

ткани, — все это вполне поправимо, думал я по слепоте своей, и уже завтра она либо сама, либо вняв моей просьбе… Несравненно больше удручали меня эти ее старания предстать услужливой и предупредительной, чего между нами не было заведено вовсе; тогда я просто побоялся признаться себе, что за всем этим проглядывало больше следование некоему решению, нежели естественный порыв, и, едва смею вымолвить, скорее простая вежливость, чем любовь.

Выйдя вечером в гостиную, я был немало удивлен, не обнаружив на привычном месте фортепьяно, однако на вырвавшийся у меня возглас разочарования Алиса ответила самым безмятежным тоном:

— Его отдали в настройку, мой друг.

— Сколько раз я говорил тебе, дочка, — вмешался дядя, и в его голосе слышался явный укор, — оно же до сего дня тебя вполне устраивало — значит, можно было потерпеть и до отъезда Жерома, а уж потом отдавай куда угодно. Ну а сейчас что получилось: из-за твоей спешки мы лишены такого удовольствия…

— Нет, папа, — возразила она, отворачиваясь, чтобы не было заметно, как она покраснела, — уверяю тебя, в последнее время оно так расстро-

илось, что даже Жером ничего не сумел бы с ним сделать.

— Не знаю, не знаю, — не унимался дядя, — когда ты играла, оно звучало совсем неплохо.

Она постояла еще некоторое время, не поднимая лица к свету и словно сосредоточившись на том, чтобы верно снять мерку с чехла для кресла, затем поспешно вышла и возвратилась довольно не скоро, неся поднос, на котором стоял стакан с обычным вечерним дядиным отваром.

На другой день она не переменила ни прически, ни платья; устроившись рядом со своим отцом на скамейке перед домом, она снова принялась за шитье, точнее, за штопку, начатую еще накануне. Сбоку от нее стояла большая корзина, в которой горой лежали старые чулки и носки. Через несколько дней их сменили салфетки и простыни… Создавалось впечатление, что работа эта поглощала ее целиком: губы ее часами оставались поджатыми, взгляд потухшим.

— Алиса! — окликнул я ее в первый вечер, едва ли не в ужасе от того, каким неузнаваемо скучным стало ее лицо, в которое я перед тем пристально всматривался, так что она наверняка чувствовала на себе мой взгляд.

— Что? — подняла она голову.

— Ничего. Я просто хотел проверить, услышишь ты или нет. Мне показалось, что твои мысли где-то далеко-далеко от меня.

— Нет-нет, я здесь, но дело в том, что починка требует большой собранности.

— А может быть, сделаем так: ты шей, а я тебе почитаю?

— Боюсь, что я не смогу внимательно слушать.

— Зачем же ты выбрала такую работу?

— Но ведь и ее кому-то нужно делать.

— Помилуй, вокруг столько бедных женщин, для которых это могло бы стать заработком. Ведь не из экономии же ты обрекла себя на такое неблагодарное занятие!

Тут она принялась уверять меня, что именно это занятие доставляет ей больше всего удовольствия, что уже долгое время она ничем другим и не занимается, да и саму привычку к чему-то другому потеряла… Говоря все это, она не переставала улыбаться, а голос звучал так ровно и спокойно, что я был в отчаянии. «Разве я сказала что-то для меня неестественное? — было, казалось, написано на ее лице. — Почему же ты так этим огорчен?» Не находя слов, чтобы выразить поднимавшийся во мне протест, я задыхался.

На второй день она попросила меня помочь ей

отнести срезанные нами розы к ней в комнату, куда в этом году я не входил еще ни разу. Какие надежды вдруг пробудились во мне! Ведь я до сих пор в своей печали винил лишь себя самого, а потому оказалось бы достаточно одного ее слова, чтобы сердце мое воспряло.

С волнением переступал я всякий раз порог этой комнаты; непонятно каким образом все здесь словно складывалось в некую плавную мелодию, в которой я узнавал мою Алису. Мягкая голубизна занавесей на окнах и вокруг постели, матовый блеск мебели красного дерева, неизменные порядок, чистота, тишина — во всем этом слышна была ее тонкая душа, ее грациозная задумчивость.

В то утро я с удивление обнаружил, что на стене возле ее постели больше не висят две фотографии фресок Мазаччо, привезенные мною из Италии; я хотел было спросить, что с ними сталось, но тут взгляд мой перешел на стоявшую рядом этажерку, куда она обычно ставила любимые свои книги. Библиотечка эта складывалась медленно, частью из книг, которые я ей дарил, частью из тех, которые когда-либо были читаны нами вместе. Только сейчас я заметил, что ни одной из тех книг там больше не стояло, а всех из заменили де-

шевые, дурного вкуса благочестивые брошюрки, к которым она, как мне всегда представлялось, питала лишь презрение. Внезапно подняв глаза, я увидел, что Алиса смеется — да-да, смеется, глядя на меня.

— Прости меня, пожалуйста, — поспешила она извиниться. — Меня так насмешило выражение твоего лица. При виде моей библиотеки оно вытянулось прямо на глазах…

Мне в ту минуту было совершенно не до шуток.

— Постой, Алиса, неужели ты действительно все это сейчас читаешь?

— Ну да. Что же тебя так удивляет?

— Мне казалось, что, когда ум привыкает питаться чем-то существенным, подобная безвкусица способна вызвать в нем только тошноту, не более.

— Я с тобой не соглашусь, — ответила она. — Да, души этих людей просты и смиренны, беседуют они со мной без затей, как умеют, и мне приятно общаться с ними. Причем я заранее знаю, что они не поддадутся искушению говорить красиво и витиевато, а я, внимая им, не впаду слепо в восхищение чем-то нечистым.

— Так, значит, ты читаешь только это?

— В общем, да. Вот уже несколько месяцев. Впрочем, теперь у меня не слишком много времени остается на чтение. К тому же должна тебе признаться, когда я на днях решила снова взяться за одного из тех самых больших писателей, восхищаться которыми ты меня долго приучал, я ощутила себя в положении человека, о котором рассказывается в Писании: он все хотел прибавить хотя бы локоть к своему росту.

— И что же это за «большой писатель», который навязал тебе такое странное ощущение?

— Он как раз ничего мне не навязывал, оно само у меня появилось при его чтении… Это был Паскаль. Возможно, я наткнулась на какое-то не вполне удачное место…

Я даже всплеснул руками. Она говорила монотонно и очень отчетливо, словно рассказывая урок, но при этом не поднимала глаз от цветов, бесконечно что-то в них поправляя. Лишь при моем нетерпеливом жесте она на мгновение запнулась, а затем продолжала прежним тоном:

— Просто удивительно: какое красноречие, сколько усилий приложено, а результат между тем весьма скромный. По-моему, весь его пафос идет скорее от сомнения, чем от веры. Истинная вера не нуждается ни в этих потоках слез, ни в

этой дрожи в голосе.

— Но именно эта дрожь, эти слезы и составляют неповторимую красоту его голоса, — попытался я заступиться, не чувствуя, однако, особого подъема, ибо в том, что я услышал, отсутствовало все некогда самое дорогое для меня в Алисе. Тот наш разговор я восстанавливаю по памяти и не привношу в него задним числом никакой логической стройности или завершенности.

— Если бы он с самого начала не лишил обычную жизнь всякой радости, — доказывала она, — то она была бы несравненно весомей, чем…

— Чем что? — не удержался я, все больше изумляясь неслыханным ее рассуждениям.

— Чем ненадежное счастье, которое он предлагает.

— Так, значит, ты не веришь в счастье? — воскликнул я.

— Разве это настолько важно? — продолжала она. — Пусть уж оно остается неопределенным: тогда по крайней мере не возникнет подозрений, что за этим кроется какая-то сделка. Душа, возлюбившая Бога, стремится к добродетели по естественному своему благородству, а вовсе не в надежде на вознаграждение.

— Но здесь-то и появляется тот самый скеп-

тицизм, в котором ищут спасения благородные души вроде Паскаля.

— Не скептицизм, а янсенизм, — возразила она с улыбкой. — Да что мне за дело до всего этого? Вот эти убогие, — она обернулась к своим книгам, — едва ли смогли бы вразумительно ответить, кто они — янсенисты, квиетисты или еще кто-то в этом роде. Они склоняются перед Богом, как трава, которую прижимает к земле ветер, без всяких расчетов, сомнений, без заботы о том, насколько красиво это будет выглядеть. Они считают себя людьми, ничем не выдающимися, и твердо знают, что единственное их достоинство — самоуничижение перед Богом.

— Алиса! — вырвалось у меня. — Зачем же ты подрезаешь себе крылья?

Насколько ровно и естественно продолжал звучать ее голос, настолько же мне самому мой возглас показался высокопарным и смешным.

Еще раз улыбнувшись, она покачала головой.

— Единственное, что я вынесла из этой последней встречи с Паскалем…

— Что же, все-таки? — спросил я, так как она остановилась.

— …это слова Христа: «Кто хочет спасти свою жизнь, тот погубит ее». А в остальном, — доба-

вила она с еще более широкой улыбкой, глядя мне прямо в глаза, — сказать по правде, я даже не очень-то разобралась. Поживешь какое-то время с сирыми да убогими и просто поражаешься, насколько быстро потом любой из великих утомляет тебя своей возвышенностью.

Мог ли я, будучи в тот момент в полнейшем замешательстве, найти достойный ответ на все это?..

— Если бы мне пришлось сегодня читать вместе с тобой эти поучения, молитвы и прочее…

— О нет, — прервала она меня, — я бы очень страдала, если бы ты стал читать их при мне! Я искренне считаю, что ты достоин гораздо лучшего удела.

Она говорила это без малейшего усилия и как бы совершенно не подозревая, какую боль причиняла она моему сердцу этими словами, разлучавшими нас навсегда. Я был точно в бреду, хотел сказать что-то еще, зарыдать наконец — возможно, она не выдержала бы моих слез, — но, не произнеся ни звука, так и остался стоять, опершись локтями о каминную полку и обхватив ладонями лоб. Она же преспокойно продолжала поправлять свои цветы, нимало не замечая моего горя — или делая вид, что не замечает…

Тут раздался первый колокол к обеду.

— Вот опять я, как всегда, не готова, — захлопотала она. — Уходи скорее. — И, словно речь шла о какой-то игре, добавила: — Потом договорим.

Но мы так и не договорили: Алисе постоянно было некогда; не то чтобы она избегала встреч со мной, но просто всякий раз находились какие-нибудь важнейшие дела, не терпящие отлагательств. Я смирялся со всем, приходил лишь тогда, когда наступал просвет в неисчислимых домашних делах, когда заканчивались работы на гумне и не нужно было больше за ними наблюдать, когда был посещен последний фермер или последний бедняк, коим она уделяла все больше времени. А на меня этого времени не оставалось почти совсем; я только видел, что она вечно в заботах — хотя, вероятно, именно из-за этого, а также из-за того, что я решил не ходить за ней по пятам, я почти не чувствовал себя обделенным. Правда, едва между нами возникал малейший разговор, как я начинал смутно о чем-то догадываться. Когда Алиса уделяла мне несколько минут, наша беседа каждый раз выходила на редкость неуклюжей и она соглашалась на нее с таким видом, точно уступала просьбе капризного ребенка поиграть с ним. Часто она проходила ми-

мо меня с отсутствующим видом и блуждающей улыбкой, и в эти минуты она была для меня такой далекой, как если бы я ее не знал вовсе. В ее улыбке чудилось мне иногда нечто похожее на вызов или по крайней мене на легкую иронию, как будто она находила своеобразное развлечение в том, что всячески уклонялась от моих домогательств… Но тут же я приписывал все грехи себе, не имея привычки в чем-либо упрекать ее, а кроме того, уже толком и не понимая, чего я, собственно, от нее жду и в чем могу ее упрекнуть.

Так проходили дни, сулившие мне столько счастья. Точно завороженный наблюдал я за тем, как они просачиваются между пальцами, но не желал ни прибавить их, ни хотя бы попридержать, настолько каждый из этих дней делал меня несчастнее. Тем не менее за два дня до отъезда, воспользовавшись тем, что Алиса прошлась вместе со мной до той самой скамейки у брошенной мергельной разработки — стоял ясный осенний вечер, тумана не было, и в разлитой кругом голубизне очень отчетливо просматривались мельчайшие детали, и не только пейзажа, но и полузабытого прошлого, — я наконец не выдержал и излил свою печаль, разъяснив, из скорби о каком именно счастье рождалось мое нынешнее

несчастье.

— Но что я могу поделать, мой друг? — почти прервала она меня. — Ты влюбился в призрак.

— Нет, Алиса, совсем не в призрак.

— Ладно: в выдуманный образ.

— Увы, я ничего не выдумывал. Она была моей подругой, я прекрасно это помню. Алиса! Алиса! Вы когда-то были той, кого я любил. Что вы с собой сделали? Что сталось с вами?

Она промолчала, низко опустив голову и медленно обрывая лепестки у цветка, затем произнесла:

— Жером, а почему просто не признаться, что ты любишь меня уже не так сильно?

— Да потому, что это неправда! Неправда! — возмутился я. — Да я никогда не любил тебя сильнее, чем сейчас!

— Ты любишь меня… и одновременно жалеешь, что я стала не такой! — сказала она, пробуя улыбнуться и слегка пожав плечами.

— Я не могу говорить о своей любви в прошедшем времени.

Почва уходила у меня из-под ног, и я цеплялся за все…

— И все же придется ей уйти в прошлое, как и всему прочему.

— Эта любовь уйдет лишь вместе со мной.

— Она будет ослабевать постепенно. Та Алиса, которую, как тебе кажется, ты любишь, уже не более чем твое воспоминание, а настанет и такой день, когда ты вспомнишь только, что любил ее, и все.

— Ты говоришь так, словно что-то может заменить ее в моем сердце или мое сердце может вообще перестать любить. Очевидно, сама ты — коли тебе доставляет удовольствие мучить меня, — сама ты забыла, что когда-то любила меня?

Я увидел, как дрогнули ее побледневшие губы, и она прошептала едва внятно:

— Нет, нет, это в Алисе не изменилось.

— В таком случае ничего не изменилось! — воскликнул я, сжав ее руку.

Но к ней уже возвращалась прежняя уверенность:

— Почему ты боишься произнести одно-единственное слово, которое бы все объяснило?

— О чем ты?

— Я постарела.

— Даже не смей говорить об этом…

И я пустился в жаркие рассуждения о том, что стал старше настолько же, насколько и она, что разница в возрасте между нами осталась

прежней… Она же за это время оправилась совершенно; благоприятнейшая возможность была упущена; ввязавшись в спор, я утратил все свое преимущество, а с ним и всякую надежду.

Через два дня я уехал из Фонгезмара, недовольный и ею, и собой, смутно ненавидящий «добродетель» — как я все еще продолжал ее называть — и злой на беспомощное постоянство моего сердца. Употребив последние силы на поддержание непомерно высокого пламени своей любви, я не вынес из этой нашей встречи ничего, кроме чувства опустошенности; спокойные доводы Алисы, вызывавшие сначала мой бурный протест, не только продолжали жить во мне, но и торжествовали, тогда как все мои возражения давно умолкли. Пожалуй, она в самом деле была права! Я привязался всем сердцем к какому-то призраку, а той Алисы, в которую я был влюблен, которую и сейчас любил, — ее больше не было… Пожалуй, мы и вправду постарели! Эта ужасная, скучная проза, от которой цепенела моя душа, на поверку оказывалась не более чем возвратом к естественному порядку вещей; ценой многолетних усилий я возвел для нее пьедестал, сотворил из нее кумира, наделенного всеми мыслимыми достоинствами, а что в итоге? Одна усталость…

Будучи предоставлена самой себе, Алиса не замедлила возвратиться на свой шесток, на заурядный свой уровень, где обретался и я тоже, но к ней меня уже не влекло. Ах, какой же бессмысленной химерой предстала вдруг передо мной эта самая добродетель, требовавшая постоянного напряжения всех сил, без чего я не мог соединиться с нею в заоблачных высях, куда и вознесена-то она была исключительно моими стараниями! Не возгордись мы чрезмерно, и любили бы себе друг друга… А какой смысл упорствовать в беспредметной любви? Упрямство вовсе не означает верность. Да и чему верность? Собственной ошибке? Не разумнее ли было в самом деле признать, что я просто-напросто ошибся?..

Тем временем я получил рекомендацию в Институт археологии и согласился немедленно поступить туда; ничто меня там не привлекало, но я все равно был рад, замышляя свой отъезд, точно побег.

VIII

Тем не менее я все же увиделся еще раз с Алисой… Произошло это спустя три года, на исходе лета. Месяцев за десять перед тем она известила меня о смерти дяди, но письмо, довольно длинное, которое я послал ей тогда же из Палестины, где в ту пору путешествовал, осталось без ответа…

Оказавшись по каким-то делам в Гавре, я, разумеется, не мог не заехать и в Фонгезмар. Я знал наверняка, что Алиса сейчас там, однако боялся застать ее не одну. О своем приезде я ее не уведомлял, являться просто так, как бы между прочим, мне тоже не хотелось, а потому я пребывал в размышлении: все-таки зайти или уехать, так и не повидавшись с нею и даже не попытавшись ее увидеть?.. Да, несомненно, второе: я лишь пройдусь по буковой аллее, посижу на скамейке, куда она, может быть, еще приходит… И я уже искал, какой знак мне оставить после себя, чтобы по нему она догадалась о моем здесь кратком появлении. С этими мыслями я продолжал медленно идти вперед и, утвердившись окончательно в решении не видеться с нею, почувствовал, что

пронзившая было меня тоска сменяется какой-то мягкой печалью. Дойдя до буковой аллеи, я из опасения быть случайно замеченным пошел по обочине вдоль откоса, который служил границей хозяйственного двора. В одном месте откос был покруче и можно было, поднявшись на него, заглянуть через двор в сад — что я и сделал. Незнакомый мне садовник разравнивал граблями одну из дорожек; вскоре я потерял его из виду. Двор был заново огорожен. При моем приближении залаяла собака. Аллея кончилась, и я повернул направо, намереваясь, теперь уже вдоль стены сада, пройти через буковую рощицу, но тут заметил ту самую дверку, выходившую из огорода, и меня вдруг осенило, что в сад можно попасть через нее.

Она была заперта, но засов с внутренней стороны едва держался, так что, нажми я посильнее плечом… В этот момент послышались шаги; я отскочил за угол стены.

Мне не было видно, кто вышел из сада, но я знал, я чувствовал, что это была Алиса. Она сделала еще несколько шагов и еле слышно позвала:

— Жером, это ты?..

Мое сердце, которое перед тем отчаянно билось, тут вдруг замерло, а к горлу подступил ком, так

что я не мог произнести ни слова; она позвала погромче:

— Это ты, Жером?..

При звуке ее голоса меня охватило такое сильное волнение, что я рухнул на колени. Поскольку я по-прежнему ничего не отвечал, Алиса прошла еще вперед, повернула за угол и остановилась прямо передо мной — хотя я мог только слышать это, ибо лицо закрыл рукой, словно боясь внезапно увидеть ее. Она так и стояла еще некоторое время, наклонившись ко мне, а я, схватив хрупкие кисти ее рук, осыпал их поцелуями.

— Зачем ты прятался? — сказала она так просто, как будто разлука наша длилась не три года, а всего несколько дней.

— Как ты догадалась, что это я?

— Я тебя ждала.

— Ждала? — только и мог я повторить вслед за ней, настолько это поразило меня…

— Пройдемся до нашей скамейки, — предложила она, потому что я все еще не мог подняться с колен. — Да, я знала, что мне предстоит встреча с тобой. Я прихожу сюда по вечерам уже в третий раз и зову тебя, как и сегодня… Почему ты не отзывался?

— Если бы ты не застала меня сейчас, я бы так и

ушел, не увидевшись с тобой, — ответил я, начиная понемногу справляться с волнением, которое в первый момент застигло меня врасплох. — Я был проездом в Гавре, и мне подумалось, что ты, наверное, бываешь там иногда, — ну а потом…

— Взгляни, что я читаю все эти три вечера, приходя туда, — перебила она меня, протягивая пачку писем, которые я узнал: это были мои письма из Италии. Только сейчас я поднял на нее глаза. Она изменилась невероятно; сердце мое сжалось при виде ее худобы и бледности. Сильно опершись на мою руку, она прижималась ко мне, точно от страха или от холода. Она до сих пор еще носила строгий траур, поэтому черный кружевной платок у нее на голове, обрамляя ее лицо, несомненно, добавлял ему бледности. Она улыбалась, но какой-то слабой, угасающей улыбкой. Я поспешил осведомиться, одна ли она сейчас в Фонгезмаре. Нет, с нею вместе жил Робер, а на август приезжали Жюльетта и Эдуар с тремя детьми… Мы дошли до скамейки, присели, и еще какое-то время разговор вертелся вокруг обычных житейских новостей. Затем она спросила о моей работе. Я отвечал весьма неохотно: мне хотелось, чтобы она поняла, что работа меня больше не интересует. Я хотел обмануть ее ожи-

дания, как когда-то она обманула мои. Не знаю, достиг ли я своей цели; по ней, во всяком случае, ничего не было заметно. Во мне теснились одновременно и любовь, и желание отомстить, а посему я изо всех сил пытался говорить как можно более сухо, досадуя на волнение, порой заставлявшее мой голос дрожать.

Из-за небольшого облачка почти над горизонтом и прямо напротив нас снова появилось заходившее солнце, заливая трепещущим сиянием опустевшие поля и наполняя распростертую у наших ног узкую долину невесть откуда возникшим изобилием; затем все исчезло. Я сидел молча, совершенно потрясенный; я чувствовал, как всего меня обволакивает и пронизывает такое же золотое сияние восторга, отчего злопамятство мое бесследно испарялось и лишь голос любви продолжал звучать. Вдруг Алиса, до того сидевшая, положив голову мне на плечо, поспешно поднялась, достала из корсажа какой-то очень маленький предмет, завернутый в тонкую бумагу, протянула было мне, остановилась в нерешительности и произнесла, видя мое удивленное лицо:

— Жером, послушай меня. Это мой аметистовый крестик. Все эти три вечера я приношу его с

собой, потому что давно хотела отдать его тебе.

— Но зачем он мне? — не выдержал я.

— Чтобы ты хранил его в память обо мне и отдал своей дочери.

— Какой еще дочери? — вскричал я, глядя Алисе в глаза и не понимая, что все это значит.

— Пожалуйста, выслушай меня спокойно и не смотри на меня так, прошу тебя, не смотри. Мне и так очень трудно говорить, но это я должна сказать тебе обязательно. Итак, Жером, когда-нибудь ты женишься, ведь так?.. Нет, не отвечай мне и не перебивай, умоляю. Просто я хотела бы, чтобы ты помнил, что я очень любила тебя и… уже давно… три года назад… решила, что этот крестик, который тебе всегда нравился, может однажды надеть твоя дочь, в память обо мне… нет, пусть даже не знает о ком… и, может быть, даже случится так, что ты назовешь ее… моим именем…

У нее словно перехватило горло, и она замолчала; громко, почти со злостью я спросил:

— А почему тебе самой ее так не назвать?

Она попыталась еще что-то сказать. Губы ее задрожали, как у ребенка, который вот-вот расплачется, но она не заплакала; необыкновенный блеск ее глаз преобразил ее лицо — оно сияло какой-то сверхчеловеческой, ангельской красотой.

— Алиса! На ком еще я смогу жениться? Ты же знаешь, что лишь тебя я люблю!.. — В безумном порыве я крепко, до боли, сжал ее в объятиях и впился губами в ее губы. Голова ее запрокинулась, она ничуть не противилась мне; я увидел только, как вдруг потускнел ее взгляд, затем веки ее совсем сомкнулись, и я услышал ее голос — ни с чем не мог бы я сравнить его по чистоте и плавности:

— Сжалься над нами, мой друг! Не губи нашу любовь.

Возможно, она добавила еще: «Не поддавайся своей слабости!» — а может быть, я сказал это сам себе — не помню, но я бросился перед ней на колени, страстно обхватив ее руками.

— Если ты так любишь меня, почему же ты всегда меня отталкивала? Вспомни: сначала я ждал до свадьбы Жюльетты; я понимал, что ты хотела для нее счастья; и вот она счастлива, ты сама мне это говорила. Долгое время я думал, что ты не хочешь бросать отца, но сейчас мы оба остались одни.

— О, не будем жалеть о том, что ушло, — прошептала она. — Я уже перевернула страницу.

— Но еще не поздно, Алиса!

— Нет, мой друг, уже поздно. Поздно стало в

тот самый день, когда благодаря любви мы на мгновение почувствовали, что каждому из нас суждено нечто большее, чем любовь. Благодаря тебе, мой друг, я в мечтах своих поднялась так высоко, что все, чем обычно довольствуются люди, означало бы для меня падение. Я часто думала над тем, какой могла бы быть наша жизнь друг с другом, и поняла, что, как только из нее исчезло бы совершенство, я не вынесла бы дольше… нашу любовь.

— А не думала ли ты над тем, какой будет наша жизнь друг без друга?

— Нет, никогда!

— Так вот, посмотри! Уже три года я блуждаю по свету в тоске, потому что со мной нет тебя…

Стемнело.

— Мне холодно, — сказала она, поднимаясь и так плотно закутываясь в шаль, что я даже не смог снова взять ее за руку. — Помнишь тот стих из Писания, который когда-то так встревожил нас? Мы еще испугались, верно ли мы поняли его смысл. «Они не добились того, что было им обещано, ибо нечто лучшее уготовил нам Господь…»

— И ты по-прежнему веришь в эти слова?

— Иначе нельзя.

Какое-то время мы шли рядом и молчали. По-

том она снова сказала:

— Ты только представь себе, Жером: лучшее! — И тут на глаза у нее навернулись слезы, а она все повторяла: — Лучшее!

Мы снова стояли у той маленькой двери, из которой она вышла незадолго до того. Повернувшись ко мне, она сказала:

— Прощай! Нет, не провожай меня дальше. Прощай, любимый мой. Сейчас и должно начаться… это лучшее.

Она еще постояла так, положив вытянутые руки мне на плечи, в одно и то же время словно удерживая и отталкивая меня, и взгляд ее был полон какой-то невыразимой любви…

Едва дверь закрылась, едва я услышал, как повернулся с той стороны засов, я припал к этой двери в таком безысходном отчаянии, что слезы брызнули у меня из глаз, и я еще долго рыдал в кромешной тьме.

Но удержать ее, но выбить эту дверь, каким угодно способом проникнуть в дом, который к тому же никто от меня и не запирал, — нет, еще и сегодня, когда я возвращаюсь памятью к прошлому и переживаю его вновь и вновь… нет, для меня это было невозможно, и кто не понимает этого, тот, значит, не понимал меня и раньше.

Через несколько дней, мучимый неослабевавшим беспокойством, я написал Жюльетте. Я рассказал о том, что был в Фонгезмаре, что меня необычайно встревожила худоба и бледность Алисы, умолял ее что-нибудь предпринять и известить меня, потому что от самой Алисы ждать вестей мне уже не приходилось.

Не прошло и месяца, как я получил следующее письмо:

Дорогой Жером,

должна сообщить тебе печальное известие: нет больше с нами бедной Алисы… Увы, слишком обоснованными оказались опасения, которыми ты поделился со мной. Не страдая от какой-либо определенной болезни, вот уже несколько месяцев она угасала, и, только вняв моим мольбам, она согласилась пойти на прием к доктору А… из Гавра, который отписал мне, что не нашел у нее ничего серьезного. Через три дня после вашей встречи она внезапно уехала из Фонгезмара. Об ее отъезде я узнала из письма Робера: сама она пишет мне так редко, что без него я ничего и не знала бы об ее

исчезновении, потому что прошло бы еще много времени, прежде чем меня встревожило ее молчание. Робера я отчитала – за то, что он отпустил ее просто так и не проводил в Париж, – но, поверишь ли, мы не имели никакого представления о том, где она могла остановиться. Представь себе мое состояние: невозможно не только увидеться с ней, но даже написать! Спустя несколько дней Робер все же съездил в Париж, но обнаружить ничего не сумел. Зная, как небрежно может он отнестись к любому делу, мы засомневались в его рвении и на этот раз. Нужно было уже обращаться в полицию – не могли же мы оставаться в такой жуткой неизвестности. Эдуар поехал и так энергично взялся за дело, что разыскал-таки небольшую частную лечебницу, где нашла себе приют Алиса. Увы, было уже слишком поздно. Я получила одновременно извещение о ее смерти от директора лечебницы и телеграмму от Эдуара, который не успел застать ее в живых. Она оставила два конверта: один с нашим адресом, чтобы нас изве-

стили, а другой вложила копию письма нашему гаврскому нотариусу, где сообщала о своих последних распоряжениях. По-моему, там есть что-то, касающееся и тебя; обязательно дам тебе знать в ближайшем письме. Похороны состоялись позавчера; были Эдуар и Робер, но не только – пришли и несколько больных из той лечебницы; они и в церкви были, и провожали гроб до кладбища. Сама я сейчас со дня на день жду пятого ребенка и, к сожалению, никуда отправиться не могу.

Дорогой мой Жером, я знаю, как глубоко опечалит тебя это скорбное известие, и очень за тебя переживаю, пока пишу. Вот уже два дня, как я не встаю с постели, и пишу с трудом, но все же мне не хотелось никого, даже Эдуара или Робера, просить написать тебе о той, которую не знал по-настоящему ни один человек, кроме нас с тобой. Теперь, когда я уже почти превратилась в престарелую мать семейства, а от костра всего былого осталась одна зола, я могу позволить себе позвать тебя к нам. Если однажды, по делам или просто так, окажешься в Ниме, заезжай

в Эг-Вив. Эдуар будет очень рад с тобой познакомиться, а мы вдвоем сможем поговорить об Алисе. Прощай, дорогой мой Жером. Целую тебя и искренне грущу.

Еще несколько дней спустя я узнал, что Алиса оставила Фонгезмар брату, но просила все, что было в ее комнате, и еще кое-какую мебель отправить Жюльетте. Вскоре я должен был получить какие-то бумаги, которые она положила на мое имя в запечатанном конверте. Узнал я и то, что она распорядилась похоронить ее с аметистовым крестиком на шее — тем самым, что я отказался взять в мой последний приезд, — и Эдуар сообщил мне, что это было исполнено.

В запечатанном конверте, который переслал мне нотариус, оказался дневник Алисы. Я привожу здесь очень многие страницы из него. Привожу без всяких комментариев: вы и без того достаточно хорошо представите себе и размышления, которые вызвало во мне его чтение, и переживания, о которых я так или иначе мог бы дать здесь лишь самое поверхностное представление.

ДНЕВНИК АЛИСЫ

Эг-Вив

Позавчера выехали из Гавра, вчера — уже в Ниме; первое мое путешествие! В отсутствие всяких хлопот по хозяйству или по кухне, а значит, в некотором смысле, от нечего делать, сегодня, 23 мая 188.. года, в день моего двадцатипятилетия начинаю вести дневник — не то чтобы мне очень этого хотелось, но надо же делиться хоть с кем-то; по-моему, со мной такое впервые в жизни — чувствую себя одинокой, на какой-то другой, почти чужой земле, с которой пока еще не познакомилась, как следует. То, что она хочет сказать мне, вероятно, не очень отличного от того, что говорила мне Нормандия, которую я без устали слушала в Фонгезмаре, — Господь един повсюду, — но она, южная эта земля, говорит на языке, для меня пока незнакомом и к которому я с удивлением прислушиваюсь.

24 мая

Жюльетта дремлет в шезлонге возле меня, на открытой галерее, придающей подлинное очарование этому дому в итальянском стиле и сделанной в уровень с песчаным двором, за которым начинается сад… Из своего шезлонга

Жюльетта может видеть вытянутую зеленую лужайку, а за ней пруд, в котором плещется стайка пестрых уток и с достоинством плавает пара лебедей. Пруд питает ручеек, не пересыхающий, как говорят, даже в самое жаркое лето; дальше он течет через сад, постепенно переходящий в густые заросли, зажатый с двух сторон между виноградником и выжженной солнце пустошью, а потому довольно скоро обрывающийся.

…Вчера Эдуар Тессьер показывал отцу сад, ферму, винные погреба, виноградники, а я целый день провела рядом с Жюльеттой, поэтому в первый раз погулять по парку, познакомиться с ним я смогла только сегодня утром, рано-рано. Здесь много совершенно неизвестных мне растений и деревьев, названия которых я все-таки хотела бы выяснить. От каждого я оторвала по маленькой веточке, чтобы за завтраком мне сказали, как они называются. В некоторых из них я признала те самые каменные дубы, которые так восхитили Жерома на вилле Боргезе или Дориа-Памфили, — очень дальнюю родню наших северных дубов и совершенно другие по виду; в дальнем конце парка они укрывают крохотную таинственную полянку и нависают над шелковистой травой, словно приглашая нимф водить хороводы. Я

изумлена, почти испугана тем, как мое чувство природы, такое глубоко христианское в Фонгезмаре, здесь, помимо моей воли, приобретает мифологический оттенок. Хотя тот гнетущий страх, который овладел мною, был еще вполне религиозным. Я все шептала: hic nemus[4]. Воздух был кристально-прозрачен, и стояла какая-то странная тишина. Мне уже начали грезиться то Орфей, то Армида, как вдруг совсем рядом со мной раздалось пение птицы — совершенно непередаваемое, и было в нем столько восторга, столько чистоты, что у меня возникло ощущение, будто вся природа ждала этой песни. С сильно бьющимся сердцем я стояла еще некоторое время, прислонившись к дереву, а затем поспешила вернуться, пока никто еще не встал.

26 мая

По-прежнему никаких вестей от Жерома. Если бы он написал мне в Гавр, его письмо непременно уже переслали бы сюда… Только этому дневнику могу доверить я свою тревогу, от которой вот уже целых три дня ничто не может меня отвлечь — ни вчерашняя экскурсия в Бо, ни даже молитва. Сегодня я просто не в состоянии

---

[4] Примечания: 4
Тот самый лес *(лат.)*.

писать ни о чем другом, но, вероятно, никаких других причин и нет у той странной меланхолии, которая овладела мной с самого приезда в Эг-Вив; хотя я чувствую ее настолько глубоко внутри, что мне теперь кажется, будто она укоренилась там уже давно и что радость, которой я так гордилась, была всего лишь тонким налетом на ней.

27 мая

К чему лгать самой себе? Не сердцем, а умом радуюсь я счастью Жюльетты. Я так желала его, что ради него пожертвовала своим собственным счастьем, и вот теперь страдаю, видя, как легко оно ей досталось и сколь отлично оно от того, каким мы с ней представляли его себе. До чего же все это сложно! Если только… Вполне отчетливо слышу я в себе обиженный голос вновь вернувшегося отвратительного эгоизма: она, дескать, обрела счастье помимо моей жертвы, ей вовсе и не нужна была моя жертва, чтобы стать счастливой.

И я задаюсь вопросом — это к тому, в каком тревожном состоянии я нахожусь из-за молчания Жерома: принесла ли я в самом деле эту жертву в сердце своем? Я чувствую точно какое-то унижение оттого, что Господь больше не требует ее от меня. Неужели я оказалась неспособной на жертву?

28 мая

Как, оказывается, опасно заниматься анализом причин своей грусти! Я уже привыкаю к этому дневнику. То самое кокетство, которое, как мне казалось, я уже давно в себе победила, — неужели оно возобладает здесь? Нет, пусть не будет этот дневник льстивым зеркалом, перед которым моя душа начнет прихорашиваться! Я пишу вовсе не от нечего делать, как думала сначала, а от того, что мне грустно. Грусть же есть состояние греховное, от которого я уже избавилась, которое я ненавижу, от которого хочу разусложнить свою душу. Этот дневник призван помочь мне вновь достичь счастья в себе самой.

Грусть есть усложнение. Не пыталась же я никогда анализировать свое счастье.

В Фонгезмаре я тоже была одинока, еще больше, чем здесь… Почему же я этого не чувствовала? И когда от Жерома приходили письма из Италии, я соглашалась с тем, что он живет без меня, как жил без меня и раньше, я просто мысленно сопровождала его, так что его радости становились одновременно и моими. А сейчас, сама того не желая, я постоянно зову его; без него вся эта новизна вокруг только докучает мне…

10 июня

Надолго прервала дневник, едва успев начать; родилась малютка Лиза; многие часы провожу у постели Жюльетты; нет никакого желания описывать здесь то, о чем я и так пишу Жерому. Я хотела бы избежать этого несносного порока, который свойствен стольким женщинам: писать слишком много. Считать дневник инструментом самоусовершенствования.

Следует порядочно страниц, заполненных выписками из книг, заметками по ходу чтения и т. п. Затем идет запись, помеченная уже Фонгезмаром:

16 июля

Жюльетта счастлива; она сама это говорит, да и всем видом своим показывает; у меня нет ни права, ни оснований сомневаться в этом… Откуда же возникает у меня, когда я с нею рядом, довольно тягостное ощущение неудовлетворенности? вероятно, я воспринимаю это ее блаженство как чересчур обыденное, слишком легко доставшееся, слишком уж точно «по мерке» — так, словно душе в нем тесно и она задыхается…

И я задаюсь вопросом: счастья ли желаю я в самом деле или скорее вечного приближения к счастью? Господи! Убереги меня от такого счастья, которое я смогла бы достичь слишком

быстро! Научи меня, как отсрочить, сделать ближе к Тебе мое счастье.

Дальше немало страниц выдрано — очевидно, с описанием нашего мучительного свидания в Гавре. Дневник возобновляется лишь со следующего года; даты не указаны, но нет сомнений, что писалось это все во время моего пребывания в Фонгезмаре.

Иногда, слушая его, я ловлю себя на том, что начинаю видеть, как во мне самой рождаются мысли. Он объясняет, открывает меня самой себе. Что была бы я без него? Я существую только вместе с ним…

Иногда я просто не знаю, можно ли назвать любовью то, что я испытываю к нему, настолько обычные описания любви отличаются от того, которое могла бы сделать я. Мне бы хотелось не говорить об этом вообще и любить его, словно бы и не зная, что я его люблю. А больше всего мне бы хотелось, чтобы он не догадывался о моей любви.

Из всего того, что предстоит мне прожить без него, я ни в чем больше не вижу радости. Все мои добродетели и достоинства существуют лишь затем, чтобы нравиться ему, но едва я оказываюсь

с ним рядом, как они тускнеют и меркнут.

Игра на фортепьяно нравилась мне тем, что давала ощущение пусть небольшого, но каждодневного продвижения вперед. Видимо, с этим же связано и особое удовольствие, которое я испытываю при чтении книги на иностранном языке: не то чтобы я предпочитала какой-либо другой язык своему родному, или те из наших писателей, которыми я восхищаюсь, уступали бы в чем-либо иностранным авторам — но легкое затруднение в проникновении в смысл и в следовании чувству, неосознанная гордость от того, что справляешься с этим все лучше и лучше, добавляет к удовольствию, получаемому умом, некое труднопередаваемое душевное удовлетворение, обойтись без которого мне, пожалуй, было бы нелегко.

Я никогда не соглашусь на то, чтобы застыть в каком угодно, пусть даже самом блаженном, состоянии. Радость небесную я представляю себе не как растворение в Боге, а как вечное, не имеющее конца приближение… И если бы не боязнь игры слов, я бы сказала, что заранее отказываюсь от любой радости, за исключением прогрессивной.

Сегодня утром мы сидели вдвоем на скамейке у буковой аллеи, не говоря ни слова и не испыты-

вая потребности в словах… Внезапно он спросил меня, верю ли я в будущую жизнь.

— Но Жером! — воскликнула я непроизвольно. — Во мне это даже сильнее, чем надежда, — это твердая уверенность…

И мне вдруг показалось, будто вся моя вера излилась в этом возгласе.

— Я просто хотел знать… — Он на мгновение запнулся, но затем продолжил: — Ты вела бы себя по-другому, не будь в тебе этой веры?

— Как я могу знать? — ответила я и добавила: — Ты и сам, как бы того ни хотел, не сумел бы поступить иначе, чем вел себя в том случае, когда тобой руководила самая искренняя вера. А ко всему прочему я не полюбила бы тебя другого.

Нет, Жером, нет, добродетель наша стремится не к вознаграждению в будущем, и вообще наша любовь отнюдь не вознаграждения взыскует. Сама мысль о какой бы то ни было награде за труды и муки оскорбительна для благородной души. Да и добродетель для нее вовсе не украшение, нет, — это форма, в которой является ее красота.

Папе снова стало похуже; надеюсь, ничего страшного, но вот уже три дня, как ему пришлось возобновить молочную диету.

Вчера вечером Жером поднялся к нему в ком-

нату; папа в это время был еще у меня и вышел к нему ненадолго. Я сидела на софе, точнее, уже не знаю почему, полулежала — чего со мной почти никогда не бывает. Свет из-под абажура падал только на нижнюю часть моего тела, и я машинально взглянула на свои ноги, не до конца прикрытые платьем и особенно ярко освещенные лампой. Когда папа вернулся, он еще некоторое время постоял в дверях, глядя на меня как-то странно, с грустной улыбкой. Я почему-то смутилась и встала; тогда он подозвал меня и сказал:

— Посиди рядом со мной. — И хотя было уже поздно, он принялся рассказывать мне о моей матери, чего с ним не случалось с тех самых пор, как они развелись. Он рассказал мне, как женился на ней, как сильно любил ее и чем она поначалу была для него.

— Папа, — прервала я его наконец, — умоляю, скажи мне, почему ты рассказываешь мне это сегодня вечером, что побудило тебя именно сегодня вечером все это мне рассказать…

— Потому что, когда я только что вернулся в гостиную и увидел, как ты лежишь на софе, мне вдруг показалось, что я снова вижу твою мать.

Я так настаивала, потому что в тот же самый

вечер… Жером стоял у меня за спиной и читал, глядя мне через плечо, опершись о спинку кресла и наклонившись надо мной. Я не могла его видеть, но чувствовала на себе его дыхание, тепло и легкую дрожь его тела. Я делала вид, что продолжаю читать, но уже ничего не понимала, не различала даже строчек; мною овладело такое странное и сильное волнение, что я поспешила подняться с кресла, пока еще была в состоянии это сделать. Я даже ненадолго вышла из комнаты, и он, к счастью, ничего особенного не заметил… Но когда, очень вскоре, я прилегла на софу в гостиной и папа нашел, что я была похожа на мать, я ведь именно о ней в этот момент и думала.

Этой ночью я очень плохо спала, меня мучило какое-то беспокойство, чувство подавленности, отверженности, я была целиком во власти одного воспоминания, которое словно грызло меня изнутри. Господи, внуши мне отвращение ко всему, на чем лежит печать зла!

Бедный Жером! Если бы он только знал, что порой ему достаточно сделать всего одно движение, и что порой этого движения я как раз и жду…

Еще когда я была совсем ребенком, я хотела быть красивой только ради него. Мне даже кажется сейчас, что само «стремление к совершенству»

возникло во мне только благодаря ему. Но то, что достичь этого совершенства возможно лишь без него, — эта твоя заповедь, Господи, более всего смущает душу мою.

Как же счастлива должна быть душа, для которой добродетель неотличима от любви! Иногда я бываю почти уверена, что не существует иной добродетели, кроме любви — любить изо всех сил и еще, еще сильнее… Но, увы, добродетель видится мне только как сопротивление любви. Да и разве осмелюсь я принять за добродетель самое естественное устремление моего сердца! О привлекательный софизм, манящий обман, коварный мираж счастья!

Вычитала сегодня утром у Лабрюйера:

«В жизни встречаются запретные удовольствия и утехи, которые однако нам столь любезны и сладостны, что желание сделать их позволительными по меньшей мере естественно: сильнее этих чар может оказаться лишь соблазн развить в себе умение отвергать их из одной только добродетели».

Зачем же мне искать для себя какую-то особую защиту? Разве то, что влечет меня к себе исподволь, не таит в себе чары еще более могущественные, более сладостные, чем у самой любви?

О как, использую силу любви, увлечь наши души еще выше, за ее пределы?..

Увы, сейчас я понимаю уже слишком отчетливо: между Богом и им нет других препятствий, кроме меня. Вполне вероятно, что сначала — как он мне сам говорит — любовь ко мне направила его к Богу, однако сейчас любовь мешает ему; он цепляется за меня, предпочитает меня всему прочему, и я становлюсь тем кумиром, который не дает ему идти все дальше вперед по пути добродетели. А хотя бы один из нас двоих должен дойти обязательно; поэтому, отчаявшись переборотъ в моем недостойном сердце любовь, прошу тебя, Господи, придай мне силы сделать так, чтобы он перестал любить меня и чтобы я смогла ценой своих ничтожных заслуг принести вам несравненно более предпочтительные… Сегодня душа моя рыдает, теряя его, но когда-нибудь мы непременно обретем друг друга в Тебе…

Ответь, Господи, какая другая душа более достойна Тебя? Разве не для лучшего он рожден, чем только для любви ко мне? И разве смогла бы я ответить ему равной любовью, если бы он остановился на мне? Как же мельчает в обыкновенном счастье то, что достойно героического удела!..

Воскресенье

«Ибо нечто лучшее уготовил нам Господь».

Понедельник, 3 мая

До чего же близко, совсем рядом может оказаться счастье, если задаться только этой целью… Протяни руку и бери…

Разговор с ним сегодня утром — вот принесенная мною жертва.

Понедельник, вечер

Завтра он уезжает…

Дорогой Жером, мой навсегда-бесконечно-нежно-любимый… Никогда больше я не смогу сказать тебе этих слов. Мне так трудно принуждать мои глаза, губы, сердце, что расставание с тобой несет мне избавление от мук и горькое удовлетворение.

Я стараюсь действовать разумно, но в самый момент совершения поступка все разумные доводы, которые побуждали меня к действию, вдруг исчезают или кажутся мне безумными — я им больше не верю…

Что за доводы заставляют меня избегать его? Я им больше не верю… И однако же продолжаю избегать его — с печалью в душе и не в силах понять, почему так поступаю.

Господи! А если Жерому и мне идти к Тебе вместе, помогая друг другу? Идти по жизни, как двое

паломников, и один бы иногда говорил другому: «Обопрись на меня, брат, если ты устал»; а другой отвечал бы: «Мне достаточно того, что ты идешь рядом…» Но нет! Дорога, которую ты, Господи, завещал нам, узка — так узка, что двоим не пройти по ней бок о бок.

4 июля

Не открывала дневник больше полутора месяцев. Как-то, недели две назад, перечтя несколько страниц, обнаружила в том, что написано, бессмысленную, даже преступную заботу о хорошем слоге… которой я обязана ему…

Как будто я использовала этот дневник, который я и начала единственно с целью помочь самой себе обходиться без него, для того, чтобы продолжать ему писать.

Выдрала те страницы, которые показались мне хорошо написанными. (Я знаю, что имею в виду.) Нужно было бы выдрать все, где речь идет о нем. Нужно было вообще все порвать… Не смогла.

И вот, выдрав те несколько страниц, я ощутила некоторую гордость… Гордость, над которой посмеялась бы, если бы так не болело сердце.

Было и вправду такое чувство, будто я как-то отличилась и будто уничтоженное мною действительно имело какое-то значение!

6 июля

Пришлось изгнать с книжной полки тоже…

Бегу от него из одной книги в другую и везде встречаюсь с ним. Даже с тех страниц, которые я открываю впервые, мне слышится его голос, и он читает мне их. Меня влечет лишь к тому, что интересует его, и моя мысль принимает форму его мысли, причем до такой степени, что я не в состоянии различить, где чья, — как и в те времена, когда я могла находить удовольствие в таком их слиянии.

Порой я нарочно пытаюсь писать плохо, чтобы перестать следовать ритму его фраз; но разве бороться против него не значит продолжать заниматься им? Принимаю решение временно не читать ничего, кроме Библии (возможно, еще Подражания), а в дневник заносить каждый день по одному особенно запомнившемуся мне стиху.

Далее следует этот своего рода «хлеб насущный»: начиная с первого июля под датой записан только стих, и все. Я привожу те из них, за которыми следует хоть какой-то комментарий.

20 июля

«Продай все, что имеешь, и раздай бедным». Как я понимаю, бедным нужно отдать мое сердце, которое у меня остается для Жерома. Не подам ли

я ему таким образом пример?.. Господи, пошли мне смелости.

24 июля

Закончила читать *«Internelle Consolacion»*[5]. Этот старинный язык весьма позабавил меня и развлек, но та почти языческая радость, которую я там почерпнула, не имеет ничего общего со способами укрепления души, которые я очень рассчитывала обнаружить.

Снова взялась за Подражание; конечно, не за латинский текст, который мне не стоит и пытаться понять. Мне нравится, что перевод, в котором я его читаю, даже не подписан; хотя перевод и протестантский, но, как гласит подзаголовок, «приспособленный к любому христианскому вероисповеданию».

«О, если бы знать тебе, какой мир обретешь ты и какую подаришь другим радость, усердствуя в добродетели, я уверен, что старания твои только умножились бы от этого».

10 августа

Даже если бы вознесся к Тебе, Господи, мой зов и слышались бы в нем по-детски пылкая вера и ангельски неземной голос…

---

[5] Примечания: 5

«Вечное Утешение» *(старофранц.)*.

Все это, знаю, приходит ко мне не от Жерома — от Тебя.

Почему же между мной и Тобой ставишь Ты его образ?

14 августа

Больше двух месяцев понадобилось на эту книгу. Помоги мне, о Господи!

20 августа

Чувствую, по грусти своей чувствую, что сердце мое еще не принесло себя в жертву. Господи, сделай так, чтобы Тебе одному была я обязана той радостью, которую прежде приносил мне только он.

28 августа

Как жалка и ущербна та добродетель, на которую я пока способна! Не переоценила ли я свои возможности?.. Хватит страдать.

До чего же нужно быть немощным, чтобы постоянно вымаливать сил у Бога! Сейчас каждая моя молитва — жалоба.

29 августа

«Посмотрите на полевые лилии...»

От этих удивительно простых слов сегодня утром мною вдруг завладела такая грусть, что не отпускала целый день. Я бродила по полям, и эти слова, которые я непроизвольно повторяла про

себя, наполняли слезами мои глаза и сердце. Долго смотрела на широкую опустевшую равнину, по которой брел, склонясь над плугом, пахарь… «Полевые лилии…» Где они, Господи?..

16 сентября, 10 часов вечера

Снова встреча с ним. Он здесь, в нашем доме. Я вижу на газоне прямоугольник света из его окна. Когда я пишу эти строки, он еще не спит и, наверное, думает обо мне. Он не изменился; он сам это говорит, и я тоже это чувствую.

Сумею ли я быть с ним такой, какой я решила казаться, чтобы он, повинуясь своей же любви, отрекся от меня?..

24 сентября

О, каким же тяжким был этот разговор, где мне удалось сыграть холодность и равнодушие, хотя сердце мое едва не остановилось… Раньше все, на что я была способна, это избегать его. Но сегодня утром мне показалось, что Господь даст мне силы победить и что с моей стороны было бы трусостью постоянно уклоняться от борьбы. Одержала ли я победу? Любит ли теперь меня Жером хоть немного меньше?.. Боже, я одновременно надеюсь на это и боюсь этого… Никогда прежде я не любила его сильнее, чем сейчас.

Но если Тебе, Господи, чтобы избавить его от

меня, потребуется моя погибель, да будет воля Твоя!..

«Войдите в сердце Мое и в душу Мою и несите туда страдания и претерпите во Мне то, что осталось вам терпеть от Страстей ваших».

Зашел разговор о Паскале… Что я такое наговорила! Какой стыд, какая бессмыслица! Я мучилась уже, когда произносила те слова, а вечером и вовсе раскаиваюсь, как будто совершила кощунство. Снова взяла тяжелый том «Мыслей», который сразу открылся на фразе из письма к м-ль де Роаннэ:

«Когда мы следуем за кем-то, кто идет впереди, мы не чувствуем, сколь прочна наша связь с ним; но едва мы начинаем сопротивляться или пробовать пойти в другую сторону, как нам становится по-настоящему трудно».

Эти слова так непосредственно затронули меня, что я просто не смогла читать дальше, однако, открыв книгу в другом месте, я напала на незнакомые мне и совершенно замечательные строки, которые решила переписать.

На этом заканчивается первая тетрадь дневника. Следующая тетрадь, по всей вероятности, была уничтожена, поскольку в оставленных Алисой бумагах дневник возобновляется лишь

три года спустя, по-прежнему в Фонгезмаре, в сентябре, то есть незадолго до последней нашей встречи.

Вот первые его страницы:

17 сентября

Господи, ты же знаешь, что с ним сильнее моя любовь к Тебе.

20 сентября

Господи, пошли мне его, чтобы я отдала Тебе мое сердце.

Господи, сделай так, чтобы мне хоть раз еще увидеть его.

Господи, обещаю, что отдам Тебе мое сердце, только пошли мне то, что просит у Тебя любовь моя. Лишь Тебе одному отдам я остаток жизни моей…

Прости мне, Господи, это достойную презрения молитву, но не могу я изгнать его имя с губ моих и не могу забыть муку сердца моего.

Взываю к Тебе, Господи, не покинь меня в тоске моей.

12 сентября

«Все, чего не попросите вы у Отца Моего именем Моим…»

Господи Иисусе! Нет, Твоим именем не смею…

Но разве оттого, что я не произношу своей мо-

литвы, от Тебя укроется самое страстное желание моего сердца?

27 сентября

Начиная с сегодняшнего утра — полное успокоение. Почти всю ночь провела в благоговении и молитве. Вдруг мне показалось, что меня обволакивает, нисходит на меня некое покойное сияние — почти таким мне в детстве виделся Святой Дух. Я немедленно легла, боясь, что этот мой восторг вызван просто нервным переутомлением; заснула быстро, все в том же состоянии блаженства. Оно и сегодня утром никуда не исчезло. Теперь я твердо уверена, что он придет.

30 сентября

Жером, друг мой! Ты, кого я по-прежнему еще называю братом, но кого люблю бесконечно сильнее брата… Сколько раз выкрикивала я твое имя в буковой роще!.. Каждый вечер, ближе к закату, я спускаюсь через огород к той дверке и выхожу через нее на темную уже аллею… Вот-вот ты отзовешься, появишься оттуда, из-за каменистого откоса, по которому я слишком быстро скользнула взглядом, или я еще издалека увижу, как ты сидишь на скамейке, ждешь меня — у меня даже сердце не замрет… Наоборот, я удивлена, что не встретила тебя.

1 октября

По-прежнему ничего. Солнце зашло при удивительно чистом и ясном небе. Я еще жду. Знаю, что очень скоро, на этой же скамейке, буду сидеть рядом с ним… Я уже слышу его голос. Мне так нравится, как он произносит мое имя… Он будет здесь! Я положу свою ладонь на его ладонь, уткнусь лбом в его плечо, мы будем слышать дыхание друг друга. Уже вчера я брала с собой некоторые его письма, чтобы перечесть их, но так на них и не взглянула, слишком погруженная в мысли о нем. Взяла я и аметистовый крестик, который он очень любил и который, в одно из прошлых лет, я надевала каждый вечер все то время, пока не хотела, чтобы он уезжал.

Мне бы хотелось возвратить ему этот крестик. Когда-то давно я видела сон, будто он женился, а я стала крестной матерью его первой дочери и подарила ей это украшение… Почему у меня никогда не хватало смелости рассказать ему об этом?

2 октября

Легко и радостно сегодня моей душе — словно она птица, которая свила гнездо на небесах. Сегодня он обязательно придет, я это чувствую, я это знаю, я хочу всем об этом кричать, я не могу

удержаться, чтобы не написать об этом здесь. Я больше не хочу прятать свою радость. Ее заметил даже Робер, обычно такой невнимательный и безразличный ко мне. Его расспросы повергли меня в замешательство, я не знала, что и ответить. Как мне дождаться вечера?..

Повсюду я вижу перед собой его лицо, как-то странно увеличенное и словно отделенное от меня почти прозрачным занавесом, от которого отражаются лучи любви и, собираясь в пучок, направляются в одну сверкающую точку — мое сердце.

О, как томит меня это ожидание!..

Господи, приоткрой передо мной хоть на мгновение широкие врата счастья!

3 октября

Все погасло. Увы, он ускользнул из моих объятий, как бесплотная тень. Он был здесь! Он был здесь! Я еще чувствую его тепло, я зову его. Мои руки, губы тщетно ищут его в ночной тьме…

Не могу ни молиться, ни уснуть. Снова вышла в темный сад. Мне было страшно в моей комнате, во всем доме. В тоске я бросилась к той двери, за которой оставила его, распахнула эту дверь в отчаянной надежде — а вдруг он вернулся! Я звала, шла на ощупь в темноте. Возвратилась,

чтобы написать ему. Не могу смириться с тем, что потеряла его навсегда.

Что же произошло? Что я сказала ему? Что сделала? И зачем я вновь и вновь преувеличиваю перед ним свою добродетель? Да велика ли цена добродетели, которую изо всех сил отвергает мое сердце? Я тайно переврала те слова, которые сам Господь вкладывал в мои уста… Ни звука не вырвалось из моего переполненного сердца. Жером, Жером, друг мой, боль моя! Ты, рядом с кем разрывается мое сердце и вдалеке от кого я умираю, из всего, что я тебе наговорила, не слушай ничего, кроме того, что сказала тебе моя любовь.

Порвала письмо; написала новое… Вот и рассвет — серый, омытый слезами, тоскливый, как мои мысли… Доносятся первые звуки с фермы; все уснувшее возвращается к жизни… «Вставайте же. Час пришел…»

Я не отправлю свое письмо.

5 октября

Боже завидущий, лишивший меня всего, забирай же мое сердце. Ничто больше не теплится в нем и ничто его больше не увлечет. Помоги мне только справиться с жалкими останками меня самой. Этот дом, этот сад придают моей любви новых сил, что недопустимо. Я хочу бежать в

такое место, где буду видеть лишь Тебя.

Ты поможешь мне распорядиться в пользу твоих бедных тем имуществом, которым я владела; позволь только оставить Роберу Фонгезмар — я просто не смогу быстро продать его. Завещание я написала, но не уверена, что по форме; более или менее подробной беседы с нотариусом вчера не получилось, потому что я боялась, как бы он не заподозрил чего-нибудь неладного в моем решении и не дал знать Жюльетте или Роберу… Докончу все эти дела в Париже.

10 октября

Приехала сюда такой усталой, что два первых дня не вставала с постели. Врач, которого прислали помимо моей воли, долго говорил о том, что необходима какая-то операция. К чему было возражать? Все-таки мне не составило труда убедить его, что эта операция меня очень пугает и что я предпочла бы подождать, чтобы «немного прийти в себя».

И имя, и адрес мне удалось скрыть. При поступлении в эту лечебницу я внесла достаточную сумму, чтобы меня без особых трудностей приняли и держали здесь столько, сколько Господь сочтет еще необходимым.

Комната мне понравилась. Все очень скромно,

но зато чистота безукоризненная. Я была немало удивлена, ощутив даже нечто вроде радости. Это значит, что от жизни я более не жду ничего. Отныне один Бог будет довлеть мне, а любовь Его ни с чем не сравнима лишь тогда, когда заполняет нас целиком, без остатка.

Я не взяла с собой никаких книг, кроме Библии, но сегодня, громче даже, чем все, что я в ней читаю, эхом отзываются во мне исступленные рыдания Паскаля:

«Ничто, кроме Бога, не способно наполнить собой пустоту моего ожидания».

Слишком человеческой радости возжелало мое неосторожное сердце… Неужели, Господи, Ты лишил меня всякой надежды затем только, чтобы добиться от меня этого признания?

12 октября

Да приидет царствие Твое! Да снизойдет оно на меня; чтобы Ты один царствовал надо мной, целиком и безраздельно. Я больше не хочу выторговывать у Тебя свое сердце.

Сама устала, словно глубокая старуха, а душа продолжает почему-то сохранять детские привычки. Я все та же маленькая девочка, какой была очень давно, — та, что не могла лечь спать,

пока в комнате все не будет на своем месте, а на спинке кровати не будет висеть аккуратно сложенное платье…

Точно так же я хотела бы приготовиться к смерти.

13 октября

Прежде, чем сжечь дневник, перечитала его. «Великим сердцам не пристало делать свои треволнения достоянием других». Кажется, эти прекрасные слова принадлежат Клотильде де Во.

Уже собиралась бросить дневник в огонь, но что-то удержало мою руку в последний момент. Мне вдруг подумалось, что этот дневник больше мне не принадлежит; что я не вправе отбирать его у Жерома; что я и вела-то его только для него. Все мои сомнения и тревоги кажутся мне сегодня просто смехотворными; я не придаю им значения и не думаю, чтобы они всерьез смутили Жерома. Господи, позволь мне донести до него неумелую исповедь сердца, забывшего обо всем на свете, кроме желания подтолкнуть его к вершине добродетели, коей сама я отчаялась достичь.

«Господи, помоги мне взойти на этот высокий утес, куда мне одному не подняться».

15 октября

«Радость, радость, радость, слезы радости…»

Выше любой человеческой радости, по ту сторону любых страданий — да, я предчувствую светлую эту радость. Тот утес, на который мне не подняться, я точно знаю теперь, что имя ему — счастье. Я поняла: напрасна вся моя жизнь, если в конце ее нет счастья… Но ведь ты обещал его, Господи, обещал душе самоотверженной и чистой. «Счастливы отныне, — сказано в святых наставлениях твоих, — счастливы отныне те, кто умирают в Господе». Значит, и мне нужно ждать смерти? Здесь-то и может пошатнуться моя вера. Господи! Взываю к Тебе изо всех моих сил. Я во тьме ночи, я жду зарю. Взываю к Тебе из последних сил. Приди и утоли жажду моего сердца. Жажду немедленного счастья… Или я сама должна убедить себя в том, что уже достигла его? И словно нетерпеливая птица, подающая голос задолго до зари, не столько возвещая, сколько призывая наступление дня, должна ли я тоже, не дожидаясь, пока побледнеет ночная тьма, начать свою песнь?

16 октября

Жером, мне бы хотелось научить тебя высшей радости.

Сегодня утром — жесточайший приступ рво-

ты. Сразу же после него почувствовала такую слабость, что мелькнула надежда сейчас же и умереть. Но нет; сначала я всем существом своим ощутила какое-то великое спокойствие; затем и плоть, и душа точно затрепетали в невыразимой тоске, и вдруг вспышка — беспощадное прояснение всей моей жизни. Я как будто впервые увидела нестерпимо-голые стены моей комнаты. Мне стало страшно. Я и сейчас еще пишу только для того, чтобы прийти в себя, успокоиться. О Господи! Только бы мне дойти до конца, избежав богохульства.

Все-таки смогла подняться. Встала на колени, как в детстве…

Я бы хотела умереть сейчас, как можно быстрее, чтобы не успеть вновь понять, как я одинока.

В прошлом году я виделся с Жюльеттой. Больше десяти лет прошло со времени ее последнего письма, в котором она сообщала мне о смерти Алисы. Поездка в Прованс предоставила мне удобный случай остановиться ненадолго в Ниме. Дом, в котором живут Тессьеры, довольно приятный на вид, находится в шумном центре города, на улице Фешер. Хотя я и предупредил в письме о том, что заеду, все же, переступая порог, я изрядно волновался.

Няня проводила меня в гостиную, куда очень вскоре поднялась и Жюльетта. Передо мной точно вновь возникла тетушка Плантье: та же походка, то же сложение, то же запыхавшееся радушие. Она тут же засыпала меня вопросами, не ожидая ответов: о моей карьере, о том, как я устроился в Париже, чем я занимаюсь, с кем поддерживаю отношения, что привело меня на Юг, почему я не собираюсь заехать в Эг-Вив, где меня так счастлив будет видеть Эдуар… Потом она сама рассказала мне обо всех: о своем муже, о детях, о своем брате, о последнем урожае, об ожидающихся убытках… Я узнал, что Робер продал Фонгезмар и переехал насовсем в Эг-Вив; он стал теперь компаньоном Эдуара, что позволяет тому больше ездить и заниматься главным образом коммерческой стороной дела, тогда как Робер остается при землях, улучшая и расширяя плантации.

Слушая ее, я с беспокойством искал глазами то, что могло напомнить мне о былом. Сразу узнал я среди новой обстановки гостиной несколько вещей из Фонгезмара, однако то самое прошлое, что будило во мне трепет, похоже, нимало не заботило Жюльетту — или она нарочно старалась о нем не заговаривать.

На лестнице играли двое мальчиков, двенадцати и тринадцати лет; она подозвала их, чтобы мне представить. Лиза, самая старшая среди детей, поехала вместе с отцом в Эг-Вив. Еще один мальчик, десяти лет, должен был вот-вот вернуться с прогулки; это о его скором рождении сообщала мне Жюльетта вместе с той скорбной для нас вестью. Для Жюльетты та беременность оказалась весьма тяжелой, и она еще очень долго оправлялась после нее, пока в прошлом году, словно спохватившись, не произвела на свет еще одну малышку, которой, судя по тому, как она о ней рассказывала, она отдавала предпочтение перед остальными детьми.

— Она сейчас спит в моей комнате, это рядом. Хочешь посмотреть? — И добавила, когда я пошел за ней: — Жером, я как-то не осмелилась написать тебе об этом… Ты бы не согласился стать для маленькой крестным отцом?

— Да, разумеется, я согласен, если тебе это доставит удовольствие, — ответил я, слегка удивленный, склоняясь над колыбелью. — А как назвали мою крестницу?

— Алиса… — сказала Жюльетта очень тихо. — Она чем-то похожа на нее, тебе не кажется?

Ничего не ответив, я только сжал ее руку.

Маленькая Алиса, которую мать уже подняла, открыла глазки; я взял ее на руки.

— Каким бы ты был любящим отцом! — попыталась пошутить Жюльетта. — Почему ты не женишься, чего ждешь?

— Пока забудутся многие вещи, — ответил я и увидел, что она покраснела.

— Которые ты собираешься забыть уже вскоре?

— Которые я вообще не собираюсь забывать.

— Пойдем со мной, — вдруг сказала она, входя первой в небольшую комнатку, одна дверь которой выходила в ее спальню, а другая в гостиную. Там было уже довольно темно. — Вот где я скрываюсь, когда выпадает свободная минутка. Это самая тихая комната во всем доме. Придешь сюда — и как будто спрячешься от жизни.

Окна этой крошечной гостиной выходили не на шумную улицу, как у других комнат, а на укрытый за деревьями зеленый лужок.

— Посидим немножко, — сказала она, почти рухнув в кресло. — Если я тебя правильно поняла, ты хочешь хранить верность памяти Алисы.

Я ответил не сразу.

— Скорее, видимо, тому представлению, которое у нее было обо мне… Нет-нет, не ставь мне это

в заслугу. Думаю, я все равно не мог бы поступить иначе. Если бы я женился на какой-то другой женщине, я бы только делал вид, что люблю ее.

— А… — протянула она, как бы безразлично, потом почему-то отвернулась и опустила лицо вниз, словно что-то обронила. — Значит, ты полагаешь, что возможно так долго носить в своем сердце безнадежную любовь?

— Да, Жюльетта.

— И что жизнь, даже если будет дуть на нее каждый день, не сможет ее погасить?..

Серым приливом набухал вечер, захватывая и поглощая предметы, которые, едва погрузившись в тень, точно оживали и принимались вполголоса рассказывать о своем прошлом. Я вновь попал в комнату Алисы — Жюльетта воссоздала до мелочей всю обстановку. Она вновь повернула ко мне свое лицо, черт которого я уже не мог различить и даже не мог бы сказать, открыты ли ее глаза. Я лишь видел, что она очень красива. Там мы и сидели молча.

— Ну-с, — произнесла она наконец, — пора просыпаться…

Я увидел, как она встала, сделала шаг и вновь опустилась без сил на стоявший рядом стул, закрыв лицо ладонями; мне показалось, что она

плачет…

Вошла служанка, держа в руках лампу.

Изабель

Посвящается Андре Рюитеру

Жерар Лаказ, у которого мы с Франсисом Жаммом гостили в августе 189… года, решил показать нам замок в Картфурше (от него вскоре останутся одни развалины) и заброшенный парк, где вовсю бушевало лето. Вход в него к тому времени уже ничто не преграждало: ров был наполовину засыпан, ограда обветшала, а полуразвалившаяся решетка поддалась при первом же напоре плечом. Аллеи как не бывало; на заросших газонах мирно паслись коровы, поедая обильную, буйно разросшуюся траву или ища прохладу в глубине поредевшей чащи; в диких зарослях с трудом можно было различить цветок или необычное растение — многострадальные остатки культурных насаждений, почти совсем заглушенных сорняками. Мы молча шли за Жераром, потрясенные красотой представившейся нам в это время года и в этот час дня картины, одновременно ощущая, сколько запустения и скорби может таить в себе непомерная роскошь. Мы подошли к замку — нижние ступени крыльца утопали в траве,

верхние потрескались; застекленные двери, ведущие в переднюю, были накрепко заколочены. Мы проникли в дом через подвальный проем; по лестнице поднялись в кухню; все двери в доме были открыты… Мы проходили из комнаты в комнату, осторожно ступая, — поскольку пол местами прогибался и, казалось, вот-вот провалится, — приглушая шаги не из боязни, что кто-то услышит, а потому, что в мертвой тишине пустого дома звуки нашего присутствия раздавались вызывающе, едва не наводя страх на нас самих. В окнах первого этажа было выбито несколько стекол; между створками ставен в сумраке столовой пробивались длинные, бесцветные и немощные ростки бегнонии.

Жерар оставил нас одних, предпочитая, как нам показалось, в одиночестве вновь увидеть места, с владельцами которых он был некогда знаком, и мы продолжали осмотр замка без него. Он опередил нас на втором этаже с его унылыми голыми комнатами: об этом свидетельствовала висящая на стене на крючке самшитовая ветка, перевязанная выцветшей шелковой ленточкой; мне показалось, что она еще слабо покачивается, и я вообразил, что Жерар, пройдя мимо, отломил от нее сучок.

Мы нашли его на третьем этаже, в коридоре около окна с выбитыми стеклами, через которое снаружи была протянута веревка от колокола; я хотел потянуть за нее, как вдруг Жерар схватил меня за руку; вместо того чтобы помешать мне, он только подтолкнул меня — раздался хриплый звон, так близко и так неожиданно, что мы вздрогнули от испуга; и потом, когда уже, казалось, вновь воцарилась тишина, прозвучали еще два отчетливых, разделенных промежутком и уже далеких удара. Я повернулся к Жерару, у него дрожали губы.

— Уйдем отсюда, — сказал он. — Мне нечем дышать.

Как только мы вышли наружу, он извинился, что не может нас сопровождать, под тем предлогом, что должен повидать одного своего знакомого, жившего поблизости. По тому, как он говорил, мы поняли, что было бы бестактно следовать за ним, и вернулись в Р., куда вечером пришел и Жерар.

— Дорогой друг, — сказал ему некоторое время спустя Жамм, — знайте, я твердо решил не рассказывать больше ни одной истории, пока вы не выложите свою, которая не дает вам покоя.

А надо сказать, что рассказы Жамма составляли

усладу наших ночных бдений.

— Я охотно поделился бы с вами тем романом, что имел место в доме, который вы видели, — начал Жерар, — но из-за того, что сам я смог раскрыть или восстановить его только частично, боюсь, что внесу в свой рассказ хоть какой-то порядок лишь ценой той загадочной привлекательности, в которую мое любопытство некогда облекало каждое событие…

— Вносите в рассказ какой угодно беспорядок, — отвечал Жамм.

— Зачем стараться восстанавливать события в хронологическом порядке? — сказал я. — Не лучше ли повествовать о них в том порядке, в котором они происходили?

— Тогда не взыщите, если я буду много говорить о себе, — сказал Жерар.

— Все мы только этим и заняты! — воскликнул Жамм.

Вот о чем поведал нам Жерар.

I

Сегодня мне трудно понять то нетерпение, с которым я стремился жить. В двадцать пять лет я мало что знал о жизни, и то из книг, и, конечно, поэтому считал себя писателем: ведь я и понятия не имел, с какой дьявольской хитростью события скрывают от нашего взора сторону, заинтересовавшую бы нас более всего, и как мало они поддаются тем, кто не умеет взять их силой.

Я работал тогда над диссертацией на степень доктора на тему хронологии проповедей Боссюэ[6]; не то чтобы меня как-то особенно привлекало церковное красноречие, я выбрал эту тему из уважения к моему старому учителю Альберу Десносу, труд которого «Жизнь Боссюэ» как раз выходил в свет. Как только Деснос узнал о моих намерениях, он предложил мне помочь. Один из его старых друзей, Бенжамен Флош, член-корреспондент Академии надписей и словесности, обладал источниками, которые, несомненно,

[6] Примечания: 6

Боссюэ, Жак Бенинь (1627–1704) — французский писатель, епископ, отстаивал идею божественного происхождения абсолютной власти монарха.

могли мне пригодиться, и в частности Библией с пометками самого Боссюэ. Лет пятнадцать назад г-н Флош уединился в Картфурше, фамильном владении недалеко от Пон-л'Евека, который окрестили Перекрестком, где он оставался безвыездно и где был готов принять меня, предоставив в мое распоряжение рукописи, библиотеку и свою неисчерпаемую, по словам Десноса, эрудицию.

Они обменялись письмами. Книг и рукописей оказалось больше, чем предполагал мой учитель, и речь шла уже не просто о моем визите, а о длительном пребывании в Картфурше, которое по рекомендации Десноса г-н Флош мне любезно предложил. Не имея своих детей, г-н и г-жа Флош жили тем не менее не одни: несколько неосторожных слов Десноса завладели моим воображением и вселили надежду, что я найду там приятное общество, мысли о котором тотчас увлекли меня больше, чем пыльные бумаги Великого века[7], моя диссертация была уже не более чем предлог, я мысленно входил во дворец не как простой школяр, а как Нежданов или Вальмон и предвкушал приключения. Картфурш! Картфурш! — повторял я это таинственное название;

[7] Примечания: 7
Век Людовика XIV.

это здесь, думал я, Геракл оказался на перепутье… Я знаю, конечно, что ждет его на пути добродетели, но куда ведет другая дорога?.. другая…

К середине сентября, отобрав лучшее из своего скромного гардероба и с обновленным набором галстуков, я отправился в путь.

До станции Брей-Бланжи, расположенной между Пон-л'Евеком и Лизьё, я добрался почти ночью. С поезда сошел я один. Встречал меня человек в ливрее, крестьянин по виду, он взял мой чемодан и повел меня к коляске, стоявшей по другую сторону вокзала. При виде лошади и коляски воодушевление мое поубавилось: более жалкое зрелище трудно было вообразить. Крестьянин (он же кучер) сходил за моим дорожным сундуком, который я сдал в багаж; под его тяжестью рессоры повозки осели. Внутри ее стоял удушливый запах курятника… Я хотел опустить стекло дверцы, но кожаная ручка осталась у меня в руке. Днем шел дождь, и дорогу развезло, на первом же подъеме что-то случилось со сбруей. Кучер вытащил из-под сиденья кусок веревки и начал чинить постромки. Я слез с повозки и предложил посветить ему, при свете фонаря я разглядел, что ливрея бедняги, как и конская сбруя, была штопана-перештопана.

— Кожа несколько поистерлась, — начал было я.

Он взглянул на меня так, будто я его обругал, и произнес чуть ли не грубо:

— Скажите спасибо, что вас вообще смогли встретить.

— Замок далеко отсюда? — спросил я как можно мягче.

Он ответил уклончиво:

— Ездим сюда не каждый день. — Потом, помолчав, добавил: — Коляска-то вот уже месяцев шесть как не выезжала…

— А… ваши хозяева часто выезжают на прогулку? — снова начал я, отчаянно стараясь завязать беседу.

— Вы что ж, думаете, им делать больше нечего!

Неполадки были устранены, он жестом пригласил меня садиться, и мы тронулись.

Лошадь еле плелась на подъемах, на спусках, спотыкалась, ноги ее заплетались на ровном месте; иногда совсем неожиданно она останавливалась. «Так, как мы едем, — подумал я, — мы доберемся до Перекрестка, когда хозяева уже давным-давно встанут из-за стола, а может быть (опять остановка), когда уже лягут спать». Я очень

проголодался, хорошего моего настроения как не бывало. Я попытался разглядеть окрестности: оказывается, я и не заметил, как мы свернули с большой дороги на проселочную, гораздо менее ухоженную, фонари высвечивали тянувшуюся по обе стороны от нее плотную и высокую живую изгородь — казалось, она окружает нас, преграждая путь, и расступается только в тот момент, когда мы ее проезжаем, чтобы затем снова сомкнуться.

У подножия подъема покруче коляска снова остановилась. Кучер соскочил с козел, открыл дверцу и бесцеремонно предложил:

— Если бы господин соблаговолил сойти. Подъем трудноват для лошади. — И, взяв клячу под уздцы, повел ее в гору. На середине склона он обернулся ко мне:

— Скоро доберемся, — сказал он, смягчившись. — Да вот и парк.

Перед нами выросла темная масса деревьев, заслонявшая небо. Это была аллея высоких кедров; мы вошли в нее, и она вывела нас к той дороге, с которой мы съехали. Кучер пригласил меня снова занять место в коляске, которая вскоре доставила нас к ограде; мы въехали в парк.

Было слишком темно, дом был едва различим; коляска доставила меня к крыльцу; несколько

ослепленный светильником, который держала в руке малопривлекательная, плотная и плохо одетая женщина неопределенного возраста, я поднялся по трем ступенькам. Женщина несколько сухо поприветствовала меня. Я поклонился ей в ответ, сомневаясь, правильно ли поступаю.

— Вы, видимо… мадам Флош?

— Я просто мадемуазель Вердюр. Господин и госпожа Флош легли спать. Они просят извинить, что не встречают вас, ведь ужинают и ложатся спать у нас рано.

— А вам, мадемуазель, пришлось бодрствовать.

— Что ж, я привыкла, — ответила она, не оборачиваясь, и, проводив меня в прихожую, предложила: — Вы, должно быть, не прочь перекусить что-нибудь?

— Пожалуй, должен вам признаться: я сегодня не ужинал.

Она провела меня в просторную столовую, где была приготовлена вполне приличная ночная трапеза.

— Сейчас печь уже остыла; в деревне приходится довольствоваться тем, что найдется.

— Но мне это кажется превосходным, — произнес я, усаживаясь перед блюдом холодного мяса.

Она бочком устроилась на стуле возле двери и все время, пока я ел, сидела, опустив глаза и сложив на коленях руки, с подчеркнутой покорностью. Беседа наша шла на убыль, и я несколько раз пытался извиниться, что задерживаю ее, но она дала понять, что дождется, пока я закончу, чтобы убрать со стола:

— А как вы один найдете свою спальню?..

Я заторопился и начал есть быстрее, когда дверь из прихожей отворилась: вошел седовласый священник с суровым, но приятным лицом.

Он подошел ко мне, протянул для пожатия руку:

— Не хотелось откладывать на завтра удовольствие поприветствовать нашего гостя. Я не спустился раньше потому, что знал, что вы беседуете с мадемуазель Олимпией Вердюр, — сказал он, обернувшись к ней с улыбкой, которая могла означать лукавство, но та, поджав губы, сидела с каменным лицом.

— Поскольку вы закончили ужинать, — продолжал он, пока я поднимался из-за стола, — мы оставим мадемуазель Олимпию, чтобы она могла навести здесь порядок; я полагаю, она сочтет более уместным, чтобы мужчина проводил господина Лаказа в его спальню, и уступит в этом

свои обязанности мне.

Он церемонно поклонился мадемуазель Вердюр, которая ответила ему более коротким, чем следовало, реверансом.

— О! Я уступаю, уступаю… Господин аббат, вам, вы знаете, я всегда уступаю… — Потом вдруг добавила, обернувшись ко мне: — Из-за вас я чуть было не забыла спросить господина Лаказа, что ему приготовить на завтрак.

— Да что хотите, мадемуазель… А что здесь обычно подают?

— Все. Дамам подают чай, господину Флошу — кофе, господину аббату — суп-пюре, а господину Казимиру — ракау[8].

— А вам, мадемуазель, вам ничего?

— Я? Я пью просто кофе с молоком.

— Если позволите, я, как и вы, буду пить кофе с молоком.

— Так-так, мадемуазель Вердюр, — беря меня за руку, сказал священник, — сдается мне, что господин Лаказ за вами ухаживает!

Она пожала плечами, кивнула мне, и аббат увел меня.

Отведенная мне спальня находилась на втором

---

[8] Примечания: 8

Арабское блюдо из какао, муки, крахмала и сахара.

этаже, почти в конце коридора.

— Это здесь, — сказал аббат, отворив дверь просторной комнаты, освещенной пламенем большого очага: — Боже правый! Для вас и огонь зажгли!.. Вы, может быть, и без него обошлись бы… Правда, здешние ночи очень сырые, а лето в этом году необычайно дождливое…

Он подошел к огню, протянул к нему широкие ладони и откинул голову назад, как благочестивый от искушения. Казалось, он был расположен скорее беседовать со мной, чем дать мне поспать.

— Да, — начал он, заметив мой сундук и саквояж, — Грасьен принес ваш багаж.

— Грасьен — это кучер, который меня привез? — поинтересовался я.

— Он же садовник, ибо обязанности кучера не отнимают у него много времени.

— И впрямь, он говорил мне, что коляску используют нечасто.

— Всякий раз, когда ею пользуются, — это историческое событие. Кстати, господин Сент-Ореоль уже давно не содержит конюшни, а в особых случаях, как сегодня, лошадь берут у фермера.

— Господин Сент-Ореоль? — с удивлением переспросил я.

— Да. Я знаю, что вы приехали к господину Флошу, но Картфурш принадлежит его шурину. Завтра вы будете иметь честь быть представленным господину и госпоже Сент-Ореоль.

— А кто такой господин Казимир, о котором я знаю только то, что на завтрак ему подают шоколадное желе?

— Их внук и мой ученик. Вот уже три года, как я, слава тебе, Господи, учу его, — он произнес эти слова, закрыв глаза и с таким смеренным видом, словно речь шла о принце крови.

— Его родители живут не здесь? — спросил я.

— В отъезде. — Он плотно сжал губы, но тут же заговорил снова: — Я знаю, господин Лаказ, какие благородные и святые цели привели вас сюда…

— Не преувеличивайте их святость, — смеясь, тотчас прервал я его, — мои исследования занимают меня только как историка.

— Тем не менее, — произнес он, как бы отстраняя жестом руки сколько-нибудь неподобающую мысль, — история имеет свои права. Вы найдете в лице господина Флоша самого любезного и надежного из наставников.

— То же самое утверждал и мой учитель, господин Деснос.

— Как! Вы ученик Альбера Десноса? — Он снова

сжал губы.

Я имел неосторожность спросить:

— А что, вы слушали курс его лекций?

— Нет! — жестко ответил он. — То, что я о нем знал, меня от этого предостерегло… Это — авантюрист мысли. В вашем возрасте легко увлекаются тем, что выходит за рамки обыденного… — Я ничего не отвечал, и он продолжал: — Его теории сначала имели некоторое воздействие на молодежь, но сейчас, как мне говорили, это уже проходит.

Мне гораздо меньше хотелось дискутировать, чем спать.

— Господин Флош будет вам в этом более спокойным собеседником, — снова начал он, чувствуя, что не получит от меня ответа, и, увидев, как откровенно я зеваю, добавил:

— Уже поздно; завтра, если позволите, мы сможем продолжить беседу. После такого путешествия вы, должно быть, устали.

— Признаться, господин аббат, я просто изнемогаю от желания спать.

Как только он вышел, я помешал поленья в камине и настежь распахнул окно, отворив деревянные ставни. Промозглый поток воздуха поколебал пламя свечи; я загасил ее, чтобы по-

любоваться ночью. Окно моей спальни выходило в парк, но не со стороны фасада дома, как комнаты длинного коридора, из которых, очевидно, открывался более обширный вид; мой взгляд сразу остановился на деревьях; над ними едва оставался кусочек чистого неба, где появившийся было лунный серп почти тотчас скрылся за облаками. Снова был дождь, ветви еще слезились его влагой…

«Да, не очень-то праздничный вид», — подумал я, закрывая окно и ставни. Эта минута созерцания привела в оцепенение мое тело и еще больше душу; поворошив поленья, я оживил огонь и был рад обнаружить в постели грелку, положенную туда, конечно же, предупредительной м-ль Вердюр.

Тут я вспомнил, что забыл выставить за дверь свои ботинки. Я встал и вышел на минуту в коридор, в другом его конце я заметил м-ь Вердюр. Ее комната была расположена над моей — я понял это по тяжелым шагам, которые некоторое время спустя стали сотрясать потолок в моей комнате. Затем наступила глубокая тишина, и в момент, когда я погружался в сон, весь дом поднял якоря, чтобы унестись в ночное плавание.

II

Я проснулся довольно рано от шума, доносившегося из кухни, дверь которой была как раз под моим окном. Отворив ставни, я с радостью увидел почти безоблачное небо; сад, еще не обсохший от недавнего ливня, сверкал, воздух светился голубизной. Я намеревался закрыть окно, когда увидел появившегося со стороны огорода и бегущего в сторону кухни мальчика, трудно было определить его возраст: взрослое выражение его лица контрастировало с его маленьким ростом. Совершенно безобразный, он передвигался неуклюже: кривые ноги делали его поступь невообразимой, он как-то кособоко бежал или скорее двигался прыжками; казалось, его ноги непременно запутаются, если он пойдет шагом… Это был ученик аббата, Казимир. Около него резвился и радостно прыгал с ним заодно огромный ньюфаундленд; мальчик с трудом справлялся с его буйным натиском, но, когда кухня была совсем рядом, сбитый собакой с ног, он покатился в грязь. Подоспевшая, чтобы его поднять, неряшливая толстуха напустилась не него:

— Да, хорош, нечего сказать! Бог знает во что

превратились! Сколько раз вам говорить, чтобы оставляли Терно в сарае!.. Ладно! Идите сюда, я вас вытру…

Она увела его в кухню. Тут в мою дверь постучали; горничная принесла горячую воду. Четверть часа спустя позвонили к завтраку.

При моем появлении в столовой аббат сделал несколько шагов мне навстречу со словами:

— Госпожа Флош, а вот и наш любезный гость.

Г-жа Флош поднялась со стула, но не показалась от этого выше ростом; я глубоко поклонился; она удостоила меня коротким резким кивком; в свое время на ее голову, должно быть, упало что-то чудовищное, от чего она так и осталась непоправимо вдавленной в плечи и сидела там даже несколько криво. Г-н Флош тоже встал, чтобы пожать мне руку. Старички были одного роста, одинаково одеты, казались одного возраста, одной плоти… Некоторое время мы обменивались ничего не значащими любезностями, все трое говоря одновременно. Затем воцарилось чинное молчание, и тут подоспела м-ль Вердюр с чайником.

— Мадемуазель Олимпия, — произнесла г-жа Флош, не имея возможности повернуть головы и поэтому поворачиваясь к нам всем телом, —

мадемуазель Олимпия, друг нашей семьи, очень беспокоится, хорошо ли вам спалось и удобна ли была постель.

Я поторопился заверить, что отдохнул как нельзя лучше и что грелка, которую я обнаружил, ложась в постель, была очень кстати.

М-ль Вердюр, поприветствовав меня, вышла.

— А шум с кухни утром не очень беспокоил вас?

Я вновь возразил.

— Прошу вас, скажите, сделайте одолжение, нет ничего проще, как приготовить вам другую комнату…

Г-н Флош не произносил ни слова, лишь покачивал склоненной набок головой и всей своей улыбкой показывал, что полностью согласен с женой.

— Да, я вижу, дом очень просторный, — отвечал я, — но уверяю вас, что вряд ли возможно разместиться приятнее.

— Господину и госпоже Флош, — вставил аббат, — нравится баловать своих гостей.

М-ль Олимпия принесла на блюде кусочки поджаренного хлеба; перед собой она, подталкивая, вела маленького калеку, которого я только что увидел в окно. Аббат взял его за руку:

— Ну что же вы, Казимир! Вы же не маленький; подойдите, поздоровайтесь с господином Лаказом, как подобает мужчине. Подайте руку… Не опускайте глаза!.. — Затем, повернувшись ко мне и как бы извиняясь за него, пояснил: — Мы еще не привыкли к светским манерам…

Застенчивость мальчика смущала меня.

— Это ваш внук? — спросил я г-жу Флош, забыв объяснения, полученные накануне от аббата.

— Наш внучатый племянник, — ответила она, — чуть позже вы познакомитесь с моей сестрой и шурином — его бабушкой и дедушкой.

— Он не хотел идти домой, потому что заляпал грязью всю одежду, когда играл с Терно, — объяснила м-ль Вердюр.

— Ничего себе игра, — сказал я, приветливо обернувшись к Казимиру, — я был у окна, когда он вас сбил с ног… Вам не было больно?

— Надо сказать, господин Лаказ, — пояснил в свою очередь аббат, — что мы не очень сильны в равновесии…

Черт возьми! Я не хуже его это видел; необходимости подчеркивать это не было. Этот пышущий здоровьем, с глазами разного цвета аббат стал мне вдруг неприятен.

Мальчик мне ничего не ответил, но лицо его за-

рделось. Я сожалел о произнесенной мной фразе, о том, что он мог почувствовать в ней какой-то намек на его недуг. Аббат, съев свой суп, поднялся из-за стола и ходил теперь по комнате; когда он замолкал, он так сжимал губы, что верхняя превращалась в валик, как у беззубых стариков. Он остановился за спиной Казимира и, как только тот допил свою чашку, заторопил: — Идемте! Идемте, молодой человек, Авензоар[9] ждет нас!

Мальчик встал, они вышли.

После завтрака г-н Флош позвал меня:

— Идемте со мной в сад, мой дорогой гость, и поведайте мне новости мыслящего Парижа.

Г-н Флош витийствовал с утра. Не особенно слушая мои ответы, он задавал мне вопросы о своем друге Гастоне Буассье и о многих других ученых, которые вполне могли бы быть моими учителями и с которыми он все еще время от времени переписывался; он расспрашивал меня о моих вкусах, учебе… Я, разумеется, ничего не сказал ему о своих писательских намерениях и представился ему только как исследователь из Сорбонны; затем он заговорил об истории Картфурша, где он провел почти безвыездно без малого пятнадцать лет, об

[9] Примечания: 9
Авензоар (Ибн Зохар) — арабский медик из Севильи (XII в.).

истории парка, замка; рассказ об истории семьи, жившей в нем ранее, он отложил и перешел к тому, как он оказался обладателем рукописей XVII века, которые могли бы представить интерес для моей диссертации… Он шел мелкими, частыми шажками, или, точнее, семенил за мной; как я заметил, брюки он носил так низко на бедрах, что ширинка доходила ему почти до колен; спереди ткань ниспадала на ступни множеством складок, а сзади задиралась над ботинками — непонятно, с помощью какого ухищрения. Некоторое время спустя я слушал его уже вполуха, так как разомлел от ласкового теплого воздуха и весь был во власти какой-то безвольной расслабленности.

Идя по аллее очень высоких каштанов, которые образовывали над нами свод, мы дошли почти до конца парка. Там, скрытая от солнца кустами акации, стояла скамейка, и г-н Флош предложил мне присесть. А затем задал неожиданный вопрос:

— Аббат Санталь сказал вам, что мой шурин несколько?.. — он не договорил, но прислонил ко лбу указательный палец.

Я был слишком удивлен, чтобы сразу ответить, и он продолжал:

— Да, барон де Сент-Ореоль, мой шурин; аббат вам, может быть, не сказал больше того, что

сказал мне… но я тем не менее знаю, что он так думает; да и я думаю так же… А обо мне аббат не говорил, что я несколько того?..

— Но, господин Флош, как вы можете думать?..

— Но, мой молодой друг, — по-свойски похлопывая меня по руке, сказал он, — я бы счел это вполне естественным. Что вы хотите? Здесь мы приобрели привычку скрываться от мира, несколько… выпадая из общего движения. Ничто не занимает здесь нашего внимания; как бы это сказать?.. Да, вы оказали нам большую любезность, приехав к нам, — я попытался что-либо возразить, но он повторил: — Да-да, вы были очень любезны, и я сегодня же вечером напишу об этом моему замечательному другу Десносу; но должен вас предупредить: вздумай вы мне рассказать о том, что близко вашему сердцу, о том, что вас тревожит, интересует… я уверен, что не пойму вас.

Что я мог сказать на это? Я молча водил кончиком трости по песку.

— Видите ли, — снова начал он, — мы здесь несколько утратили способность общаться. Да нет, нет! Не возражайте же — это бесполезно! Барон глух как тыква, но настолько кокетлив, что никак не хочет показать и предпочитает притво-

ряться, что слышит, а не просит говорить громче. Что касается меня, то к идеям сегодняшнего дня я так же глух, как и он, и от этого, кстати, не страдаю. Я даже не очень стараюсь их услышать. Общение с Массийоном[10] и Боссюэ заставило меня поверить в то, что идеи, волновавшие эти великие умы, так же прекрасны и значительны, как те, которые захватывали меня в молодости, которые этим великим умам, конечно же, было не понять… так же как я не могу понять проблем, увлекающих сегодня вас… Поэтому я просил бы вас, мой юный коллега, чтобы вы скорее заговорили о ваших исследованиях, поскольку они в то же время и мои, и извините меня, если я не стану расспрашивать вас о ваших любимых музыкантах, поэтах, ораторах или о форме государственной власти, которую вы считаете наиболее приемлемой.

Он взглянул на свои карманные часы на черном шнурке и, вставая, сказал:

— Пора возвращаться. День кажется мне потерянным, если я в десять утра не сяду за работу.

Я предложил ему локоть, он не возражал; время от времени, когда я из-за него замедлял шаг, он

---

[10] Примечания: 10

Массийон, Жан Батист (1663–1742) — французский проповедник, оратор-моралист, член Французской академии.

повторял:

— Скорее! Скорее! Мысли как цветы: сорванные утром, они дольше остаются свежими.

Библиотека Картфурша размещалась в двух комнатах, разделенных простой занавеской: в одной из них, очень тесной, расположенной на три ступеньки выше, за столом около окна работал г-н Флош. Вид из окна закрывали бившие в стекла ветви вяза и ольхи, на столе стояла старинная керосиновая лампа с зеленым фарфоровым абажуром, под столом виднелась огромная меховая грелка для ног; в одном углу стояла небольшая печка, в другом — еще один стол, заваленный словарями, между ними — шкаф для бумаг. Вторая комната оказалась просторнее: стены до потолка уставлены полками с книгами, два окна, посредине комнаты — большой стол.

— Вот ваше место, — сказал г-н Флош, и, поскольку я снова попытался возразить, добавил:

— Нет, нет, я привык работать в тесноте, сказать по правде, мне там лучше: словно бы мысли лучше сосредоточиваются. Занимайте без всяких стеснений большой стол, и, если хотите, чтобы мы не беспокоили друг друга, можно опустить занавес.

— Для меня в этом нет никакой необходимости,

если бы для работы мне требовалось одиночество, то я бы до сих пор не…

— Вот и хорошо! — прервал он меня. — Значит, занавешивать не будем. По правде сказать, мне доставит большое удовольствие подглядывать за вами. (И впрямь все последующие дни, всякий раз, когда я отрывал глаза от работы, я встречал взгляд этого добродушного старика, который, улыбаясь, кивал мне головой или из опасения показаться назойливым быстро отводил глаза, делая вид, что погружен в чтение.)

Он тут же подготовил все необходимое, чтобы я легко мог располагать интересующими меня книгами и рукописями, большинство из которых теснились в книжном шкафу меньшей комнаты; их количество и важность значительно превосходили предположения г-на Десноса, и, как выяснилось, мне понадобится минимум неделя для того, чтобы извлечь из них те ценные данные, которые я искал. Последним г-н Флош открыл стоявший рядом с книжным шкафом маленький шкафчик и достал из него знаменую Библию Боссюэ, на которой рукой Орла из Мо[11] против строф, взятых им за основу и послужив-

[11] Примечания: 11

Так прозвали Боссюэ. Мо — город, в котором Боссюэ был епископом с 1681 по 1704 г.

ших источником вдохновения, были начертаны даты проповедей, прочитанных под их воздействием. Я удивился тому, что Альбер Деснос не воспользовался этими данными в своих работах, но оказалось, что эта книга появилась у г-на Флоша недавно.

— Я подготовил памятную записку по этому поводу, — продолжал он, — но сегодня рад, что еще никого не познакомил с ней и вы сможете использовать ее для своей диссертации.

Я опять возразил:

— Тогда всеми достоинствами моей диссертации я буду обязан вам. Вы позволите мне по крайней мере сделать вам посвящение, господин Флош, в знак моей признательности?

Он грустно улыбнулся:

— Когда ты так близок к тому, чтобы покинуть землю, то охотно улыбаешься всему, что обещает тебе хоть какое-то продление жизни.

Я счел неуместным продолжать в том же духе.

— Ну а теперь, — произнес он, — вступайте во владение библиотекой и вспоминайте о моем присутствии только тогда, когда вам потребуется какая-то помощь. Берите какие вам нужно документы… и… до свидания!..

Когда я, спустившись на три ступеньки, с улыб-

кой обернулся к нему, он помахал рукой:

— До скорого!

Я захватил с собой в большую комнату несколько документов, к работе над которыми собирался приступить. Не отрываясь от стола, я мог наблюдать за г-ном Флошем в его каморке: некоторое время он проявлял беспокойство, выдвигал и задвигал ящики стола, вытаскивал бумаги, снова убирал их с видом занятого человека… Я подозревал, что он был очень смущен или стеснен моим присутствием и что малейшее вмешательство в его такой размеренный образ жизни могло поставить под угрозу его душевное равновесие. Наконец он успокоился, поглубже засунул ноги в меховую грелку, замер…

Я со своей стороны сделал вид, что целиком погрузился в работу, однако мне было трудно собраться с мыслями, да я и не старался — они кружили вокруг Картфурша, как вокруг башни в поисках входа. То, что я тонкая, чувствительная натура, еще требовалось доказать. «Раз ты писатель, мой друг, — говорил я себе, — так мы тебя посмотрим в деле. Описать! Э, нет! Не о том речь, надо раскрыть истину, скрытую под внешней оболочкой… Если за то короткое время, которое тебе отведено в Картфурше, ты позволишь хотя

бы жесту, хотя бы малейшему движению пройти мимо тебя, не объяснив его с психологической, исторической и общечеловеческой точки зрения, грош тебе цена как писателю».

Я перевел глаза на г-на Флоша, сидевшего ко мне в профиль; мне были видны крупный вислый нос, лохматые брови, скошенный подбородок, который не переставал двигаться, как будто его обладатель жевал жвачку… и я подумал, что ничего не делает лицо столь непроницаемым, как маска доброты.

Звонок к обеду прервал на этом мои размышления.

III

Именно за этим обедом г-н Флош неожиданно и без ораторских приемов ввел меня в общество четы Сент-Ореолей. Но ведь аббат накануне вечером мог бы меня предупредить. Помню, впервые я испытал подобное оцепенение однажды в Ботаническом саду при виде Phoenicopterus antiquorum, или утконосого фламинго[12]. Я не смог бы сказать, кто из них двоих — барон или баронесса — был более живописен; они абсолютно подходили друг другу, как, впрочем, и пара Флошей: в музее естественных наук их без колебаний поставили бы рядом в одну витрину в разделе «Исчезнувшие виды». Сначала я испытал перед ними своего рода смутное восхищение, которое испытываешь в первое мгновение перед совершенным произведением искусства или чудом природы, теряя способность к анализу. Медленно и с трудом я смог привести в порядок свои впечатления…

Барон Нарцисс де Сент-Ореоль был в коротких

---

[12] Примечания: 12

Жерар ошибся: у Phoenicopterus antiquorum нос не имеет плоской формы шпателя. — Прим. авт.

штанах, туфлях с очень броскими пряжками, при муслиновом галстуке и жабо. Адамово яблоко величиной с подбородок торчало из ворота и пряталось, насколько это было возможно, в вихре муслина; подбородок при малейшем движении челюсти совершал неимоверное усилие, чтобы дотянуться до носа, который со своей стороны охотно соглашался на это. Один глаз был наглухо закрыт; второй, к которому тянулись уголки губ и все складки лица, сверкал, глубоко засев в скуле, и, казалось, говорил: «Осторожно! Я один, но ничего от меня не ускользает».

Г-жа де Сент-Ореоль вся целиком утопала в облаке дешевых кружев. Забившись вовнутрь вздрагивающих рукавов, тряслись тонкие пальцы рук, унизанные огромными кольцами. Что-то вроде чепца из черной тафты, подбитого белыми кружевами, обрамляло лицо; завязки из той же тафты под подбородком были испачканы пудрой, осыпавшейся с ужасно накрашенного лица. Когда я вошел, она вызывающе встала передо мной в профиль, отбросила голову назад и сильным голосом с непреклонными нотками проговорила:

— Было время, сестра, когда фамилии Сент-Ореоль оказывалось больше почтения…

На кого она сердилась? Ей, конечно, хотелось

дать мне почувствовать и дать понять сестре, что хозяевами здесь были не Флоши; в подтверждение этого, подняв в мою сторону правую руку и склонив набок голову, она жеманно произнесла:

— Мы с бароном рады, сударь, принять вас за нашим столом.

Я ткнулся губами в кольцо и покраснел, выпрямляясь, ибо мое положение между четой Сент-Ореолей и Флошами становилось щекотливым. Г-жа Флош, однако, казалось, не обратила никакого внимания на выходку сестры. Что касается барона, то сама реальность его присутствия вызывала у меня сомнения, хотя он был со мной подчеркнуто любезен. За все время моего пребывания в Картфурше его так и не удалось заставить называть меня иначе, как г-н Лас Каз, что позволяло ему утверждать, что он часто встречался с моими родственниками в Тюильри… главным образом с моим дядей, с которым он якобы играл в пикет.

— О! Это был большой оригинал! — вспоминал он. — Всякий раз когда он открывал туза, то громко кричал: «Домино!»

Все высказывания барона были примерно в таком духе. За столом почти всегда говорил он один, но тут же после трапезы становился нем,

как мумия.

Когда мы выходили из столовой, г-жа Флош подошла ко мне и тихо попросила:

— Не окажет ли мне господин Лаказ любезность и не побеседует ли со мной?

Похоже, она не хотела, чтобы беседу эту кто-либо услышал, поскольку повела меня в сторону сада, громко объясняя, что хотела бы показать мне ягодные кусты.

— Я по поводу моего племянника, — начала она, убедившись, что никто нас не слышит. — Я бы не хотела, чтобы у вас создалось мнение, что я критикую преподавание аббата Санталя, но вы, ныряющий в сами источники образования (она так и сказала), вы, возможно, могли бы дать нам хороший совет.

— Продолжайте, сударыня, я к вашим услугам.

— Так вот, я опасаюсь, что тема его диссертации для такого малолетнего ребенка слишком необычна.

— Какой диссертации? — спросил я, насторожившись.

— Тема диплома на степень бакалавра.

— А, понятно, — сказал я, решив отныне больше ничему не удивляться. — Какова же она? — спросил я.

— Так вот, господин аббат опасается, что литературные или чисто философские темы могут усугубить неустойчивость юного сознания, и без того склонного к мечтательности… (так по крайней мере считает господин аббат). И потому он предложил Казимиру избрать историческую тему.

— Но, сударыня, это вполне оправданно.

— Извините меня, я боюсь исказить имя… Аверроэс.

— Господин аббат, конечно же, имел свои причины для выбора темы, которая на первый взгляд и вправду кажется не совсем обычной.

— Они выбрали ее вместе. Что касается причин, которыми руководствуется господин аббат, то я готова их принять; эта тема, по его словам, содержит некий особый забавный смысл, способный привлечь внимание Казимира, который частенько бывает несколько рассеян, кроме того (говорят, экзаменаторы придают этому самое большое значение), эта тема еще никогда не затрагивалась.

— Действительно, что-то не припомню…

— И естественно, чтобы найти тему, которой еще никто не касался, нужно было искать не на проторенных тропинках.

— Разумеется!

— Только у меня, признаться, есть опасения… но не злоупотребляю ли я вашим доверием?

— Сударыня, поверьте, моя добрая воля и желание быть вам полезным неистощимы.

— Хорошо, я скажу; я не сомневаюсь, что Казимир сможет достаточно успешно и довольно скоро завершить свою работу, но опасаюсь, как бы из-за желания направить ребенка на стезю истории… желания несколько преждевременного… как бы аббат несколько не упустил общее образование, например арифметику или астрономию…

— А что думает по этому поводу господин Флош? — спросил я в полной растерянности.

— О! Господин Флош соглашается со всем, что делает и говорит аббат.

— А родители?

— Они доверили ребенка нам, — ответила она после легкого замешательства, а затем, остановившись, продолжала: — В порядке любезности, дорогой господин Лаказ, я бы просила вас побеседовать с Казимиром, чтобы самому во всем разобраться, но так, чтобы это не выглядело слишком прямолинейно… и ни в коем случае не в присутствии господина аббата, которого это может несколько расстроить. Уверена, что вы смогли бы таким путем…

— Весьма охотно, сударыня. Мне, конечно же, будет нетрудно найти повод для прогулки с вашим племянником. Он покажет мне какие-нибудь укромные уголки в парке…

— Он кажется немного застенчивым с людьми, которых еще не знает, но по своей натуре он доверчив.

— Я не сомневаюсь, что мы быстро подружимся.

Несколько позже полдник снова свел всех нас вместе.

— Казимир, — обратилась г-жа Флош к мальчику, — показал бы ты господину Лаказу карьер, уверена, что ему это будет интересно, — и, приблизившись затем ко мне, добавила: — Поспешите, пока не спустился аббат, иначе он захочет пойти вместе с вами.

Мы тотчас вышли в парк; мальчик, ковыляя, показывал мне дорогу.

— У тебя сейчас перерыв в занятиях? — начал я.

Он ничего не ответил. Я продолжал:

— Вы не занимаетесь после полдника?

— Нет, занимаемся, но сегодня мне нечего переписывать.

— Интересно, что же вы переписываете?

— Диссертацию.

— Ах вот как!..

Задав наугад несколько вопросов, я наконец понял, что «диссертацией» был труд аббата; он заставил мальчика, у которого был правильный почерк, переписать ее начисто и сделать еще несколько копий. Таким образом, ежедневно заполняя несколько страничек четырех толстых тетрадей в картонных переплетах, он делал четыре копии. Впрочем, Казимир уверил меня, что ему очень нравится «копировать».

— Но почему четыре раза?

— Потому что я с трудом запоминаю.

— Вы понимаете то, что вы переписываете?

— Иногда. А иногда аббат мне объясняет или говорит, что пойму, когда подрасту.

Аббат просто сделал из своего ученика секретаря-переписчика. Это так-то представлял он себе свой долг? Сердце у меня сжалось, и решил незамедлительно переговорить с ним на эту драматическую тему. Возмущенный, я машинально ускорил шаги, прежде чем заметил, что Казимир с трудом успевает за мной, весь обливаясь потом. Я пошел медленнее, подал ему руку, он взял ее и заковылял рядом со мной.

— Диссертация — это все, чем вы занимаетесь?

— Ну, нет! — тут же ответил он; однако, продолжая задавать ему вопросы, я понял, что все остальное ограничивалось очень малым; мое удивление очень задело его.

— Я много читаю, — добавил он так, как сказал бы нищий: «У меня есть еще и другая одежда!»

— А что вы любите читать?

— Про великие путешествия, — ответил он, бросив на меня взгляд, в котором настороженность уже уступала место доверию. — Вы знаете? Аббат был в Китае… — В его голосе сквозило безграничное восхищение, преклонение перед своим учителем.

Мы дошли до того места парка, которое г-жа Флош называла «карьером»; это была своего рода пещера на склоне холма, скрытая густым кустарником. Мы присели на обломок скалы, еще теплый, хотя солнце уже садилось. Парк кончился в этом месте, но ограды не было; слева от нас круто спускалась дорога с невысоким барьером, а в обе стороны от нее тянулся довольно обрывистый скат, служивший естественной границей.

— А вы, Казимир, — спросил я, — вы уже путешествовали?

Он не ответил, опустил голову… Ложбина внизу под нами заполнилась тенью, солнце коснулось

края холма, скрывавшего от нас перспективу. Испещренный кроличьими норками известняковый пригорок, увенчанный рощицей каштанов и дубов, и само это несколько романтичное местечко нарушали гладкое однообразие окружающей местности.

— Смотрите-ка, кролики, — вскрикнул вдруг Казимир и немного погодя добавил, показывая пальцем на рощу: — Я был там однажды с господином аббатом.

На обратном пути мы прошли мимо пруда, затянутого тиной. Я пообещал Казимиру наладить удочку и поучить его ловить лягушек.

Этот первый мой вечер, завершившийся к девяти часам, нисколько не отличался ни от последующих, ни от тех, которые ему предшествовали, так как моим хозяевам хватило здравого смысла не особенно усердствовать из-за меня. После ужина мы перешли в гостиную, где Грасьен, пока мы были за столом, развел огонь. Большая лампа, стоявшая на углу инкрустированного стола, одновременно освещала противоположный край стола, где барон с аббатом играли в кости, и круглый столик, где дамы оживленно играли в карты.

— Господину Лаказу, привыкшему к париж-

ским развлечениям, наши забавы покажутся, конечно, несколько скучными… — проговорила г-жа Сент-Ореоль.

Г-н Флош дремал в глубоком кресле возле камина, Казимир, поставив локти на стол и обхватив голову руками, с открытым ртом, роняя слюну, страницу за страницей глотал «Путешествие вокруг света». Из приличия и вежливости я сделал вид, что очень заинтересован игрой; играть в нее можно было как в вист — без одного, но лучше — вчетвером, поэтому г-жа Сент-Ореоль охотно согласилась на мое предложение составить им компанию. В первые дни моя игра невпопад была причиной нашего полного поражения, что приводило в восторг г-жу Флош, которая после каждой победы позволяла себе незаметно похлопать меня по руке своей худенькой рукой в митенке. В игре было все: дерзость, хитрость, изощренность. М-ль Олимпия играла очень осмотрительно, согласованно с партнером. В начале каждой партии игроки примерялись, в зависимости от игры насколько могли набивали цену, пользовались возможностью чуть поблефовать; г-жа Сент-Ореоль с блеском в глазах, раскрасневшись, с дрожащим подбородком, играла дерзко, азартно; когда у нее шла действительно хорошая игра, она

ударяла меня под столом по ноге; м-ль Олимпия пыталась ей сопротивляться, но ее сбивал с толку пронзительный голос старушки, которая вместо того, чтобы объявить новое число, кричала:

— Вердюр, вы лжете!

Каждый раз в конце первой партии г-жа Флош, посмотрев на часы, как будто и впрямь уже было пора, звала:

— Казимир! Время, Казимир, тебе пора!

Мальчик словно с трудом приходил в себя от летаргического сна, вставал, протягивал вялую руку мужчинам, подставлял лоб дамам и выходил, волоча ногу.

Когда г-жа Сент-Ореоль призывала нас к реваншу, подходила к концу первая партия в кости, в этот момент г-н Флош садился иногда вместо своего родственника; ни г-н Флош, ни аббат не объявляли свою игру, с их стороны было слышно лишь, как в рожке[13] и по столу гремят игральные кости; г-н Сент-Ореоль, погрузившись в кресло, что-то говорил или напевал вполголоса и иногда неожиданно так сильно и резко совал в огонь каминные щипцы, что горящие угли разлетались далеко по полу; м-ль Олимпия бро-

---

[13] Примечания: 13

Рожок, в котором перемешиваются игральные кости.

салась к месту события и исполняла то, что г-жа Сент-Ореоль элегантно зазвала танцем искр… Чаще всего г-н Флош не мешал схватке барона с аббатом, оставаясь в кресле; с моего места я мог видеть его, но не спящим, как он утверждал, а спрятавшим от света голову; в первый вечер во вспышке пламени, неожиданно осветившей его лицо, я увидел, что он плачет.

В четверть десятого, когда безик подходил к концу, г-жа Флош гасила лампу, м-ль Вердюр зажигала свечи в двух подсвечниках и ставила их по обе стороны от играющих.

— Аббат, не задерживайте его допоздна, — хлопнув веером по плечу своего мужа, бросала г-жа Сент-Ореоль.

С первого вечера я счел корректным подчинять-ся сигналу дам, оставляя игроков продолжать схватку, а г-на Флоша, который поднимался в спальню последним, в его раздумьях. В прихожей каждый брал по подсвечнику, дамы, как и утром, с реверансом желали мне спокойной ночи. Я поднимался в спальню, а вскоре слышал, как поднимаются к себе мужчины. Потом все стихало. Но еще долго после этого из-под некоторых дверей просачивался свет. Однако еще и через час, если по какой-либо необходимости приходилось

выйти в коридор, можно было натолкнуться на г-жу Флош или м-ль Вердюр в ночном туалете, занятых последними заботами по дому. А еще позже, когда, казалось, уже все огни потушены, в окне маленького чуланчика, который выходил на улицу, но в который нельзя было попасть из коридора, можно было увидеть, как в китайском театре теней, силуэт орудовавшей швейной иглой г-жи Сент-Ореоль.

IV

Мой второй день в Картфурше повторял почти точь-в-точь час за часом предыдущий; однако любопытство, которое в первый день я еще мог испытывать к тому, чем занимались его обитатели, резко упало. С утра моросил мелкий дождь. Прогулка не состоялась, к беседе с дамами я полностью потерял интерес и почти весь день провел за работой. Мы едва обменялись несколькими фразами с аббатом, это было после обеда, когда он пригласил меня выкурить сигарету в расположенном в нескольких шагах от гостиной застекленном сарае, который здесь несколько помпезно называли оранжереей, — туда в дождливый сезон вносили несколько скамеек и садовых стульев.

— Но, дорогой мой, — начал он, — когда я с некоторым раздражением завел речь о воспитании мальчика, — я бы очень хотел просветить Казимира, передав ему все свои скромные познания, но не без сожалений был вынужден отказаться от этого. Что бы вы сказали, если бы мне пришло в голову заставить ребенка с его хромотой плясать на канате? Я очень скоро вынужден был умерить

свои требования. Он занимался со мной Авензоаром только потому, что я взялся за работу по философии Аристотеля, и вместо того, чтобы мусолить с мальчиком бог знает какие азы, я не без удовольствия вовлек его в свою работу. Так ли уж важна тема, гораздо важнее на три-четыре часа в день занять Казимира. И как бы я смог избежать чувства некоторой досады, если бы из-за него пришлось напрасно терять это время? И уверяю вас, без пользы для него… И хватит об этом, не так ли? — С этими словами он бросил погасшую сигарету, встал и направился в гостиную.

Плохая погода помешала мне пойти с Казимиром на рыбалку, мы отложили ее на завтра, но мальчик был так расстроен, что я решил найти для него какое-нибудь другое развлечение; мне попались под руку шахматы, и я обучил его игре в лису и кур, в которую он с увлечением играл до самого ужина.

Этот вечер начался так же, как и предыдущий, но я уже никого не слушал и никого не замечал: мной овладела невыразимая скука.

Тотчас после ужина поднялся такой ветер, что м-ль Вердюр дважды, прервав игру, поднималась в верхние комнаты, чтобы проверить, «не залило ли их дождем». Мы стали брать реванш без нее,

но игра не клеилась. Сидя у камина в низком кресле, которое все называли «берлиной»[14], г-н Флош, убаюканный шумом ливня, на этот раз действительно уснул; сидевший напротив него в мягком кресле барон жаловался на ревматизм и ворчал.

— Партия в жаке вас развлечет, — безуспешно предлагал аббат, но, так и не сыскав противника, ушел сам и увел спать Казимира.

Когда я в этот вечер оказался в своей комнате, нестерпимая тоска овладела мной, моя скука превращалась почти в страх. Стена дождя отделяла меня от остального мира, от людских страстей, от жизни, я был посреди серого кошмара, среди странных существ, едва ли людей, с остывшей кровью, бесцветных, чьи сердца уже давно не бились. Я открыл чемодан, схватил расписание: на первый же поезд! На любой час дня или ночи… уехать! Здесь нечем дышать…

Нетерпение долго не давало мне уснуть.

Наутро, когда я проснулся, мое желание уехать было, может быть, не менее твердым, но мне уже стало казаться, что я не могу, не нарушив приличий по отношению к моим хозяевам, уехать

---

[14] Примечания: 14
Разновидность кареты.

вот так, просто, без какого-либо повода. К тому же я неосторожно сказал, что по меньшей мере неделю пробуду в Картфурше! Ну да ладно! Скажу, что неприятные вести требуют моего скорейшего отъезда в Париж... К счастью, я оставил свой адрес, и всю мою почту должны пересылать в Картфурш; будет чудо, подумал я, если сегодня же я не получу какой-нибудь конверт, которым смогу ловко воспользоваться... И я возложил надежду на почтальона. Тот появлялся обычно чуть позже полудня, когда обед подходил к концу; мы, как всегда, не вставали из-за стола прежде, чем Дельфина принесет и передаст г-же Флош тоненькую пачку писем и печатных изданий, которые она раздаст сидящим за столом. К несчастью, в этот день аббат Санталь был приглашен на обед к настоятелю собора в Пон-л'Евеке; в одиннадцать часов он стал прощаться с г-ном Флошем и со мной, и я не сразу сообразил, что таким образом он уводит у меня из-под носа и лошадь, и двуколку.

Итак, за обедом я разыграл задуманную мной маленькую комедию.

— Ну вот! Как неприятно!.. — пробормотал я, распечатав один из конвертов, который протянула мне г-жа Флош, но, так как из вежливости

никто не обратил внимания на мое восклицание, я, пробегая глазами безобидный листок и изображая при этом удивление и досаду, продолжал: — Как некстати!

— Какая-нибудь неприятная новость, сударь? — осмелилась наконец робко спросить г-жа Флош.

— Ничего серьезного, — отозвался я. — Но, увы! Мне придется срочно вернуться в Париж, отсюда моя досада.

За столом воцарилось полное оцепенение, которое настолько превзошло мои ожидания, что я почувствовал, как краснею от смущения. После нескольких секунд тягостного молчания г-н Флош спросил чуть дрожащим голосом:

— Возможно ли это, мой молодой друг? А как же работа?! А как же наша…

Он не смог договорить. Я не нашелся, что ответить, что сказать и, признаться, сам чувствовал себя изрядно взволнованным. Мои глаза были устремлены на макушку Казимира, который, уткнувшись носом в тарелку, резал яблоко. М-ль Вердюр покраснела от негодования.

— Удерживать вас было бы нескромно, — едва слышно подала голос г-жа Флош.

— Конечно, те развлечения, которые может предложить Картфурш… — съязвила г-жа Сент-

Ореоль.

— Ну что вы, сударыня, поверьте, ничто не могло бы… — попытался было возразить я, но баронесса, не дослушав меня, уже что было мочи кричала в ухо сидящему рядом мужу:

— Господин Лаказ собирается покинуть нас!

— Мило! Очень мило! Право, я тронут, — отвечал, с улыбкой глядя на меня, глухой Сент-Ореоль.

Тем временем г-жа Флош обратилась к м-ль Вер-дюр:

— Да, но что мы можем сделать?.. Ведь лошадь только что увезла аббата.

Тут я, несколько отступив, сказал примирительно:

— В Париже мне нужно быть завтра рано утром… В случае необходимости подойдет и ночной поезд.

— Скажите Грасьену, пусть сейчас же узнает, можно ли воспользоваться лошадью Булиньи. Пусть объяснит, что нужно отвезти человека к поезду… — и, повернувшись ко мне, спросила: — Вам подойдет семичасовой поезд?

— О! Сударыня, я очень сожалею, столько хлопот…

Обед закончился в молчании. Сразу после

него папаша Флош увел меня и, как только мы оказались в коридоре, ведущем в библиотеку, заговорил:

— Но, сударь... дорогой друг... я все никак не могу поверить... вам же еще нужно ознакомиться с целым... Так ли уж необходимо?.. Как некстати! Вот досада! Я как раз ждал, когда вы закончите с первой партией материалов, чтобы дать вам другие, которые достал вчера вечером: откровенно говоря, я рассчитывал на них, чтобы заинтересовать и подольше задержать вас. Значит, все это я должен показать вам сейчас. Идемте со мной, у вас до вечера есть еще некоторое время... Я не осмеливаюсь просить вас еще раз приехать к нам...

Мне стало стыдно за свое поведение перед расстроенным стариком. Я, не отрываясь, работал целый день накануне и все это последнее утро, так что из первой партии бумаг, которые он мне передал, я уже мало что мог почерпнуть; но, когда мы поднялись в его обитель, он загадочным видом извлек из глубины ящика завернутый в ткань и перевязанный тесемкой сверток; сверху под тесемкой лежала карточка, на которой был алфавитный перечень документов и их происхождение.

— Возьмите весь пакет, — сказал он, — здесь далеко не все интересно, но вы быстрее меня разберетесь, что вам пригодится.

Пока он суетился, то открывая, то закрывая ящики, я со связкой спустился в библиотеку, развязал ее и разложил бумаги на большом столе.

Иные документы действительно имели отношение к моей работе, но таких было немного, и они не представляли большой ценности; большинство из них, что было, кстати, помечено рукой самого г-на Флоша, относилось к жизни Массийона и, стало быть, меня мало касалось.

Неужели и впрямь бедняга Флош рассчитывал удержать меня этим? Я взглянул на него: он сидел, засунув ноги в меховую грелку, и тщательно прочищал булавкой дырочки маленького приспособления для дозировки смолы сандарака. Закончив, он поднял голову, и мы встретились взглядами. Его лицо озарилось такой дружелюбной улыбкой, что я не поленился встать из-за стола, чтобы поговорить с ним, — подойдя ко входу в его каморку, опершись о косяк, я спросил его:

— Господин Флош, почему вы никогда не бываете в Париже? Вам были бы очень рады.

— В моем возрасте поездки затруднительны,

да и дороги.

— А вы не очень сожалеете, что покинули город?

— Что делать! — произнес он, вскинув руки. — Я был готов к тому, что сожалеть о нем придется гораздо сильнее. Первое время уединение кажется несколько суровым, особенно для того, кто любит поговорить, потом привыкаешь.

— Стало быть, вы не по собственной воле перебрались в Картфурш?

Он высвободил ноги из грелки, поднялся и, дружески положив свою руку на мою, заговорил:

— У меня в академии было несколько коллег, которых я очень люблю, и среди них ваш учитель Альбер Деснос; я уверен, что был близок к тому, чтобы вскоре занять место среди них…

Казалось, у него было желание сказать больше, однако я не осмелился задать вопрос слишком прямо.

— Может быть г-жу Флош так привлекала сельская жизнь?

— Н-н… Нет. Между тем именно ради госпожи Флош я оказался здесь; саму же ее привело сюда одно небольшое семейное обстоятельство.

Он спустился в большую комнату и заметил пачку бумаг, которую я уже перевязал.

— А!.. Вы уже все просмотрели, — сказал он с грустью. — Вам, конечно, мало что пригодилось. Что вы хотите? Я собираю малейшие крохи; иногда я думаю, что трачу время на ерунду, но, может быть, нужны и такие люди, как я, чтобы избавить от мелкой работы тех, которые, как вы, могут добиться с ее помощью блестящих результатов. Когда я буду читать вашу диссертацию, мне будет приятно сознавать, что и мой труд был для вас немножко полезен.

Позвонили к полднику.

Как узнать, думал я, что это «небольшое семейное обстоятельство», заставившее так круто изменить жизнь этих стариков? Известно ли это аббату? Вместо того чтобы препираться с ним, я должен был приручить его. Ладно! Теперь уже поздно. И тем не менее г-н Флош достойный человек, и я сохраню о нем хорошие воспоминания…

Мы вошли в столовую.

— Казимир не осмеливается попросить вас прогуляться с ним немного по парку; я знаю, что он этого очень хочет, — сказала г-жа Флош, — но, может быть, у вас нет времени?..

Мальчик, сидевший с опущенной головой перед чашкой с молоком, оживился.

— Я как раз хотел предложить ему пройтись со

мной, я завершил свою работу и до отъезда буду свободен. Кстати, и дождь кончился… — ответил я и увел ребенка в парк.

На первом повороте аллеи мальчик, обеими руками державший мою руку, прижал ее к разгоряченному лицу:

— Вы же сказали, что останетесь на неделю…

— Да, малыш! Но я не могу остаться.

— Вам здесь скучно.

— Нет! Но мне нужно ехать.

— Куда вы поедете?

— В Париж. Я вернусь.

Как только у меня вылетело это слово, он взглянул на меня с недоверием.

— Это правда? Вы обещаете?

Он спрашивал с такой надеждой, что у меня не хватило смелости отступиться от обещания:

— Хочешь, я напишу это тебе на бумажке, которую ты оставишь у себя?

— Да! Да! — обрадовался он, крепко целуя мою руку и неистово подпрыгивая.

— А сейчас, знаешь, что мы сделаем? Вместо рыбалки нарвем цветов для тети и отнесем в ее спальню большой букет, чтобы сделать ей приятный сюрприз.

Я твердо решил не уезжать из Картфурша, не

побывав в комнате одной из старых дам; поскольку они без устали сновали из одного конца дома в другой, то моему бесцеремонному досмотру могли помешать; поэтому, чтобы оправдать свое посещение, я рассчитывал на ребенка; как бы неестественно ни выглядело мое вторжение, даже вместе с ним, в спальню его бабушки или тетки, букет цветов был тем предлогом, который в случае необходимости дал бы мне возможность достойно выйти из положения.

Однако нарвать цветы в Картфурше оказалось не так просто, как я думал. Грасьен столь ревностно следил за всем садом, что строго определял не только, какие цветы могли быть сорваны, но и то, как их нужно срывать. Для этого, кроме садовых ножниц или ножа, требовалось еще столько осторожности! Все это мне объяснил Казимир. Грасьен проводил нас до клумбы с прекрасными георгинами, с которой можно было бы собрать не один букет и никто бы этого не заметил.

— Над почкой, господин Казимир, сколько вам говорить! Срезайте всегда выше почки.

— В это время года это не имеет никакого значения! — воскликнул я, не сдержавшись.

Он ворчливо возразил, что «это всегда имеет значение» и что «для плохого дела не существует

сезона». Поучающий брюзга всегда внушает мне ужас.

Мальчик с цветами шел впереди. В гостиной я прихватил вазу…

В комнате царило религиозное умиротворение: ставни были закрыты; около постели, расположенной в алькове, перед небольшим распятием из слоновой кости и эбенового дерева стояла скамеечка для молитвы красного дерева, обтянутая бархатом гранатового цвета; рядом с распятием, наполовину закрывая его, на розовой ленточке, укрепленной под перекладиной креста, висела тонкая ветка самшита. Время располагало к молитве, я забыл, зачем пришел, забыл о своем суетном любопытстве, что привело меня сюда; я доверил Казимиру поставить цветы на комод и больше ни на что не смотрел в этой комнате. Здесь, в этой большой постели, думал я, вдали от веяний жизни угаснет скоро добрая старая Флош… О лодки, просящие бури! Как спокоен этот порт!

Казимир тем временем пытался сладить с цветами: тяжелые георгины взяли верх, и весь букет рассыпался по полу.

— Вы не поможете мне? — попросил он наконец.

Но пока я усердствовал вместо него, он отбежал в другой угол комнаты и открыл секретер.

— Я напишу записку, в которой вы обещаете опять приехать.

— Вот, вот, — с притворным согласием ответил я. — Только поторопись. Тетя будет очень сердиться, если увидит, как ты копаешься в ее секретере.

— О! Тетя занята на кухне, и, потом, она никогда меня не ругает.

Самым старательным почерком на страничке почтовой бумаги он написал записку.

— А теперь подпишите.

Я подошел.

— Но, Казимир, тебе не нужно было ставить свою подпись, — сказал я, смеясь. Чтобы придать больше веса этому обязательству, связать словом и себя, мальчик подумал, что будет неплохо, если и он для верности поставит свое имя на листке, где было написано:

Господин Лаказ обещает приехать в Картфурш в будущем году.
Казимир де Сент-Ореоль

На какое-то мгновение мое замечание и смех привели его в замешательство: ведь он сделал

это от всего сердца. Выходит, я не принимаю его всерьез? Он был готов расплакаться.

— Дай-ка я сяду на твое место и подпишу.

Он встал и, когда я подписал листок, запрыгал от радости и покрыл мою руку поцелуями. Я собирался уйти, но он удержал меня за рукав и склонился к секретеру.

— Я вам что-то покажу, — сказал он, нажимая на пружинку и выдвигая ящик, секрет которого знал; покопавшись в ленточках и старых квитанциях, он протянул мне миниатюру в хрупкой рамке: — Посмотрите.

Я подошел к окну.

Как называется сказка, в которой герой влюбляется в принцессу, увидев ее портрет? Должно быть, это тот самый портрет. Я не разбираюсь в живописи и мало интересуюсь этим искусством; вероятно, знаток нашел бы эту миниатюру неестественной: за приукрашенной грацией почти исчезал характер, но эта чистая грация была такой, что ее невозможно было забыть.

Повторяю, меня мало трогали достоинства или недостатки живописи: передо мной была молодая женщина, я видел лишь ее профиль с тяжелым черным завитком волос на виске, с томными, мечтательно грустными глазами, с

приоткрытым, как будто на вздохе, ртом, с нежной, хрупкой, как пестик цветка, шеей; это была женщина самой трепетной, самой ангельской красоты. Любуясь ею, я потерял чувство места и времени; Казимир, который отошел, чтобы поставить цветы, вернулся ко мне и, склонившись, сказал:

— Это мама… Она красивая, правда?!

Мне было неловко перед мальчиком из-за того, что я находил его мать такой красивой.

— А где она теперь, твоя мама?

— Я не знаю…

— Почему она не здесь?

— Ей здесь скучно.

— А твой папа?

Несколько смутившись, он опустил голову и, как бы стыдясь, ответил:

— Мой папа умер.

Мои вопросы были ему неприятны, но я решил продолжать.

— Мама иногда приезжает тебя навестить?

— Да, конечно! Часто! — ответил он уверенно, подняв вдруг голову. И чуть тише добавил: — Она приезжает поговорить с моей тетей.

— Но с тобой она тоже разговаривает?

— Ну, я! Я не умею с ней разговаривать… И по-

том, когда она приезжает, я уже сплю.

— Спишь?!

— Да, она приезжает ночью… — Поддавшись доверчивости (портрет я положил, и он держал меня за руку), он с нежностью и как бы по секрету сказал: — Прошлый раз она пришла ко мне и поцеловала, когда я лежал в постели.

— Значит, обычно она тебя не целует?

— О, нет! Целует… и часто.

— Тогда почему ты говоришь «прошлый раз»?

— Потому что она плакала.

— Она была с тетей?

— Нет. Она вошла одна, в темноте; она думала, что я сплю.

— Она тебя разбудила?

— Нет! Я не спал. Я ее ждал.

— Значит, ты знал, что она здесь?

Он молча опустил голову.

Я продолжал настаивать:

— Как ты узнал, что она здесь?

Мой вопрос остался без ответа. Я продолжал:

— А как ты мог увидеть в темноте, что она плачет?

— Я почувствовал.

— Ты не просил ее остаться?

— Нет, просил. Она наклонилась над кроватью,

и я трогал ее волосы…

— И что она сказала?

— Она засмеялась и сказала, что я порчу ей прическу и что ей нужно уходить.

— Значит, она не любит тебя?

— Нет, любит; она меня очень любит! — внезапно отпрянув от меня и еще больше покраснев, закричал он с таким волнением, что мне стало стыдно.

Внизу у лестницы раздался голос г-жи Флош:

— Казимир! Казимир! Пойди скажи господину Лаказу, что пора собираться. Коляска будет подана через полчаса.

Я бросился вниз по лестнице, догнал г-жу Флош в вестибюле.

— Госпожа Флош! Мог бы кто-нибудь отправить телеграмму? Я нашел выход из положения, который позволит мне, я думаю, провести еще несколько дней вместе с вами.

— Это невероятно! Сударь… Это невероятно! — повторяла она, взяв меня за руки и не в состоянии от волнения вымолвить ничего другого, а затем, подбежав к окну Флоша, позвала: — Мой добрый друг! Мой добрый друг! (Так она его называла.) Господин Лаказ хочет остаться.

Слабый голос звучал как надтреснутый коло-

кольчик, но все же достиг цели: я увидел, как раскрылось окно; г-н Флош на миг высунулся, а как только понял, ответил:

— Иду! Иду!

Казимир присоединился к нему; некоторое время ушло на благодарности и поздравления, которые посыпались со всех сторон, можно было подумать, что я — член семьи.

Не помню, что я сочинил, нечто невообразимое, и телеграмма ушла по вымышленному адресу.

— Боюсь, что во время обеда я была несколько настойчива, упрашивая вас остаться, — сказала г-жа Флош, — можно ли надеяться, что ваша задержка не отразится на делах в Париже?

— Надеюсь, нет, сударыня. Я попросил друга взять на себя заботу о моих делах.

Появилась г-жа Сент-Ореоль; она кружила по комнате, обмахиваясь веером, и кричала самым пронзительным образом:

— Ах, как он любезен! Тысяча благодарностей… Как он любезен!

Когда она ушла, спокойствие восстановилось.

Незадолго до ужина из Пон-л'Евека вернулся аббат; поскольку он не знал о моей попытке уехать, то и не мог удивиться тому, что я остался.

— Господин Лаказ, — обратился он ко мне до-

вольно приветливо, — я привез из Пон-л'Евека несколько газет, сам я небольшой любитель газетных сплетен, но подумал, что вы здесь лишены новостей и это могло бы заинтересовать вас.

Он пошарил в сутане.

— Видно, Грасьен отнес их в мою комнату вместе с сумкой. Подождите минутку, я схожу за ними.

— Не беспокойтесь, господин аббат, я сам поднимусь за ними.

Я проводил его до комнаты; он предложил мне войти. Пока он чистил щеткой сутану и готовился к ужину, я обратился к нему:

— Вы знали семью Сент-Ореолей до того, как приехали в Картфурш? — спросил я его после нескольких ничего не значащих фраз.

— Нет.

— А господина Флоша?

— Мой переход от службы в приходе к преподаванию произошел внезапно. Мой настоятель был знаком с господином Флошем и порекомендовал меня на это место; нет, до того как приехать сюда, я не знал ни своего ученика, ни его родственников.

— Значит, вы не знаете, какие обстоятельства заставили господина Флоша вдруг покинуть

Париж лет пятнадцать назад в момент, когда он должен был стать академиком Института Франции.

— Превратности судьбы, — пробурчал он.

— И что же? Господин и госпожа Флош способны жить за счет Сент-Ореолей!

— Да нет же, нет, — нетерпеливо ответил аббат, — наоборот, Сент-Ореоли разорены или почти разорены; Картфурш все-таки принадлежит им, а чета Флошей довольно состоятельна и живет здесь, чтобы помочь им: они покрывают расходы по содержанию дома, позволяя, таким образом, Сент-Ореолям сохранить Картфурш, который потом отойдет по наследству Казимиру; думаю, это все, на что он может надеяться…

— А невестка не имеет состояния?

— Какая невестка? Мать Казимира не невестка, она собственная дочь Сент-Ореолей.

— Но какова же тогда фамилия мальчика?

Он сделал вид, что не понял вопроса.

— Разве его зовут не Казимир де Сент-Ореоль?

— Вы так полагаете! — проговорил он с иронией. — Ну что ж! Надо думать, мадемуазель де Сент-Ореоль вышла замуж за какого-нибудь кузена с той же фамилией.

— Вполне возможно! — ответил я, начиная

понимать, однако колеблясь сделать окончательный вывод. Он закончил чистить сутану и, поставив ногу на подоконник, размашисто стряхнул носовым платком пыль с ботинок.

— А вы ее знаете… мадемуазель де Сент-Ореоль?

— Я видел ее два-три раза, но ее наезды сюда мимолетны.

— Где она живет?

Он встал, бросил в угол испачканный в пыли платок и со словами «Это что, допрос?..» направился в туалет, добавив: «Сейчас позвонят к ужину, а я не готов!»

Это прозвучало предложением оставить его в покое. За плотно сжатыми губами аббата хранилось многое, но сейчас они бы не выпустили ничего.

V

Четыре дня спустя я все еще находился в Картфурше, уже не так, как на третий день, мучимый тревогой, скорее усталый. Ничего нового из того, что происходило в течение дня, или из разговоров обитателей дома почерпнуть мне не удалось. Я уже ощущал, как угасает, лишенное пищи, мое любопытство. Видно, следует отказаться от мысли открыть что-либо еще, думал я, снова настраиваясь на отъезд; все вокруг отказываются просветить меня: аббат онемел с тех пор, как понял, какой интерес я проявляю к тому, что он знает; что касается Казимира, то чем больше он проявляет ко мне доверия, тем скованнее я чувствую себя перед ним; я не осмеливаюсь задавать ему вопросы, и потом, теперь мне известно все, что он мог бы мне рассказать, — ничего сверх того, что он сказал в тот день, когда показал портрет.

Впрочем, нет, мальчик простодушно назвал мне имя своей матери. Разумеется, с моей стороны было безумием до такой степени восторгаться ласкающим взор образом, по-видимому, более чем пятнадцатилетней давности; даже если Иза-

бель де Сент-Ореоль во время моего пребывания в Картфурше решилась бы на одно из своих мимолетных появлений, на которые, как я теперь знал, она была способна, я, конечно же, не смог, не осмелился бы оказаться на ее пути. Но пусть будет так! Мысль о ней, вдруг завладевшая мной, отогнала скуку; последние дни летели один за другим как на крыльях, и, к моему удивлению, прошла уже неделя. О том, чтобы задержаться у Флошей, речи не заходило, да и моя работа не давала мне для этого никакого повода, но и в это последнее утро, проходя по осеннему парку, ставшему каким-то более просторным и звонким, я, сначала вполголоса, а потом громким голосом звал: Изабель!.. Это имя, которое раньше мне не нравилось, теперь казалось изящным, исполненным скрытого очарования… Изабель де Сент-Ореоль! Изабель! За каждым поворотом аллеи мне виделось ее исчезающее белое платье; каждый луч света, проникающий сквозь трепещущую листву, напоминал мне ее взгляд, ее меланхоличную улыбку, а поскольку я еще не знал любви, мне представлялось, что я люблю ее, и от счастья быть влюбленным я с наслаждением вслушивался в себя.

Как красив был парк! С каким достоинством

предавался он грусти этой поры увядания! Меня пьянил запах мха и опавших листьев. Огромные побагровевшие каштаны, наполовину сбросившие листву, до земли склонили свои ветви; сквозь ливень алели кустарники; трава вокруг них казалась пронзительно зеленой; на садовой лужайке виднелись цветы безвременника; пониже, в ложбине, от них порозовела вся поляна, которая была видна из карьера, где я после дождя сидел на том самом камне, где мы с Казимиром сидели в первый день и где, быть может, некогда любила помечтать м-ль де Сент-Ореоль… Я воображал, как мы сидим рядом.

Часто меня сопровождал Казимир, но я предпочитал ходить один. Что ни день, дождь заставал меня врасплох; вымокший, я возвращался и ждал, пока просохнет одежда перед очагом на кухне. Ни кухарка, ни Грасьен не любили меня, и, как я ни старался, я не смог вырвать из них и двух слов. То же самое и с Терно: ни ласки, ни лакомства не помогли мне подружиться с ним — почти весь день проводивший лежа в широком, выложенном кирпичом очаге, он рычал при моем приближении. Казимир, которого я часто заставал там сидящим на краю очага с книгой в руках или за чисткой овощей, давал в таких

случаях собаке шлепка, огорчаясь тем, что она не принимает меня за друга. Я брал книгу из рук мальчика и громким голосом читал дальше; он прижимался ко мне, и я чувствовал, как он слушает всем своим телом.

В это утро ливень начался так внезапно и был настолько сильным, что я и подумать не мог вернуться в дом и укрылся в ближайшей постройке — ею оказался тот самый заброшенный летний домик, который вы могли видеть в другом конце парка у ограды; он пришел в ветхость однако его первая, довольно просторная комната сохраняла изящные лепные украшения, как подобает гостиной летнего павильона, правда, деревянные панели были тронуты червоточиной и крошились при малейшем прикосновении…

Когда я вошел, толкнув неплотно прикрытую дверь, несколько летучих мышей закружились по комнате и вылетели в окно с разбитыми стеклами. Я думал, что ливень быстро кончится, но, пока я ждал, небо окончательно помрачнело. «Да, застрял я надолго! Была половина одиннадцатого, обед подавали в двенадцать. Подожду до первого удара колокола, отсюда он наверняка слышен», — подумал я. У меня с собой было чем писать, и, поскольку я задерживался с ответом

на письма, мне захотелось доказать самому себе, что занять себя в течение часа не легче, чем в течение целого дня. Но мысленно я беспрестанно возвращался к своему тревожному чувству: о, если бы я знал, что однажды она появится здесь, я бы испепелил эти стены страстными признаниями… Я весь медленно пропитывался мучительной тоской, несущей слезы. Не найдя на что сесть, я рухнул в угол комнаты и разрыдался, как потерявшийся ребенок.

По правде сказать, слово «тоска» слишком слабое, чтобы выразить то неутолимое отчаяние, которому я был подвержен; оно охватывает вас невзначай, оно непредсказуемо: еще минуту назад все улыбалось вам и вы улыбались всему, и вдруг из глубины души пробился мрачный дым, разделяющий желание и жизнь, превращающийся в мертвенно-бледную завесу, отделяющую вас от остального мира, чьи тепло, любовь, краски, гармония доходят до вас отныне в преломленном, преобразованном в абстрактное состояние виде, — вы способны замечать их, но не испытываете волнения; отчаянное усилие, направленное на преодоление этой изолирующей душу завесы, может толкнуть вас на любое преступление, на убийство или самоубийство, довести до безу-

мия…

Так размышлял я под звуки дождя. В руке у меня был перочинный нож, который я раскрыл, чтобы заточить карандаш, но листок записной книжки оставался чистым; кончиком ножа я пытался вырезать ее имя на ближайшей от меня деревянной панели стены; я делал это без особого желания, просто знал, что в порыве чувства влюбленные обычно так делают; сопревшее дерево легко крошилось, и вместо буквы образовывалась дырка; вскоре я перестал стараться и от нечего делать, из дурацкой потребности разрушать начал кромсать ножом панель. Она была прямо под окном; обрамлявшая ее рамка отошла вверху, и она, как я заметил, нечаянно поддев ее ножом целиком вытаскивалась по боковым пазам.

Вскоре от панели ничего не осталось. Среди деревянных обломков на полу оказался конверт — покрытый пятнами, заплесневевший, он настолько по тону сливался со стеной, что сначала не привлек моего внимания: увидев его, я ничуть не удивился, я не увидел ничего необычного в том, что он оказался здесь, и настолько велика была овладевшая мной апатия, что я не сразу вскрыл его. Какой-то невзрачный, серый, измаранный конверт, мусор, да и только. Я взял его

в руки, от нечего делать машинально разорвал. В нем было два листка, исписанных неровным крупным почерком, с побледневшим, местами почти исчезнувшим текстом. Как попало это письмо сюда? Я взглянул на подпись и остолбенел: внизу стояло имя Изабель!

Она до такой степени занимала мои мысли… на какое-то мгновение у меня появилась иллюзия, что письмо адресовано мне:

Любовь моя, это мое последнее письмо… На скорую руку пишу тебе еще несколько слов, потому как знаю: сегодня вечером я больше ничего не смогу тебе сказать; рядом с тобой мои губы способны только на поцелуи. Быстро, пока я еще в состоянии говорить, слушай:

Одиннадцать — это слишком рано, лучше в полночь. Ты знаешь, что я умираю от нетерпения и что ожидание изводит меня, но для того, чтобы я бодрствовала для тебя, нужно, чтобы весь дом спал. Да, в полночь, не раньше. Приходи встретить меня ко входу в кухню (сначала вдоль огорода — там темно, а дальше будут кусты) и дожидайся меня там, а не возле ограды: я не боюсь идти одна по парку, но сумка, куда я положу немного одежды, будет очень тяжелой, и я не смогу ее долго нести.

Ты прав — будет лучше, если коляску оставить в конце улочки, где мы ее без труда найдем. Так будет надежнее еще и потому, что собаки с фермы могут залаять и перебудить всех.

Нет, друг мой, ты знаешь, у нас не было другой возможности увидеться еще раз и обсудить все это. Знаешь ты и то, что я живу здесь пленницей, и мои старики запрещают мне выходить, так же как тебе — приходить к нам. Из какой же темницы бегу я!.. Да, я обязательно возьму туфли на смену, которые переодену в коляске, потому что трава внизу парка мокрая.

Как ты можешь спрашивать, решилась ли я и готова ли? Любовь моя, вот уже несколько месяцев, как я начала готовиться, и давно готова! Долгие годы живу я ожиданием этого мига! Ты спрашиваешь, не буду ли я сожалеть. Значит, ты не понял, что я возненавидела всех своих близких, всех, кто удерживает меня здесь. Неужто нежная и робкая Иза способна так говорить? Друг мой, любимый мой, что вы сделали со мной?..

Я задыхаюсь здесь; мои мысли далеко, в ином открывающемся мире... Меня мучит жажда...

Чуть было не забыла сказать тебе, что не смогла взять сапфиры, потому что тетка не оставляет больше ключи от ларца в своей

спальне, а все другие, которые я перепробовала, к нему не подходят… Не ругай меня: у меня с собой мамин браслет, цепь с эмалью и два кольца — они, правда, не представляют большой ценности, поскольку она их не носит, но цепь, по-моему, очень красива. Что касается денег… я сделаю все возможное; но будет неплохо, если и ты тоже что-то найдешь.

О тебе все мои молитвы, до скорого.

Твоя Иза.

22 октября — день моего рождения (мне двадцать два года) и канун моего побега.

Я с ужасом подумал о тех четырех-пяти страницах, в которые, если бы мне пришлось стряпать из этого роман, я раздул бы это письмо: размышления над прочитанным, недоумение, мучительная растерянность… По правде говоря, я, как после сильнейшего потрясения, впал в полулетаргическое состояние. Когда наконец до моего слуха сквозь невнятный шум бушующей во мне крови донесся повторившийся звон колокола к обеду, я подумал: «Это второй колокол, как же я не услышал первого?» Я посмотрел на часы: полдень! Выскочив из павильона и прижимая к сердцу пылкое письмо, я с непокрытой головой бросился под проливной дождь.

Флоши уже начали за меня беспокоиться.

— Да ведь вы промокли! Совершенно промокли, сударь! — услышал я, когда прибежал, совсем запыхавшись. Они настояли на том, чтобы не садиться за стол до тех пор, пока я не переоденусь, и, как только я спустился к обеду, меня начали с участием расспрашивать; я рассказал, что вынужден был оставаться в павильоне, напрасно ожидая, когда стихнет ливень, после чего услышал извинения за плохую погоду, за отвратительное состояние аллей, за то, что второй раз позвонили к обеду слишком рано, а первый — не так громко, как обычно… М-ль Вердюр принесла шаль, которой меня умоляли укрыться, потому что я вспотел и мог простудиться. Между тем аббат наблюдал за мной, не проронив ни слова, до гримасы сжав губы; мои нервы были настолько взвинчены, что под его испытующим взглядом я чувствовал, как краснею и смущаюсь, словно нашаливший ребенок. А надо бы, думал я, задобрить его, потому что отныне только от него можно что-либо узнать, он один способен пролить свет на эту темную историю, по следам которой меня ведет уже скорее любовь, чем любопытство.

После кофе я предложил аббату сигарету, которая послужила предлогом для разговора; чтобы

не стеснять баронессу, мы вышли покурить в оранжерею.

— Мне казалось, что вы останетесь здесь не больше чем на неделю, — начал он с иронией в голосе.

— Я не учел любезность наших хозяев.

— А как документы господина Флоша?..

— Уже отработаны… Но я нашел, чем себя занять дальше.

Я ждал вопроса, но он не последовал.

— Вы должны знать всю подноготную этого имения, — продолжал я нетерпеливо.

Он широко раскрыл глаза и наморщил лоб, придав своему лицу простодушно-тупое выражение.

— Почему госпожа, или мадемуазель де Сент-Ореоль, мать вашего ученика, не живет здесь, с нами, чтобы заботиться о ребенке-калеке и о престарелых родителях?

Чтобы удивление его выглядело более убедительным, он бросил сигарету и вопрошающе воздел руки.

— Видимо, род занятий вынуждает ее пребывать вдали… — процедил он сквозь зубы. — Но что за коварный вопрос?

— Не желаете ли еще один, более точный: что сделала госпожа, или мадемуазель де Сент-Оре-

оль, мать вашего подопечного, однажды ночью, 22 октября, когда за ней должен был прийти возлюбленный, чтобы похитить ее?

— Так-так! Господин романист, — произнес он, уперев руки в бока (из тщеславия, по слабости я пошел с ним перед этим на такого рода откровенность, которую должна внушать лишь глубокая симпатия, и с тех пор, как он узнал о моих намерениях, он стал подтрунивать надо мной таким образом, что мне это уже стало невыносимо), — не слишком ли вы торопитесь?.. И не могу ли я в свою очередь спросить вас, откуда вы так хорошо информированы?

— Письмо, адресованное в тот день Изабеллой де Сент-Ореоль своему возлюбленному, получил не он, а я.

Здесь уже, никуда не денешься, со мной приходилось считаться; заметив пятнышко на рукаве сутаны, аббат начал скрести его кончиком ногтя; он прошел на примирение.

— Я восхищаюсь тем, что… сто`ит человеку начать считать себя прирожденным писателем, как он присваивает себе все права. Другой дважды подумал бы, прежде чем прочесть письмо, которое адресовано не ему.

— Я думаю, господин аббат, что он скорее не

прочел бы его вовсе.

Я пристально смотрел на него, но он продолжал скрести сутану, не поднимая глаз.

— Однако не думаю, что вам дали его почитать.

— Это письмо попало мне в руки случайно; на старом, грязном, наполовину разорванном конверте не было и следов адреса; открыв его, я увидел письмо м-ль де Сент-Ореоль, но кому оно было адресовано?.. Так помогите мне, господин аббат: кто был четырнадцать лет назад возлюбленным мадемуазель де Сент-Ореоль?

Аббат встал и мелкими шажками начал ходить взад-вперед, опустив голову и заложив руки за спину; проходя за мои стулом, он остановился, и я вдруг почувствовал, как его руки легли мне на плечи:

— Покажите мне это письмо.

— А вы никому не скажете?

Я почувствовал, как его руки дрожат от нетерпения.

— Не ставьте условий, прошу вас! Просто покажите мне это письмо.

— Позвольте я схожу за ним, — сказал я, пытаясь освободиться.

— Оно у вас здесь, в кармане.

Его взгляд был направлен именно туда, куда следовало, словно моя одежда была прозрачной. Но не будет же он меня обыскивать!..

Я был в невыгодном для обороны положении, да и попробуй защититься от такого здоровяка, явно более сильного, чем я. Но как потом заставить его говорить? Я повернул голову и почти столкнулся с его отекшим, налитым кровью лицом, с двумя вздувшимися вдруг крупными венами на лбу и отвратительными мешками под глазами. Тогда я из опасения все испортить заставил себя засмеяться:

— Черт возьми, аббат, признайтесь, что и вам знакомо любопытство!

Он отпустил меня, я тут же встал и сделал вид, что ухожу.

— Если бы не ваши разбойничьи выходки, я бы дав-но его показал, — сказал я и, взяв его за руку, добавил: — Но давайте подойдем поближе к гостиной, чтобы я мог позвать на помощь.

Большим усилием воли я сохранял веселый тон, но сердце у меня бешено стучало.

— Держите, — вытаскивая письмо из кармана, проговорил я, — но читайте его при мне: я хочу видеть, как аббат читает любовное послание.

Но он вновь овладел собой, и волнение выдавал

только небольшой мускул, чуть подергивающийся на щеке. Он прочел, понюхал бумагу, шмыгнул носом, сурово нахмурив брови так, словно его глаза были возмущены похотью носа, и затем, сложив и вернув мне письмо, произнес несколько торжественным тоном:

— В тот день, 22 октября, от несчастного случая на охоте умер виконт Блез де Гонфревийль.

— От ваших слов меня бросает в дрожь! (Мое воображение тотчас нарисовало страшную драму.) Знайте, я нашел это письмо за деревянной панелью летнего павильона, куда он, вероятно, должен был за ним прийти.

Тогда аббат рассказал мне о том, что старший сын Гонфревийлей, владение которых граничит с имение Сент-Ореолей, был найден без признаков жизни перед оградой, через которую он, по всей видимости, собирался перелезть, когда от неловкого движения ружье выстрелило. При этом позже в стволе ружья не было обнаружено гильзы. Никто так и не смог дать этому объяснения; молодой человек вышел из дома один, никто его не видел, но на следующий день у павильона заметили собаку из Картфурша, лизавшую лужицу крови.

— Меня тогда еще не было в Картфурше, — про-

должал аббат, — но, по сведениям, которые мне удалось собрать, мне кажется очевидным, что преступление совершил Грасьен, который, видимо, стал свидетелем отношений своей хозяйки с виконтом и, может быть, раскрыл план побега (план, о котором я сам не знал до того, как прочел письмо); это старый, тупой, при необходимости даже упрямый слуга, который считает, что для защиты собственности своих хозяев не должен останавливаться ни перед чем.

— Как получилось, что его не арестовали?

— Никто, не был заинтересован в его наказании, и обе семьи, и Гонфревийлей, и Сент-Ореолей, одинаково опасались шума вокруг этой неприятной истории, поскольку несколько месяцев спустя мадемуазель де Сент-Ореоль разрешилась несчастным ребенком. Увечье Казимира приписывают тому, что его мать принимала меры, чтобы скрыть беременность; но Бог учит нас, что часто за грехи отцов страдают дети. Пойдемте со мной к павильону — мне любопытно посмотреть место, где вы нашли письмо.

Небо прояснилось, и мы отправились к павильону.

Все было хорошо, пока мы шли к домику, аббат держал меня под руку, мы шагали в ногу и

мирно беседовали. Но на обратном пути все испортилось. Разумеется, мы оба были несколько возбуждены этой странной историей, но каждый по-своему: я, обезоруженный улыбчивой готовностью, с которой в конечном счете аббат стал посвящать меня в тайны, перестал замечать его сутану, забыл о сдержанности и позволил себе говорить с ним, как с обычным мужчиной. Вот как началась, мне кажется, наша ссора.

— Кто нам расскажет, — говорил я, — что делала в эту ночь мадемуазель де Сент-Ореоль? О смерти графа она узнала, очевидно, лишь на следующий день! Ждала ли она его в парке и до каких пор? О чем она думала, тщетно ожидая его прихода?

Аббат молчал, никак не реагируя на мой психологический настрой; я же продолжал:

— Представьте себе это нежное создание, девушку с сердцем, полным любви и тоски, потерявшую голову: страстная Изабель…

— Бесстыдная Изабель, — процедил аббат вполголоса.

Я продолжал, как будто ничего не слышал, но уже приготовился к отпору на следующий выпад:

— Подумайте, сколько потребовалось надежды

и отчаяния, чтобы…

— К чему задумываться обо всем этом? — прервал он меня сухо. — Нам не дано знать о событиях больше того, в чем мы можем получить подтверждение.

— Но мы воспринимаем их по-разному, в зависимости от того, много или мало мы о них знаем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что поверхностное представление о событиях не всегда совпадает и часто даже совсем не совпадает с тем, что мы думаем о них потом, при более глубоком знакомстве, что вывод, который можно из этого извлечь, будет другим, что следует сначала все тщательно изучить, прежде чем делать заключение…

— Мой юный друг, будьте осторожны: критический ум, склонный к анализу и любопытству, — это зародыш бунтарства. Великий человек, которого вы избрали в качестве образца, мог бы вас просветить в том, что…

— Вы имеете в виду того, о ком я пишу диссертацию?..

— Экий вы задира! С таким вот настроем и…

— Ну подождите, дорогой господин аббат, хотел бы я знать, не то же ли самое любопытство заставило вас пойти со мной в такое время копаться

в щепках, не оно ли побудило вас терпеливо собирать об этой истории все, что вы мне сообщили?..

Он зашагал быстрее, говорил отрывисто и нетерпеливо бил тростью о землю.

— Не стараясь, как вы, искать объяснений для объяснений, когда я узнал о случившемся, я принял это как факт и на этом остановился. Печальные события, о которых я вам поведал, могли бы мне, если бы в этом еще была потребность, рассказать о мерзости плотского греха; они служат приговором разводу и всему, что человек изобрел, чтобы попытаться исправить последствия своих ошибок. И этого, думаю, достаточно!

— А мне как раз этого недостаточно. Сам факт мне ни о чем не говорит, если я не узнаю его причину. Знать тайную жизнь Изабель де Сент-Ореоль, определить, какими благоуханными, волнующими и туманными дорогами…

— Молодой человек, остерегитесь! Вы начинаете влюбляться в нее!..

— Я ждал, что вы это скажете! И это потому, что я не довольствуюсь видимостью, не полагаюсь ни на слова, ни на жесты… Вы уверены, что не ошибаетесь в суждении об этой женщине?

— Она — потаскуха!

Мое лицо вспыхнуло от возмущения, которое я с большим трудом сдерживал.

— Господин аббат, странно слышать из ваших уст такое. Мне кажется, что Христос учит нас скорее прощать, чем жестоко наказывать.

— От снисхождения до попустительства один шаг.

— Он не осудил бы так, как вы.

— Ну, во-первых, вы этого не знаете. И потом, тот, кто безгрешен, может позволить себе отнестись более снисходительно к грехам других, чем тот… я хочу сказать, что не нам, грешникам, дано искать более или менее обоснованное оправдание греха, нам следует просто с отвращением отвернуться от него.

— Сначала основательно принюхавшись, как вы поступили с письмом…

— Вы — наглец, — ответил он и, резко свернув с аллеи, быстро зашагал по боковой дорожке, выбрасывая, как парфянские стрелы[15], ядовитые фразы, из которых я мог различить только отдельные слова: современное образование… сорбоннец… безбожник!..

За ужином он сидел с хмурым видом, но, встав

---

[15] Примечания: 15

Парфяне (иранское племя сер. I в. до н. э.), делая вид, что отступают, внезапно стреляли через плечо, поражая противника.

из-за стола, подошел ко мне с улыбкой и протянул руку, которую я пожал тоже с улыбкой.

Вечер показался мне мрачнее обычного. Барон тихо посапывал у огня; г-н Флош и аббат молча переставляли свои пешки. Краем глаза я наблюдал за Казимиром, обхватившим голову руками, ронявшим слюни на книгу и смахивавшим их время от времени носовым платком. Что до меня, то партии в карты я уделял ровно столько внимания, сколько требовалось, чтобы не дать проиграть моей партнерше слишком позорно; г-жа Флош обратила внимание на то, что я томлюсь от скуки, и, забеспокоившись, изо всех сил старалась оживить партию:

— Эй, Олимпия! Ваш ход. Вы спите?

Нет, то был не сон, но смерть, мрачный холод которой уже леденил кровь обитателей дома; меня самого охватила мучительная тревога, обуял какой-то ужас. «О весна! О вольный ветер, сладостные благоухания простора, здесь вам никогда не быть!» — говорил я себе и думал об Изабель. «Из какой могилы сумели вы высвободиться, — обращался я мысленно к ней, — и ради какой жизни? В воображении — здесь, рядом, в спокойном свете лампы — я видел ваши нежные пальцы, поддерживающие бледное чело, локон

темных волос, ласкающий вашу руку. Как далеко устремлен ваш взор! Жалобу какой несказанной боли вашей души и тела передает ваш вздох, который они не слышат?» Помимо моей воли у меня самого вырвался громкий вздох, похожий то ли на звук зевоты, то ли на рыданье, что заставило госпожу де Сент-Ореоль, бросившую свой последний козырь, воскликнуть:

— Думаю, господину Лаказу очень хочется спать!

Бедная женщина!

В эту ночь мне приснился кошмарный сон, — сон, который начался как продолжение реальности.

Вечер как будто еще не кончился, я находился в гостиной с моими хозяевами, но к ним подходили люди, число которых беспрестанно росло, хотя я не видел, чтобы это были новые лица; я узнал Казимира, сидящего за столом и раскладывающего пасьянс, над которым склонилось три или четыре человека. Говорили шепотом, я не мог расслышать ни одной фразы, однако понимал, что каждый сообщал своему соседу нечто из ряда вон выходящее, от чего тот приходил в изумление. Все внимание было направлено в одну точку, туда, где был Казимир и где я вдруг

узнал (как я не разглядел ее раньше) сидевшую за столом Изабель де Сент-Ореоль. Среди людей в темном она одна была одета во все белое. Сперва она показалась мне очаровательной, похожей на изображение на медальоне, но потом меня поразили неподвижность ее лица, застывший взгляд, и я вдруг понял, о чем шептались окружающие: это была не настоящая Изабель, а похожая на нее кукла, которую посадили на место живой Изабель. Эта кукла казалась мне теперь отвратительной; мне было страшно неловко из-за ее до глупости претенциозного вида; можно было подумать, что она неподвижна, но стоило попристальней вглядеться, и становилось заметно, как она боком, медленно наклоняется, наклоняется… она бы упала, если бы не бросившаяся из другого конца гостиной м-ль Олимпия, которая, низко наклонившись, приподняла чехол кресла и завела пружину какого-то механизма, со странным скрежетом водрузившего манекен на место и придавшего его рукам гротескные движения автомата. Потом все встали, поскольку наступил комендантский час, и оставили искусственную Изабель одну; каждый уходящий приветствовал ее на турецкий манер, за исключением барона, который подошел к ней непочтительно, сорвал

с нее парик и, смеясь, дважды громко чмокнул ее в темя. Как только все общество покинуло гостиную, толпясь вышло из дома и наступила темнота, я увидел, да, увидел в темноте, как кукла побледнела, вздрогнула и ожила. Она медленно встала, и это была сама м-ль де Сент-Ореоль: бесшумно скользя, она приближалась ко мне; я вдруг почувствовал вокруг шеи ее теплые руки и проснулся, ощущая ее влажное дыхание и слыша ее слова:

— Для них меня нет, но для тебя я здесь.

Я не суеверен, не труслив и зажег свечу только для того, чтобы прогнать с глаз долой и из сознания этот навязчивый образ; но это было нелегко. Помимо воли я прислушивался к любому шороху. Если бы она оказалась здесь! Напрасно я пытался читать, я так и не смог сосредоточить внимание на чем-либо другом и заснул под утро с мыслью о ней.

VI

Вот так завершались взлеты моего влюбленного любопытства. Меж тем я уже не мог дальше откладывать свой отъезд, о котором вновь объявил хозяевам, и этот день был последним днем, проведенным мной в Картфурше. Этот день…

Мы обедаем. Дельфина, жена Грасьена, должна вот-вот принести почту, которую она получает от почтальона и передает нам обычно незадолго до десерта. Как я вам уже говорил, она вручает ее г-же Флош, а та раздает письма и протягивает «Журнал де Деба» г-ну Флошу, который исчезает за газетой до конца обеда. В этот раз вишневого цвета конверт, застрявший краем в обертке газеты, выпал из пачки и оказался на столе рядом с тарелкой г-жи Флош; я успел узнать крупный размашистый почерк, который накануне уже заставил сильно биться мое сердце; г-жа Флош, тоже, похоже, узнала его: поспешным движением она хочет накрыть конверт тарелкой, но тарелка ударяется о стакан с вином, стакан разбивается, и вино разливается на скатерть; поднимается большой шум, и добрая г-жа Флош пользуется всеобщим замешательством, чтобы припрятать

письмо в митенку.

— Хотела задавить паука, — неловко, как оправдывающийся ребенок, говорит она. (Пауками она называла все: и пауков, и мокриц, и уховерток, выползающих иногда из корзины с фруктами.)

— Могу поспорить, что вы промахнулись, — желчным тоном говорит г-жа де Сент-Ореоль, вставая и бросая развернутую салфетку на стол. — Придите потом ко мне в гостиную, сестра. Господа меня извинят: у меня желудочные колики.

Обед завершается в молчании. Г-н Флош ничего не заметил, г-н де Сент-Ореоль ничего не понял; м-ль Вердюр и аббат так и сидели, уставившись в тарелки, а Казимир — если бы он не сморкался, то, я уверен, мы бы увидели его слезы…

Погода вполне теплая. Кофе подали на небольшую террасу перед входом в гостиную. Кофе пьем только мы трое: я, м-ль Вердюр и аббат; из гостиной, где закрылись две сестры, до нас доносятся громкие голоса, затем все стихает — они поднялись к себе.

Если я правильно помню, тогда-то и разразилась ссора из-за названия «бук петрушколистный»

М-ль Вердюр и аббат жили в состоянии войны. Их битвы были не особенно серьезны, аббат

над ними только потешался, однако ничего так сильно не задевало м-ль Вердюр, как его насмешливый тон, лишавший ее защиты и позволяющий аббату бить точно в цель. Не проходило и дня, чтобы между ними не произошло стычки, которые аббат окрестил «Castille»[16]. Он утверждал, что старой деве это необходимо для здоровья, и выводил ее из себя, как выводят погулять собаку. Возможно, он делал это без злобы, но, несомненно, с хитростью и довольно вызывающе. Это занимало их обоих и скрашивало им день.

Небольшой инцидент во время десерта лишил всех нас спокойствия. Я искал, чем отвлечься, и, пока аббат разливал кофе, нащупал в кармане пиджака ветку с листьями странного дерева, росшего у ограды около входа в парк, которую я сорвал еще утром, собираясь спросить название у м-ль Вердюр: не то чтобы мне это было очень уж интересно, просто я хотел прибегнуть к ее познаниям.

Она занималась ботаникой. Иногда она ходила собирать травы, повесив на свои крепкие плечи зеленый короб, который придавал ей причудливый вид маркитантки; со своим гербарием и

---

[16] Примечания: 16
Дискуссия, стычка, перебранка *(исп.)*.

«лупой на штативе» она проводила свободное от домашних дел время… Итак, м-ль Олимпия взяла в руки ветку и без колебаний заявила:

— Это — бук петрушколистный.

— Любопытное название! — осмелился я заметить. — Однако эти копьевидные листья не имеют ничего общего с листьями…

Аббат уже многозначительно улыбался:

— Так в Картфурше называют «Fagus persicifolia», — как бы невзначай промолвил он.

М-ль Вердюр подскочила:

— Вот уж не знала, что вы так сильны в ботанике.

— Нет, но я разбираюсь немного в латыни. — А затем, наклонившись ко мне: — Дамы невольно впадают в ошибку из-за каламбура. Persicus, уважаемая сударыня, persicus означает «персик», а не «петрушка». Fagus persicifolia, на листья которого господин Лаказ обратил внимание, так точно назвав их копьевидными, fagus persecefolia — это «бук персиколистный».

М-ль Олимпия побагровела: подчеркнутое спокойствие, с которым говорил аббат, добило ее окончательно.

— Истинная ботаника не занимается отклонениями и случаями уродства, — не удостоив

взглядом аббата, нашлась она в ответ и, залпом выпив свой кофе, исчезла.

Аббат поджал губы, сложив их в куриную гузку, и издавал попукивающие звуки. Я едва сдерживал смех.

— Не слишком ли зло с вашей стороны, господи аббат?

— Да нет! Нет... Этой доброй девице не хватает упражнений, она нуждается в том, чтобы ее взбадривали. Поверьте, она очень воинственна; и, если в течение трех дней я бездействую, она сама ввязывается в драку. В Картфурше не так уж много развлечений!..

Одновременно, не сговариваясь, мы оба подумали о письме.

— Вы узнали почерк? — отважился я наконец спросить.

Он пожал плечами:

— Такие письма приходят в Картфурш, одно — чуть раньше, другое — чуть позже, дважды в год после получения арендной платы в них она сообщает г-же Флош о своем приезде.

— Она приедет?! — вскрикнул я.

— Успокойтесь! Успокойтесь, вы ее все равно не увидите.

— Почему же я не смогу ее увидеть?

— Потому что она появляется среди ночи, почти тут же исчезает, избегая посторонних взглядов, и потом… остерегайтесь Грасьена.

Он посмотрел на меня испытующе — я не шелохнулся.

— Вы не хотите принять во внимание ничего из того, что я сказал, — продолжал он с раздражением, — это видно по вашему лицу, но я вас предупредил. Что ж, поступайте как знаете! Завтра утром расскажете.

Он поднялся и покинул меня, не дав мне разобраться, пытался ли он сдержать мое любопытство или, наоборот, забавлялся тем, что подстегивал его.

До самого вечера мое сознание (я отказываюсь описывать царивший в нем беспорядок) было полностью занято ожиданием. Мог ли я любить Изабель? Конечно, нет, но, охваченный таким сильным, тронувшим мое сердце возбуждением, как мог я не ошибиться, узнав в своем любопытстве весь трепетный пыл, весь порыв, все страстное нетерпение, присущие любви? Последние слова аббата только еще больше возбудили меня; да и что мог сделать Грасьен? Я прошел бы сквозь огонь и воду!

Не было сомнений — в доме шли приготовле-

ния к чему-то необычному. В этот вечер никто не предложил партию в карты. Тут же после ужина г-жа де Сент-Ореоль пожаловалась на то, что она называла «гастеритом», и без всяких церемоний удалилась, пока м-ль Вердюр готовила ей настойку. Чуть позже г-жа Флош отправила спать Казимира, а как только мальчик ушел, обратилась ко мне:

— Мне кажется, у господина Лаказа большое желание сделать то же самое, — похоже, он падает от усталости. — Не успел я достаточно быстро отреагировать на такое приглашение, как она продолжала: — Думаю, сегодня никто из нас не станет засиживаться допоздна.

М-ль Вердюр встала, чтобы зажечь свечи; мы с аббатом последовали за ней; я увидел, как г-жа Флош наклонилась к дремавшему в кресле у огня мужу; тот тут же встал, затем под руку увлек барона, который не сопротивлялся, словно понимал, что это означает. На лестничной площадке второго этажа все со свечами в руках стали расходиться по своим комнатам.

— Спокойной ночи! Спите спокойно, — сказал мне аббат с двусмысленной улыбкой.

Я прикрыл дверь своей комнаты и стал ждать. Было еще только девять часов. Я слышал, как

поднялась по лестнице г-жа Флош, затем м-ль Вердюр. Между г-жой Флош и г-жой де Сент-Ореоль, вышедшей из своей комнаты, снова вспыхнула ссора, но слишком далеко от меня, чтобы можно было разобрать слова; потом двери захлопнулись, и наступила тишина.

Я прилег на постель, чтобы обдумать все. Я размышлял над ироническим пожеланием спокойной ночи, которым аббат сопроводил свое рукопожатие; хотел бы я знать, готовится ли он ко сну или отдается во власть того самого любопытства, которое, как он мне доказывал, он не испытывает?.. Но его спальня располагалась в другом конце дома, симметрично моей, и никакого более или менее веского повода оказаться там у меня не было. Однако интересно, кто из нас двоих был бы больше сконфужен, застань мы друг друга в коридоре?.. За этими рассуждениями я не заметил, как со мной случилось нечто непонятное, абсурдное, поразительное: я заснул.

Да, видимо, не столько от перевозбуждения, сколько от изнурительного ожидания и, кроме того, от усталости из-за бессонной предыдущей ночи.

Меня разбудил треск догоревшей свечи или, может быть, смутно услышанный сквозь сон

глухой звук сотрясающегося пола — никаких сомнений: кто-то прошел по коридору. Я приподнялся на постели. В этот момент свеча погасла, и я в полном замешательстве остался в темноте. У меня было только несколько спичек; я зажег одну из них, чтобы посмотреть на часы: около половины двенадцатого; я прислушался — ни звука. На ощупь подойдя к двери, я открыл ее.

Нет, мое сердце не билось учащенно, я ощутил в себе легкость и силу, настроен был спокойно и решительно, мозг работал ясно.

В другом конце коридора из большого окна лился не ровный, как в тихие ночи, а мерцающий и временами угасающий свет; моросило, луна пряталась за гонимыми ветром, плотными тучами. Я разулся и передвигался бесшумно… Мне было достаточно хорошо видно, чтобы благополучно добраться до наблюдательного пункта, который я себе облюбовал рядом с комнатой г-жи Флош, где, по всей видимости, и проходила тайная встреча; это была небольшая свободная комната, которую раньше занимал г-н Флош, теперь соседству жены он предпочитал соседство своих книг; дверь, ведущая в соседнюю комнату, тщательно закрытая на засов, несколько искривилась, и я удостоверился, что прямо под наличником

есть щель, через которую все видно — для этого мне нужно было взобраться на комод, который я и пододвинул.

Через эту щель проникало немного света, который отражался от белого потолка; он позволял мне перемещаться по комнате. Я нашел свой наблюдательный пункт таким, каким оставил его днем. Я взобрался на комод, заглянул в соседнюю комнату…

Изабель де Сент-Ореоль была там.

Она была передо мной, в нескольких шагах… Она сидела на одном из тех неуклюжих низких сидений без спинки, которые называют, кажется, «пуфами», — его присутствие в этой старинной спальне несколько удивляло, и я не помню, чтобы я его здесь видел, когда приносил цветы. Г-жа Флош расположилась в большом штофном кресле; стоявшая на столике около кресла лампа мягко освещала их обеих. Изабель сидела ко мне спиной, сильно подавшись вперед, почти касаясь коленей своей старой тетки, поэтому сначала я не видел ее лица, но потом она подняла голову. Вопреки моим ожиданиям она не очень изменилась, но вместе с тем я с трудом узнавал в ней девушку, изображенную на медальоне: она была не менее красивой, конечно,

но это была совсем другая красота, более земная — ангельская чистота миниатюры уступила место страстной томности и какому-то пренебрежению, наложившему свою печать на уголки губ, которые художник в свое время изобразил приоткрытыми. На ней был большой дорожный плащ, своего рода waterproof[17], но из обычной ткани, одна его пола была приподнята, и под ней виднелась черная юбка из блестящей тафты, на фоне которой опущенная рука со скомканным носовым платком казалась необыкновенно бледной и хрупкой. На голове — маленькая фетровая шляпка с перьями и завязками из тафты; локон очень черных волос выбивался из-под завязки и, когда она наклонялась, спадал ей на висок. Можно было подумать, что она в трауре, если бы не зеленая лента, повязанная на шее. Ни она, ни г-жа Флош не говорили ни слова, но правой рукой Изабель гладила руку г-жи Флош, подносила ее к губам и покрывала поцелуями.

Вот она встряхнула головой, отчего завитки волос взметнулись слева направо, и, словно продолжая уже начатое, произнесла:

— Все, я испробовала все, клянусь тебе…

---

[17] Примечания: 17

Waterproof — от англ. «воднонепроницаемый». Устаревшее название для непромокаемого женского пальто или плаща.

— Не клянитесь, дитя мое, я и так вам верю, — перебила старушка, приложив ей руку ко лбу. Обе они говорили очень тихо, словно боялись быть услышанными.

Г-жа Флош выпрямилась, осторожно отстранила племянницу и, оперевшись о подлокотники кресла, встала. М-ль де Сент-Ореоль тоже встала и, в то время как тетка направилась к секретеру, откуда позавчера Казимир вытащил медальон, сделала несколько шагов в том же направлении, остановилась перед столиком, подпирающим большое зеркало, и, пока старушка копалась в ящике, она по изумрудному блеску заметила надетую на шею ленту, поспешно развязала ее и намотала на палец... Прежде чем г-жа Флош обернулась, слишком яркая лента исчезла, Изабель, скрестив перед собой опущенные руки, придала лицу задумчивое выражение, а взгляду — обреченность...

Бедная старая Флош еще держала в одной руке связку ключей, а в другой — тоненькую пачку купюр, которую она извлекла из ящика, и собиралась снова сесть в кресло, когда дверь (напротив той, за которой был я) вдруг широко распахнулась, и я чуть было не вскрикнул от изумления. Появилась баронесса, чопорная, нарумяненная,

в пышном парадном наряде с декольте и гигантской метелкой из перьев марабу на голове. Она потрясала, насколько хватало сил, большим канделябром, все шесть зажженных свечей которого заливали ее мерцающим светом, роняя восковые слезы на пол. Видимо теряя остатки сил, она сначала подбежала к столику перед зеркалом, чтобы поставить канделябр, а затем в несколько небольших прыжков вернулась на прежнее место в дверном проеме и оттуда снова размеренным шагом двинулась на середину комнаты, торжественно протянув далеко перед собой унизанную огромными кольцами руку. Остановившись, она, по-прежнему скованная в движениях, всем телом повернулась в сторону дочери и пронзительным голосом, способным проникать сквозь стены, воскликнула:

— Прочь от меня, неблагодарная дочь! Ваши слезы больше не вызовут во мне жалости, а ваши мольбы навсегда потеряли дорогу к моему сердцу.

Все это было выложено громким монотонным фальцетом. Изабель бросилась к ногам матери, схватила и потянула к себе полу юбки, из-под которой показались две смешные, маленькие, из белого сатина туфельки, касаясь при этом

лбом пола в том месте, где был разостлан ковер. Г-жа де Сент-Ореоль ни на миг не опустила глаз и продолжала смотреть прямо перед собой острым и холодным, как и ее голос, взглядом:

— Мало было вам принести в дом своих родителей беду, вы желаете и дальше продолжать…

В этот момент ее голос осекся, и тогда, повернувшись к г-же Флош, которая, вся дрожа, забилась в свое кресло, она проговорила:

— А что до вас, сестра, если вы еще раз проявите слабость… — И снова повторив: — Если вы проявите преступную слабость и опять поддадитесь ее мольбам, хоть за поцелуй, хоть за грош, я покину вас, оставлю на божью милость свои пенаты и вы больше никогда не увидите меня. Это так же верно, как то, что я ваша старшая сестра.

Я как будто присутствовал на спектакле. Но они-то не знали, что за ними наблюдают, так для кого же эти две марионетки разыгрывали трагедию? Слова и жесты дочери казались мне столь же чрезмерно наигранными и притворными, как и у ее матери… Г-жа де Сент-Ореоль стояла лицом ко мне, и я, таким образом, видел Изабель со спины, распростертую в позе умоляющей Эсфири; вдруг я обратил внимание на ее ноги: они были обуты в темно-фиолетовые ботинки,

как мне показалось и насколько это можно было определить под слоем покрывавшей их грязи; над ботинком был виден белый чулок, на котором мокрая, перепачканная оборка юбки, приподнимаясь, оставила грязный след… И вдруг — гораздо громче, чем напыщенные речи старухи, — во мне зазвучало все, что эта жалкая одежда могла рассказать о жизни, полной случайностей и невзгод. Меня душили слезы, и я решил для себя, что пойду в парк за Изой, когда она выйдет из дома.

Тем временем г-жа де Сент-Ореоль сделала три шага в сторону кресла г-жи Флош:

— Дайте! Дайте мне эту пачку! Вы думаете, я не вижу под вашей перчаткой измятых денег? Вы что, считаете меня слепой или сумасшедшей? Отдайте мне эти деньги, говорю вам! — И как в мелодраме, поднеся купюры, которыми она завладела, к пламени свечи, произнесла: — Я скорее предпочла бы все сжечь, — (нужно ли говорить, что она не сделала ничего подобного), — чем дать ей хоть грош.

Она спрятала купюры в карман и снова принялась декламировать:

— Неблагодарная дочь! Бесчеловечная дочь! Дорогой, которой ушли мои браслеты и ожерелья, вы сумеете отправить и мои кольца! — Сказав

это, она ловким движением протянутой руки уронила два или три из них на ковер. Изабель схватила их, как голодная собака хватает кость.

— А теперь уходите: нам не о чем больше говорить, я вас знать не знаю.

Взяв на ночном столике гасильник, она поочередно накрыла им каждую свечу в канделябре и вышла.

Комната казалась теперь темной. Изабель тем временем встала, провела пальцами по вискам, откинула назад разметавшиеся волосы и привела в порядок шляпу. Резким движением поправила несколько сползший с плеч плащ и наклонилась к г-же Флош, чтобы попрощаться. Мне показалось, что бедная женщина пыталась заговорить с ней, но таким слабым голосом, что я ничего не смог разобрать. Изабель молча прижала одну из дружащих рук старушки к губам. Минуту спустя я бросился за ней по коридору.

У лестницы шум голосов остановил меня. Я узнал голос м-ль Вердюр, с которой Изабель уже разговаривала в передней, и, перегнувшись через перила, увидел их обеих. Олимпия Вердюр держала в руке маленький фонарь:

— Ты уедешь, не поцеловав его? — спросила она, и я понял, что речь шла о Казимире. — Так

ты не хочешь его видеть?

— Нет, Лоли, я очень спешу. Он не должен знать, что я приезжала.

Наступило молчание, затем последовала пантомима, смысл которой я не сразу понял. Фонарь заплясал, бросая прыгающие тени. М-ль Вердюр наступала, Изабель пятилась назад, обе передвинулись таким образом на несколько шагов, а потом мне стало слышно:

— Да-да, на память от меня. Я долго хранила его. Теперь, когда я стала старой, на что он мне?

— Лоли! Лоли! Вы — лучшее, что я здесь оставляю.

М-ль Вердюр обняла ее:

— Бедняжка! Как она вымокла!

— Только плащ… это ничего. Отпусти меня, я спешу.

— Возьми хоть зонт.

— Дождь перестал.

— А фонарь?

— Зачем он мне? Коляска совсем рядом. Прощай.

— Ну же, прощай, бедное дитя! Дай тебе Бог… — Остальное потерялось в рыдании.

М-ль Вердюр стояла некоторое время в ночной темноте, я ощутил поток свежего воздуха, потом

услышал шум захлопнувшейся двери и засовов…

Пройти мимо м-ль Вердюр я не мог. Ключ от кухни Грасьен каждый вечер забирал с собой. Была еще дверь, через которую я легко мог выйти из дома, но для этого надо было сделать большой крюк. Изабель уже дошла бы до своей коляски. А если окликнуть ее из окна?.. Я побежал к себе. Луна снова скрылась за тучами; я немного подождал, прислушиваясь к шагам; поднялся сильный ветер, и, пока Грасьен возвращался в дом через кухню, сквозь беспокойный шепот деревьев я услышал, как удаляется коляска Изабель де Сент-Ореоль.

VII

Я загостился, и, как только вернулся в Париж, на меня навалились тысячи забот, направившие наконец ход моих мыслей в другое русло. Мое решение снова побывать в Картфурше следующим летом смягчало сожаление о том, что мне не удалось тогда пойти дальше; я уж было начал забывать о случившемся, когда в конце января получил двойное уведомление о смерти. Супруги Флош, оба, с разницей в несколько дней, испустили трепетные и нежные души. На конверте я узнал почерк м-ль Вердюр, однако свое послание с соболезнованиями и выражениями симпатии направил Казимиру. Две недели спустя пришло письмо следующего содержания:

Мой дорогой господин Жерар!

(Мальчик так и не смог решиться называть меня по фамилии.

— А как вас зовут? — спросил он меня во время одной из прогулок, как раз тогда, когда я начал обращаться к нему на «ты».

— Но ты же хорошо знаешь, Казимир, меня зовут господин Лаказ.

— Нет, не это имя, другое? — требовал он.)

Вы очень добры, что написали мне, и письмо Ваше очень хорошее, потому что в Картфурше теперь очень грустно. У моей бабушки в четверг был удар, и она не может теперь выходить из своей комнаты; тогда мама вернулась в Картфурш, а аббат уехал, потому что он стал кюре в Брёйе. После этого мои дядя и тетя умерли. Сначала умер дядя, который Вас очень любил, а потом в воскресенье умерла тетя, которая болела три дня. Мамы уже не было. Я был один с Лоли и Дельфиной, женой Грасьена, которая меня очень любит; это было очень грустно, потому что тетя не хотела меня покидать. Но было нужно. А теперь я сплю около Дельфины, потому что Лоли вызвал ее брат в Орн. Грасьен тоже очень добр ко мне. Он показал мне, как сажать черенки и делать прививки, это забавно, и потом я помогаю валить деревья.

Вы знаете, Ваша записочка, где Вы написали свое обещание, нужно ее забыть, потому что здесь больше никого нет, чтобы Вас принять. Но мне грустно от того, что я не смогу Вас увидеть, потому что я Вас очень любил. Но я Вас не забываю.

Ваш маленький друг Казимир

Смерть г-на и г-жи Флош оставила меня довольно равнодушным, но это неумелое простое письмо меня взволновало. В это время я не был свободен, но решил для себя уже в пасхальные каникулы провести рекогносцировку до Картфурша. Что из того, что там некому меня принять? Я остановлюсь в Пон-л'Евеке и найму коляску. Нужно ли добавлять, что мысль о возможной встрече с загадочной Изабель влекла меня туда не менее сильно, чем чувство жалости к ребенку. Некоторые места его письма были мне непонятны, я плохо увязывал события… Удар старухи, приезд Изабель в Картфурш, отъезд аббата, смерть стариков, во время которой их племянницы не было на месте, отъезд м-ль Вердюр… нужно ли было видеть во всем этом всего лишь случайную цепь событий или следовало искать между ними ка-

кую-то связь? Казимир не смог, а аббат не захотел просветить меня на сей счет. Пришлось ждать апреля. И уже на второй день, как я освободился, я отправился в Картфурш.

На станции Брей я заметил аббата Санталя, собирающегося сесть в мой поезд, и окликнул его.

— Вы снова в этих краях, — промолвил он.

— Я не думал, что вернусь сюда так скоро.

Он вошел в купе. Мы оказались одни.

— Да, после вашего визита здесь многое переменилось.

— Я узнал, что вы обслуживаете теперь приход в Брёйе.

— Не будем сейчас об этом, — и он сделал рукой знакомый жест. — Вы получили уведомление?

— И тотчас направил свои соболезнования вашему ученику; от него-то я и узнал потом кое-какие новости, но он сообщил мне немного. Я чуть было не обратился к вам с просьбой рассказать мне некоторые подробности.

— Надо было написать.

— Я подумал, что вы вряд ли сообщили бы мне что-либо, — добавил я смеясь.

Но, видимо, не так связанный приличиями, как в те времена, когда он служил в Картфурше, аббат, казалось, был расположен к разговору.

— Ну, не несчастье ли то, что там происходит? — начал он. — И все аллеи пойдут туда же!

Сначала я ничего не мог понять, но потом вспомнил строчку из письма Казимира: «Я помогаю валить деревья…»

— Зачем они это делают? — наивно спросил я.

— Как зачем, дорогой сударь? Спросите у кредиторов. Впрочем, не в них дело, все делается за их спиной. Имение заложено и перезаложено. Мадемуазель де Сент-Ореоль берет все, что может.

— А она там?

— Как будто вы этого не знаете!

— Я просто предполагал, судя по некоторым словам…

— Именно с тех пор, как она там, все и пошло как нельзя хуже. — На некоторое время он овладел собой, но потребность высказаться на этот раз его пересилила; он больше не ждал моих вопросов, и я счал более разумным не задавать их.

— Как она узнала, что ее мать парализована? — говорил он. — Я так и не смог этого понять. Когда она узнала, что старая баронесса не может больше встать с кресла, она заявилась туда со своими вещами, и г-же Флош не хватило мужества выставить ее за дверь. Тогда-то я и уехал оттуда.

— Очень жаль, ведь вы, таким образом, остави-

ли Казимира.

— Возможно, но я не мог оставаться рядом с этой… я забываю, что вы ее защищали!..

— Быть может, я и дальше буду это делать, господин кюре.

— Продолжайте. Да-да, мадемуазель Вердюр тоже ее защищала до тех пор, пока не увидела смерть своих хозяев.

Я восхищался тем, что аббат почти полностью освободил свою речь от того изящества, которое было ей присуще, пока он находился в Картфурше; он уже освоил манеру и язык, свойственные сельским священникам в Нормандии. Он продолжил свою мысль:

— Ей тоже показалось странным, что оба умерли одновременно.

— Разве?..

— Я ничего не говорю, — и он по старой привычке надул верхнюю губу, но тут же прибавил: — Хотя в округе говорили всякое. Никому не нравилось, что племянница стала наследницей. И Вердюр тоже предпочла уйти.

— Кто же остался с Казимиром?

— А! Вы все-таки поняли, что общество его матери не подходит ребенку. Так вот, он почти все время проводит у Шуантрёйлей, ну, вы знаете,

садовник с женой.

— Грасьен?

— Да, Грасьен, который воспротивился было вырубке деревьев в парке, но ничем не смог помешать. Это нищета.

— Между тем у Флошей деньги были.

— Но все было проедено в первый же день, сударь вы мой. Из трех ферм Картфурша г-жа Флош владела двумя, которые уже давно были проданы фермерам. Третья, маленькая ферма де Фон, еще принадлежит баронессе — она не сдавалась в аренду, за ее состоянием следит Грасьен, но она тоже скоро со всем остальным пойдет с молотка.

— А само имение Картфурш будет продано?

— С торгов. Но это невозможно сделать до конца лета. А пока, прошу поверить, девица пользуется этим. Кончится тем, что ей придется сдаться, но к этому времени в Картфурше останется половина деревьев…

— Кто же покупает у нее лес, если она не имеет права его продавать?

— Вы еще так молоды. Когда все идет за бесценок, покупатель найдется.

— Любой судебный исполнитель может запретить это.

— Судебный исполнитель заодно с дельцом,

представляющим интересы кредитора, который там обосновался и который, — он наклонился к моему уху, — спит с ней, раз уж вы хотите все знать.

— А как книги и бумаги г-на Флоша? — спросил я, не выказывая волнения от его последней фразы.

— Мебель и библиотека будут пущены скоро в продажу, или, точнее, на них будет наложен арест. К счастью, там никто не догадывается о ценности некоторых произведений, иначе их давно бы уж и след простыл.

— Может найтись какой-нибудь пройдоха…

— Сейчас все опечатано, не беспокойтесь, печати снимут только для инвентаризации.

— Что говорит обо всем этом баронесса?

— Она ни о чем не подозревает, ей приносят еду в спальню, она даже не знает, что ее дочь находится там.

— Вы ничего не говорите о бароне.

— Он умер три недели назад, в Каене, в доме для престарелых, куда мы его недавно устроили.

Мы приехали в Пон-л’Евек. Аббата Санталя встречал священник, аббат попрощался со мной, порекомендовав мне гостиницу и человека, сдававшего напрокат коляски.

На следующий день я остановил коляску у входа в парк Картфурша; я условился с возницей, что он приедет за мной через пару часов, когда лошади передохнут на одной из ферм.

Ворота в парк были широко открыты; почва аллеи была изуродована гужевыми повозками. Я готовился к самому страшному разорению и был неожиданно обрадован при виде моего доброго знакомца — распустившегося «бука персиколистного»; мне не пришло в голову, что своей жизнью он обязан, очевидно, лишь заурядному качеству своей древесины; идя дальше, я убедился, что топор не пощадил самых прекрасных деревьев. Прежде чем углубиться в парк, мне захотелось увидеть тот павильон, где я обнаружил письмо Изабель, но вместо сломанного запора на двери висел замок (позже я узнал, что лесорубы хранили там инструменты и одежду). Я направился к дому. Прямая аллея, обсаженная низким кустарником, вела не к фасаду, а к службам, к кухне, напротив которой начиналась невысокая огородная изгородь; еще издалека я увидел Грасьена, идущего с корзиной овощей; он заметил меня, но сначала не узнал; я окликнул его, он двинулся мне навстречу и вдруг воскликнул:

— Вот как! Господин Лаказ! В это время вас

уж точно не ожидали! — Он смотрел на меня, покачивая головой и не скрывая недовольства моим присутствием, но тем не менее добавил более спокойно:

— Малыш, однако, будет рад вас видеть.

Мы молча сделали несколько шагов в сторону кухни; он попросил меня подождать и вошел поставить корзину.

— Так вы приехали посмотреть, что происходит в Картфурше? — сказал он более учтиво, когда вернулся ко мне.

— Похоже, дела идут не очень-то хорошо?

Я взглянул на него: его подбородок дрожал, он ничего не отвечал, потом вдруг схватил меня за руку и увлек на лужайку перед крыльцом дома. Там распростерся труп огромного дуба, под которым, помню, я прятался от осеннего дождя; рядом валялись поленья и щепки от сучьев.

— Вы знаете, сколько стоит такое дерево? — задал он мне вопрос. — Двенадцать пистолей[18]. А знаете, сколько они заплатили?! За него, да и за

[18] Примечания: 18

Пистоль — старинная золотая монета того же достоинства, что и луидор (20 франков).

все остальные… Сто су[19].

Я не знал, что в этих краях пистолями называли экю[20] в десять франков, но момент был неподходящий для того, чтобы просить разъяснений. Грасьен говорил сдавленным голосом. Когда я обернулся к нему, он тыльной стороной руки смахнул с лица то ли слезу, то ли капли пота и, сжав кулаки, заговорил:

— У-у, бандиты! Когда я слышу, сударь, как они орудуют тесаком или топором, я схожу с ума, их удары бьют меня по голове; мне хочется звать на помощь, кричать: грабят! Хочется бить самому, убить! Позавчера я полдня провел в подвале — там не так слышно… Вначале малышу нравилось смотреть, как работают лесорубы; когда дерево было готово упасть, его звали, чтобы потянуть за веревку, но потом, когда эти злодеи приблизились к дому, мальчишка смекнул, что это не так забавно; он все говорил: нет, не это! нет, не это! «Бедный парень, — говорю я ему, — это или то, все равно это не твое». Я ему объяснил, что он не сможет жить в Картфурше, но он еще слишком

---

[19] Примечания: 19

Су — старинная французская монета в 5 сантимов, или 1/20 часть франка.

[20] Примечания: 20

Экю — старинная французская монета в 10 франков.

мал; он не понимает, что все это уже не его. Если бы только нам оставили маленькую ферму, я бы взял его к себе, это точно; но кто знает, кто ее купит и какого негодяя возьмут на наше место!.. Знаете, сударь, я еще не так стар, но я предпочел бы умереть, чем видеть все это.

— Кто живет сейчас в доме?

— Знать этого не желаю. Малыш питается с нами на кухне, так лучше. Госпожа баронесса не покидает спальню, к счастью для нее, бедняжки… Из-за них Дельфина носит ей еду через служебную лестницу, не хочет попадаться им на глаза. У них есть кому прислуживать, но мы с этим человеком не разговариваем.

— Разве на движимость не должны скоро наложить арест?

— Тогда мы постараемся перевести госпожу баронессу на ферму, пока ферму не продадут вместе с домом.

— А маде… а ее дочь? — спросил я с запинкой, не зная как ее называть.

— Она может идти куда хочет, но не к нам. Это ведь все из-за нее!..

Его голос был исполнен такого гнева, что я понял: этот человек мог пойти на преступление, защищая честь своих хозяев.

— Она сейчас в доме?

— В это время она, должно быть, прогуливается по парку. Похоже, ей от этого ни жарко, ни холодно; она спокойно смотрит на лесорубов, бывает, и заговаривает с ними без зазрения совести. Но в дождливую погоду не выходит из своей комнаты; посмотрите, вон та, угловая; она стоит там перед окном и глядит в сад. Если бы ее любовник не уехал на четверть часа в Лизьё, я не ходил бы здесь, как сейчас. Да, господин Лаказ, это такая публика, что просто нет слов! Если бы наши старые господа пришли посмотреть, что тут у них делается, они бы, бедняжки, поспешили вернуться туда, где покоятся.

— А Казимир там?

— Думаю, он тоже гуляет в парке. Хотите, я его позову.

— Не надо, я сам его найду. До скорого. Я, конечно, еще увижусь с вами до отъезда — и с вами, и с Дельфиной.

Опустошение в парке казалось еще более ужасным в это время года, когда все готовилось ожить. В потеплевшем воздухе уже набухли и раскрылись почки, и каждый срубленный сук слезился соком. Я медленно шел, не столько опечаленный, сколько переполненный скорбью представив-

шейся мне картины, может быть, несколько опьяненный мощным запахом живой природы, исходящим от умирающего дерева и оживающей земли. Меня почти не трогал контраст между этой смертью и весенним обновлением: ведь парк свободнее раскрывался свету, который одинаково заливал и золотил и смерть, и жизнь; но вместе с тем трагическая песнь топора вдали, наполняя воздух погребальной торжественностью, звучала в такт счастливому биению моего сердца, а бывшее при мне старое любовное письмо, которое я не собирался использовать, но временами прижимал к груди, жгло его. «Сегодня уже ничто не сможет помешать мне», — думал я и улыбался от ощущения того, что мои шаги ускоряются при одной мысли об Изабель; воля моя сопротивлялась, но управляла мной внутренняя сила. Я восхищался тем, как эта дикость, привнесенная хищничеством в красоту пейзажа, обостряла мое наслаждение; я восхищался тем, что нелестные отзывы аббата в столь малой степени отдалили меня от Изабель, и тем, что все, что я узнавал о ней, лишь подогревало невыразимым образом мое желание… Что еще связывало ее с этими местами, полными ужасных воспоминаний? От проданного Картфурша, я знал, ей не оставалось

и не доставалось ничего. Почему она не бежала прочь? Я мечтал увезти ее сегодня же вечером в своей коляске; я пошел быстрее; я почти уже бежал, когда вдруг заметил ее вдалеке. Это была, конечно, она — в трауре, с непокрытой головой сидела она на стволе дерева, лежащего поперек аллеи. Мое сердце забилось так сильно, что я вынужден был на некоторое время остановиться; затем я медленно двинулся по направлению к ней, как бы спокойно и безучастно прогуливаясь по парку.

— Извините, сударыня… я нахожусь в Картфурше?

Рядом с ней на стволе дерева стояла небольшая корзинка для рукоделия, полная катушек, швейных принадлежностей, мотков и небольших кусочков крепа; она была занята тем, что прикладывала лоскутки к скромной фетровой шляпе, которую держала в руке; на земле валялась очевидно, только что сорванная зеленая лента.

Ее плечи покрывала совсем короткая черная драповая накидка; когда она подняла голову, я заметил незатейливую застежку у закрытого ворота. Она наверняка заметила меня издали, поскольку мой вопрос не удивил ее.

— Вы хотите купить имение? — спросила она,

и от ее голоса, который я узнал, быстрее забилось мое сердце. Как прекрасен был ее открытый лоб!

— О нет, я пришел как простой посетитель. Ворота были открыты, я увидел людей. Но, может быть, это нескромно с моей стороны?

— Теперь сюда может входить кто угодно!

Она глубоко вздохнула, но вновь занялась рукоделием, словно нам не о чем было больше говорить.

Я не знал, как продолжить беседу, которая могла оказаться единственной и одновременно должна была стать решающей; проявлять напористость казалось мне пока неуместным; озабоченный мыслью о том, как бы не допустить бестактность, с умом и сердцем, полными ожиданий и вопросов, которые я еще не осмеливался задать, я стоял перед ней, концом трости вороша мелкие щепки, настолько смущенный и неловкий одновременно, что в конце концов она подняла глаза, пристально вгляделась в меня, и я подумал, что она вот-вот рассмеется; но, очевидно, потому, что тогда у меня были длинные волосы, я носил мягкую шляпу и внешне никак не походил на делового человека, она просто спросила:

— Вы художник?

— Увы! Нет, — ответил я улыбаясь, — но это ничего не значит, у меня есть вкус к поэзии. — И, не осмеливаясь еще раз взглянуть на нее, я почувствовал, как ее взгляд окутывает меня. Притворная банальность нашего разговора мне омерзительна, и я с трудом об этом рассказываю…

— Как прекрасен этот парк, — снова начал я.

Мне показалось, что она только и ждала, как бы завязать разговор, и, как и я, не знала, с чего начать, так как тут же охотно ответила, что сейчас он еще весь продрогший и не отошел от зимней спячки, что в это время года я, к сожалению, не в состоянии представить себе этот парк в его лучшую пору — осенью…

— По крайней мере каким он мог бы стать, — продолжала она, — что останется от него теперь, после ужасной работы лесорубов?..

— Нельзя ли помешать им? — воскликнул я.

— Помешать им! — повторила она иронически, приподняв плечи; мне показалось, что в доказательство своих невзгод она показывает мне свою убогую фетровую шляпу, но она просто подняла ее, чтобы надеть на голову, так, что был виден ее открытый лоб; затем она начала укладывать кусочки крепа, готовясь уйти. Я наклонился,

поднял валявшуюся у ее ног зеленую ленту и протянул ей.

— К чему она мне теперь? — проговорила она, не взяв ее. — Вы видите, я в трауре.

Я тотчас заверил ее в том, что с грустью узнал о смерти г-на и г-жи Флош, а потом и барона; а поскольку она удивилась тому, что я знал ее родственников, я рассказал ей, что в октябре прошлого года прожил рядом с ними двенадцать дней.

— Тогда почему вы сделали вид, что не знаете, где находитесь? — резко спросила она.

— Я не знал, как с вами заговорить.

Затем, еще не очень раскрываясь, я стал рассказывать ей о том, какое страстное любопытство день за днем удерживало меня в Картфурше в надежде встретить ее, и о своих сожалениях (я не сказал ей о той ночи, когда так бесцеремонно выследил ее), с которыми, не увидев ее, я вернулся в Париж.

— Чем же вызвано такое сильное желание познакомиться со мной?

Она уже не делала вид, что собирается уходить. Я подтащил и положил напротив нее плотную вязанку хвороста и сел; я сидел ниже, чем она, и смотрел на нее снизу вверх; она по-детски сма-

тывала креповые ленточки, и я не мог уловить ее взгляд. Я рассказал о миниатюре, поинтересовался, что стало с портретом, в который я был влюблен; но она об этом ничего не знала.

— Очевидно, он обнаружится, когда снимут печати… И будет пущен с молотка со всем остальным, — добавила она с сухим смешком, причинившим мне боль. — За несколько су вы сможете приобрести его, если не раздумаете.

Я стал уверять ее, что очень огорчен тем, что она не принимает всерьез чувство, давно владеющее мной и лишь выраженное столь неожиданно; однако она оставалась безучастной и, казалось, решила перестать слушать меня. Время торопило. Но ведь у меня было кое-что, способное нарушить ее молчание. Пылкое письмо дрожало в моих пальцах. Я придумал бог весть какую историю о старых связях моей семьи с семьей Гонфревийлей, надеясь как бы невзначай вызвать ее на откровенность, но в этой лживой истории я не видел ничего, кроме абсурдности, и начал просто рассказывать о загадочной случайности, с помощью которой письмо — я протянул ей его — оказалось у меня в руках.

— О! Я заклинаю вас, сударыня! Не рвите письмо! Верните его потом мне…

Она покрылась мертвенной бледностью и некоторое время держала раскрытое письмо на коленях, не читая его; затем с отсутствующим взглядом прошептала:

— Забыла взять обратно! Как я могла забыть его?

— Вы, конечно, решили, что оно дошло, что он пришел за ним…

Она по-прежнему не слушала меня. Я сделал движение, чтобы вернуть письмо, но она неправильно истолковала мой жест:

— Оставьте меня! — воскликнула она, грубо оттолкнув мою руку.

Затем встала, хотела бежать. Я опустился перед ней на колени, чем удержал ее.

— Не бойтесь меня, сударыня, вы прекрасно видите, что я не хочу причинить вам зла.

И поскольку она снова села, или, скорее, упала без сил, я стал умолять ее не сердиться на меня за то, что случай выбрал меня в ее невольные наперсники, а продолжать доверять мне, клялся не обмануть ее доверия. Ну почему бы ей не заговорить со мной как с истинным другом, так, будто я о ней ничего не знаю, а она сама мне обо всем рассказала.

Слезы, которые я проливал при этом, видимо,

произвели на нее большее впечатление, чем слова.

— Увы! — продолжал я. — Я знаю, какая нелепая смерть унесла в тот вечер вашего возлюбленного… Но как вы узнали о постигшем вас несчастье? Что думали в ту ночь, когда ждали его, готовясь бежать с ним? Что сделали, не дождавшись его?

— Раз уж вы все знаете, — сказала она скорбным голосом, — вы хорошо понимаете, что после того, как я предупредила Грасьена, мне было некого больше ждать.

Моя догадка об ужасной истине была такой внезапной, что у меня, как крик, вырвались слова:

— Что? Это вы заставили его убить?

И тут, уронив на землю письмо и корзинку, из которой высыпались мелкие предметы, она уткнулась лицом в ладони и заплакала навзрыд. Я наклонился к ней и пытался взять за руку.

— Нет! Вы неблагодарны и грубы.

Мое неосторожное восклицание положило конец ее доверию — она замкнулась в себе; между тем я продолжал сидеть рядом, решительно настроенный не покидать ее до тех пор, пока она не расскажет дальше. Она наконец перестала рыдать; я понемногу убедил ее, что она уже так много сказала, что вполне можно было и не

продолжать, но что чистосердечная исповедь не умалит в моих глазах ее достоинства и никакое признание не будет мне так горестно, как ее молчание. Опершись локтями о колени, закрыв лицо руками, она начала рассказ.

Ночью, накануне той, которую она назначила для побега, в любовном бессонном порыве она написала это письмо; наутро она отнесла его в павильон, сунула в то тайное место, о котором знал Блез Гонфревийль и откуда вскоре он должен был его забрать. Но по возвращении в дом, когда она оказалась у себя в комнате, которую навсегда собиралась покинуть, ее охватила невыразимая тревога, страх перед этой неизвестной свободой, которой она так алкала, страх перед любовником, которого она еще звала, страх перед самой собой и перед тем, на что боялась осмелиться. Да, решение было принято, да, приличия и стыд были забыты, но сейчас, когда больше ничто ее не удерживало, когда двери перед ней были открыты, решимость оставила ее. Сама мысль о побеге стала ненавистной, нестерпимой; она побежала к Грасьену и рассказала ему, что барон Гонфревийль собирается похитить ее у родных сегодня ночью, что вечером он будет бродить около павильона у решетки, к которой его нельзя

подпускать.

Удивительно, она сама не пошла за письмом, не заменила его другим, в котором могла бы разубедить своего любовника. Но она все время уходила от ответов на вопросы, которые я ей задавал, повторяя со слезами, что она знала: я не смогу ее понять, и сама она не может объяснить, но она не в состоянии была ни оттолкнуть своего возлюбленного, ни пойти за ним, страх парализовал ее до такой степени, что было выше ее сил пойти в павильон, в это время дня ее родители не спускали с нее глаз, и поэтому она вынуждена была прибегнуть к помощи Грасьена.

— Могла ли я предположить, что он воспримет всерьез мои слова, вылетевшие у меня в порыве безумия? Я думала, что он только помешает ему… Я ужаснулась, когда час спустя услышала выстрел со стороны входа в парк, но мои мысли были далеки от ужасной догадки, которую я отказывалась принять, наоборот, как только я все сказала Грасьену и очистила сердце и совесть, я почти испытывала чувство радости… Но когда наступила ночь, когда приблизился час предполагаемого побега, я помимо воли вновь начала его ждать, вновь стала надеяться; какая-то вера — я знала, что она ложная, — примешивалась

к моему отчаянию; я не могла допустить, что мимолетная трусость, внезапная слабость вмиг разрушили мою давнюю мечту, от которой я не могла очнуться; я, как во сне, спустилась в сад, остерегаясь любого шороха, любой тени; я все еще ждала… — Она снова зарыдала. — Нет, я уже не ждала, я пыталась обмануть себя, из жалости к самой себе я убедила себя, что все еще жду. С опустошенным сердцем, не пролив ни слезинки, я села на ступеньку у лужайки, больше ни о чем не думая, не зная, кто я, где я, зачем пришла. Луна, только что освещавшая лужайку, зашла; меня бросило в дрожь; мне захотелось, чтобы дрожь эта замучила меня до смерти. На следующий день я тяжело заболела, а врач, за которым позвали, сообщил о моей беременности матери.

Она помолчала.

— Теперь вы знаете то, что хотели от меня услышать. Если бы я продолжала рассказывать свою историю, то это была бы история другой женщины, в которой вы не узнали бы Изабель, изображенную на медальоне.

Я и так уже довольно плохо узнавал ту, в которую был влюблен в воображении. Да, ее рассказ перемежался отступлениями, где она жаловалась на судьбу, обвиняла этот мир, в котором поэзия и

чувство всегда не правы; но мне было грустно от того, что в мелодии ее голоса я не ощущал сердечной теплоты. Ни слова раскаяния, жалость только к самой себе! Это так-то она умеет любить?..

Я начал собирать вывалившееся из корзинки рукоделие. Желание задавать ей вопросы прошло, и она сама, и ее жизнь стали вдруг для меня безразличны; я сидел перед ней, как ребенок перед игрушкой, которую сломал, чтобы узнать ее секрет, и даже ее привлекательность не находила во мне никакого отклика; не трогали меня и полные неги глаза, еще недавно приводившие меня в трепет. Мы заговорили о ее лишениях, и на мой вопрос о том, чем она собирается заняться, она ответила:

— Я буду давать уроки музыки или пения. У меня очень хорошая методика.

— Вы поете?

— Да, и играю на пианино. Когда-то я много работала. Была ученицей Тальберга… А кроме того, очень люблю поэзию.

Я не нашелся, что сказать, и она продолжала:

— О! Я уверена, вы столько знаете наизусть! Вы не почитаете мне что-нибудь?

Отвращение, омерзение от этой пошлости окончательно изгнало любовь из моей души. Я

встал, чтобы откланяться.

— Как! Вы уже уходите?

— Увы! Вы и сами чувствуете, что будет лучше, если я вас покину. Представьте себе: прошлой осенью, будучи в гостях у ваших родителей, я заснул в тиши Картфурша, влюбился во сне и сейчас проснулся. Прощайте.

В конце аллеи у поворота показалась ковыляющая фигурка.

— Кажется, это Казимир, он будет рад мне.

— Он сейчас подойдет. Подождите его.

Мальчик приближался мелкими скачками с граблями на плече.

— Разрешите, я пойду ему навстречу. Быть может, он будет стесняться встретиться со мной в вашем присутствии. Извините… — И самым неловким образом ускорив прощание, я почтительно откланялся и ушел.

Я больше никогда не видел Изабель де Сент-Ореоль и не знаю о ней ничего нового. Хотя нет, следующей осенью, когда я наведался в Картфурш, Грасьен сказал мне, что накануне наложения ареста на имущество, покинутая дельцом, она сбежала с кучером.

— Видите ли, господин Лаказ, — добавил он поучительно, — она не может обойтись без муж-

чины, ей всегда кто-то нужен.

Среди лета была распродана библиотека Картфурша. Несмотря на мои инструкции, мне об этом не сообщили; думаю, что книготорговцу из Каена, которого пригласили вести торги, и в голову не пришло пригласить меня или какого-либо другого серьезного любителя. Позже я с возмущением узнал, что знаменитая Библия была продана местному букинисту за семьдесят франков, а затем тут же перепродана за триста, кому — не знаю. Что касается рукописей XVII века, то они даже не были упомянуты и были проданы с торгов как старые бумаги.

Я намеревался присутствовать хотя бы на распродаже мебели и приобрести в память о Флошах кое-какие мелкие предметы, но, предупрежденный слишком поздно, приехал в Пон-л'Евек только во время продажи ферм и имения. Картфурш был приобретен по ничтожной цене торговцем недвижимостью Мозер-Шмидтом, который собирался превратить парк в луга, когда один американский любитель перекупил его, я не очень понимаю зачем, поскольку он больше не возвращался во Францию и оставил и парк и дом в том состоянии, в котором вы могли его видеть.

Будучи малосостоятельным в то время, я думал

поприсутствовать на торгах только из любопытства, но в то утро я виделся с Казимиром, и во время аукциона меня охватила такая жалость при мысли о бедственном положении мальчика, что я вдруг решил обеспечить ему существование на ферме, которую рассчитывал занять Грасьен. А вы не знали, что я стал ее владельцем? Почти не отдавая себе отчета, я надбавил цену — это было безумием с моей стороны, но зато как я был вознагражден радостью бедного ребенка, смешанной с печалью…

На этой маленькой ферме у Грасьена я и провел с Казимиром пасхальные, а затем и летние каникулы. Старуха Сент-Ореоль была еще жива, мы постарались, насколько возможно, выделить ей лучшую комнату; она впала в детство, но все же узнала меня и припомнила мое имя.

— Как это любезно, господин Лас Каз! Как любезно с вашей стороны, — повторяла она, вновь увидев меня.

Она была уверена, что я вернулся сюда только для того, чтобы ее навестить, и была польщена.

— Они делают ремонт в доме. Будет очень красиво! — говорила она мне по секрету, как бы объясняя причину своих лишений мне или самой себе.

В день распродажи имущества ее в большом кресле вынесли сначала на крыльцо гостиной; судебный исполнитель был ей представлен как знаменитый архитектор, который специально приехал из Парижа, чтобы следить за работами (она легко верила во все, что ей льстило), потом Грасьен, Казимир и Дельфина перенесли ее в ту комнату, которую ей не суждено было покинуть и где она прожила еще года три.

В это первое лето моей деревенской жизни у себя на ферме я познакомился с семьей Б., на старшей дочери которых позже женился. Имение Р., которое после смерти родственников жены нам принадлежит, находится, как вы видели, недалеко от Картфурша; два-три раза в год я прихожу туда поболтать с Грасьеном и Казимиром, которые очень неплохо обрабатывают свои земли и регулярно платят мне скромную арендную плату. К ним-то я и ходил после того, как оставил вас.

Ночь уже давно вступила в свои права, когда Жерар закончил рассказ. И все же именно в эту ночь Жамм, перед тем как заснуть, написал свою четвертую элегию:

Когда ты попросил меня сочинить элегию об этом заброшенном имении, где сильный ветер…

Пасторальная симфония

Тетрадь первая

10 февраля 189…

Снег, падавший не переставая в течение трех дней, занес дороги. Я не мог отправиться в Р., куда за последние пятнадцать лет я два раза в месяц ездил для совершения треб. Сегодня в часовне Ла Бревин собралось всего тридцать человек верующих.

Я постараюсь использовать досуг, предоставленный мне моим невольным заключением, для того чтобы оглянуться назад и рассказать, как вышло, что я взял на себя заботы о Гертруде.

Мне хотелось здесь изложить все, что относится к формированию и росту этой кроткой души, которую я, видимо, вывел из мрака лишь для благоговения и любви. Слава Господу за то, что он доверил мне это дело.

Два с половиной года назад, едва я вернулся из Ла Шо-де-Фон, ко мне торопливо вошла незнакомая девочка, прося выехать за семь километров отсюда к бедной старухе, которая умирает. Лошадь еще не была распряжена; я велел девочке сесть в кабриолет и захватил с собою фонарь, не

рассчитывая вернуться домой до наступления ночи.

Мне казалось, что я отлично знаю окрестности моего округа, но, когда мы миновали ферму Ла Содре, ребенок указал мне дорогу, по которой я не ездил еще ни разу. Впрочем, через километра два я узнал на левой стороне небольшое таинственное озеро, по которому я еще молодым человеком иногда катался на коньках. Целых пятнадцать лет мне не случалось больше его видеть, так как мои пасторские обязанности не призывали меня в эти края; я не сумел бы объяснить, где оно, собственно, находится, и до такой степени перестал о нем думать, что, когда вдруг узнал его в золотисто-розовом очаровании вечера, мне показалось, что я видел его только во сне.

Дорога шла вдоль реки, вытекавшей из озера, пересекала опушку леса и затем тянулась вдоль торфяника. Я, безусловно, еще ни разу не бывал в этих местах.

Солнце садилось, и мы довольно долгое время двигались в темноте, когда моя юная проводница указала наконец пальцем на склоне холма хижину, которую легко можно было бы принять за необитаемую, если бы не вылетавшая оттуда тонкая струйка дыма, отливавшая голубым в те-

ни и бледневшая на золотистом небе. Я привязал лошадь к ближайшей яблоне; затем я прошел вслед за ребенком в темную комнату, где недавно скончалась старуха.

Суровость пейзажа, безмолвие и торжественность часа повергли меня в оцепенение. Довольно молодая женщина стояла на коленях возле кровати. Девочка, которую я принял было за внучку покойницы, оказалась служанкой; она зажгла дымящую свечу и затем тоже неподвижно остановилась в ногах кровати. Во время долгого пути я несколько раз пробовал с ней заговорить, но не мог вытянуть из нее и четырех слов.

Стоящая на коленях женщина встала. Она была не родственницей, как я было представил себе вначале, а просто соседкой, знакомой, за которой сходила служанка, заметив, что хозяйка ослабевает, и она согласилась посторожить у тела. Старуха, объяснила она мне, угасла без страданий. Мы уговорились с нею о мерах, которые необходимо принять для похоронных обрядов. Как и всегда в этих захолустных местах, мне пришлась все решать самому. Меня несколько смущало, должен сознаться, поручить охрану этого дома, каким бы бедным он ни казался, лишь соседке и девочке-служанке. Впрочем, трудно

было бы допустить, что в каком-нибудь закоулке этого нищенского жилища было спрятано сокровище… Да и чем здесь я мог бы помочь? Я все-таки справился, остались ли у старухи наследники.

Соседка взяла в руки свечу и осветила ею угол очага: я мог смутно различить какое-то существо, сидевшее у камелька и, по-видимому, погруженное в сон; густая копна волос почти полностью скрывала ее лицо.

— Это слепая девушка; по словам служанки — племянница покойной; кажется, больше в семье никого нет. Ее следует устроить в богадельню; иначе я не представляю себе, куда ей деваться.

Я был неприятно поражен этими словами, предрешавшими в присутствии сироты ее судьбу, чувствуя, сколько огорченья могла причинить эта резкая фраза.

— Не будите ее, — тихо произнес я, приглашая соседку хотя бы только понизить свой голос.

— Ну, я не думаю, чтобы она спала; это ведь идиотка; она не умеет говорить и ничего не понимает, когда к ней обращаются. За все утро, проведенное мной здесь, она, можно сказать, с места не двинулась. Мне показалось вначале, что она глухая; однако служанка уверяет, что нет, а просто старуха, сама страдавшая глухотой, ни-

когда не обменивалась с ней ни единым словом, как, впрочем, и ни с кем, и если раскрывала рот, то только для того, чтобы есть и пить.

— Сколько ей лет?

— Лет пятнадцать, я думаю; впрочем, я знаю об этом столько же, как и вы.

Мне сразу не пришла в голову взять на себя заботу об этой покинутой девушке; но позже, когда я помолился, или, вернее, во время молитвы, совершенной в присутствии соседки и юной служанки, опустившихся на колени у изголовья покойницы, я, тоже коленопреклоненный, вдруг подумал, что сам Бог ставит на моем пути своего рода обязанность и что я не могу уклониться от нее, не проявив постыдного малодушия. Когда я поднялся на ноги, у меня уже созрело решение увезти девочку сегодня же вечером, хотя и не уяснил себе точно, что я с ней буду делать впоследствии и как я ее устрою. Я оставался там еще некоторое время, вглядываясь в уснувшее лицо покойной, морщинистый и провалившийся рот которой, казалось, был стянут шнуром, как кошелек скупца, приученный не выпускать из себя ничего лишнего. Затем, повернувшись в сторону слепой, я сообщил соседке о своем намерении.

— Ей, конечно, не следует завтра находиться

здесь при выносе тела, — ответила она. И этим ограничилась.

Сколько вещей можно было бы устроить легко, не будь тех химерических затруднений, которые люди любят иногда себе выдумывать. С самого детства сколько раз мы отказываемся сделать намеченное нами дело единственно потому, что вокруг нас все время повторяют: он никогда этого не сделает!

Слепая позволила увести себя, как какую-то инертную массу. Черты лица ее были правильны и довольно красивы, но совершенно лишены выражения. Я взял одеяло с тюфяка, на котором она, видимо, спала в углу, под внутренней лестницей, выходившей на чердак.

Соседка проявила любезность и помогла мне ее тщательно закутать, так как ночь была светлая, но холодная; когда фонарь кабриолета был зажжен, я пустился в путь, увозя приникший ко мне ком тела, лишенный души, — тела, жизнь которого я воспринимал через передававшуюся мне едва ощутимую теплоту. Всю дорогу я думал: неужели она спит? И что это за непробудный сон! Чем отличается у нее бодрствование от сна? Жилица ее непросветленного тела — душа, должно быть, ждет, замурованная, чтобы коснулся ее

наконец луч Твоей благодати, Господи! Позволь же моей любви совлечь с нее, если можно, эту ужасную тьму!

Я настолько пекусь об истине, что не хотел бы умолчать о том нелюбезном приеме, который я встретил по возвращении домой. Жена моя — подлинный цветник добродетелей; даже в самые тяжелые минуты, которые нам случалось иногда переживать, я не имел случая ни на мгновение усомниться в высоких качествах ее сердца; но ее природное милосердие не терпит неожиданностей. Это — женщина порядка, которая не любит ни преувеличивать, ни преуменьшать велений долга. Самое милосердие ее отличается размеренностью, как если бы богатства любви можно было вообще исчерпать. Это — единственный наш пункт расхождения…

Первая ее мысль, когда она увидела в тот вечер, что я приехал с девочкой, отлилась в восклицании:

— Что это еще за бремя ты взвалил на себя?

Как и всегда, когда между нами должно было произойти объяснение, я начал с того, что поспешил удалить детей, которые стояли тут же, разинув рты, полные вопросов и удивления. О, как далек был этот прием от того, чего мне так

сильно хотелось! Одна только малютка Шарлотта стала вдруг плясать и хлопать в ладоши, сообразив, что из кабриолета должно появиться что-то новое, что-то живое. Но все остальные, уже вышколенные матерью, быстро сумели ее охладить и образумить.

Наступила крайне стеснительная минута. И так как ни жена, ни дети не знали, что перед ними находится слепая, они никак не могли объяснить себе того исключительного внимания, с которым я направлял ее шаги. Я сам был донельзя выбит из колеи теми странными стонами, которые стала испускать несчастная калека, едва лишь моя рука оставила руку, за которую я держал ее во время поездки. Это не было человеческим стоном: можно было подумать, что жалобно скулит собачонка. Вырванная в первый раз из узкого круга привычных впечатлений, составлявших для нее весь ее мир, она никак не могла устоять на ногах, а когда я придвинул ей стул, она свалилась на землю, точно совсем не зная, что на него можно сесть; я подвел ее ближе к очагу, и она несколько успокоилась, когда ей удалось опуститься на корточки в той самой позе, в которой я увидел ее в первый раз прижавшейся к облицовке камина у старухи. В кабриолете она тоже соскользнула с

сиденья и всю дорогу сидела у моих ног. И все-таки жена стала мне помогать, ибо естественные движения оказываются у нее самыми лучшими, но зато разум ее все время восстает и нередко берет верх над сердцем.

— Куда же оно теперь денется? — спросила она после того, как девочка была наконец устроена.

У меня задрожала душа, когда я услышал этот средний род, и я с трудом совладал с движением негодования. Все еще под сильным впечатлением своей долгой и мирной думы я сдержался и, повернувшись к своим, снова ставшим в кружок, положил руку на голову слепой.

— Я привел потерянную овцу, — сказал я со всей торжественностью, на какую я был способен.

Но Амелия не допускает мысли, что в евангельском учении может содержаться крупица неразумия или сверхразума. Я увидел, что она собирается возражать, и тогда я сделал знак Жаку и Саре, уже привыкшим к нашим мелким супружеским пререканиям и к тому же весьма мало любопытным от природы (часто даже недостаточно любопытным, по-моему). Но поскольку жена все еще была в замешательстве и как будто даже раздражена присутствием посторонней:

— Ты можешь говорить и при ней, — вставил

я, — бедная девочка ничего не понимает.

Амелия начала с заявления, что она мне нисколько не возражает, — это обычное начало ее нескончаемо длинных разговоров, — и что ей, как всегда, остается только подчиняться всем моим абсолютно непрактичным, идущим вразрез с приличиями и здравым смыслом выдумкам. Выше я уже упоминал, что я еще ровно ничего не решил относительно будущего устройства этой девочки. Я всего только предусматривал (и при этом крайне смутно) возможность устроить ее у нас и должен сказать, что никто другой, как сама же Амелия, натолкнула меня на эту мысль, когда спросила, не нахожу ли я, что «у нас в доме и без того народу довольно». Потом она подчеркнула, что я всегда вырываюсь вперед, нисколько не заботясь о том, хватает ли сил у тех, кто живет со мной рядом; что, по ее мнению, пятерых детей и без того с нас достаточно и что после появления на свет Клода (который как раз в эту минуту, словно откликаясь на свое имя, начал кричать в колыбели) «счет», можно сказать, переполнен и что она совсем сбилась с ног.

При первых словах ее проповеди из глубины моей души к самым губам подступили евангельские слова, но я их все-таки не сказал, ибо мне всегда

казалось бестактным прикрываться в житейских делах авторитетом Священного Писания. Но, когда она сослалась на усталость, я сконфузился, припомнив, что уже не в первый раз мне случается перекладывать на плечи жены последствия необдуманных порывов моего рвения. Впрочем, ее укоры уяснили мне собственный долг; я кротко попросил Амелию рассудить, не поступила бы и она на моем месте совершенно так же, и неужели она могла бы покинуть в беде существо, которому явно не на кого больше опереться? Я прибавил, что я не делаю себе никаких иллюзий относительно того груза новых забот, который прибавит к ее хозяйственным хлопотам уход за увечной жилицей, и что я сожалею о том, что не в состоянии достаточно часто приходить ей в этом на помощь. Под конец я успокоил ее, как мог, и просил ее не срывать на неповинной девочке досады, которой та, безусловно, не заслужила. Я указал еще и на то, что Сара уже в таком возрасте, когда она может гораздо больше помогать матери, а Жак и совсем обойдется без ее забот. Одним словом, господь вложил в мои уста нужные слова для того, чтобы помочь ей примириться с фактом, который, — я глубоко в том убежден, — она давно бы уже приняла, если бы самое событие оставило

ей больше времени для раздумья и если бы я не распорядился врасплох ее волей.

Я считал, что дело мое выиграно; дорогая моя Амелия собралась было с добрым сердцем подойти к Гертруде, как вдруг ее раздражение забушевало пуще прежнего, ибо при свете лампы, взятой для того, чтобы лучше осмотреть девочку, она убедилась в ее чудовищной нечистоплотности.

— Но ведь это зараза, — крикнула она. — Почистись щеткой, щеткой, да поскорее! Не здесь! Пойди, отряхнись на дворе. Боже мой; ведь все это облепит детей! Ничего на свете я так не боюсь, как вшей.

Возражать не приходилось, они так и кишели на бедной девочке. Я не мог удержаться от жеста отвращения при мысли, что я долго прижимал ее к себе в кабриолете.

Когда две минуты спустя, почистившись как нельзя более тщательно, я снова вернулся, я увидел, что жена упала в кресло, обхватив голову руками, и бьется в приступе рыданий.

— Я не хотел подвергать твою стойкость подобному испытанию, — нежно обратился я к ней. — Во всяком случае, сейчас уже вечер, время позднее, и ничего теперь увидеть нельзя.

Я урву время от сна и буду поддерживать огонь, возле которого ляжет девочка. Завтра мы ей острижем волосы и отмоем ее как следует. Ты станешь присматривать за ней только тогда, когда ты сможешь глядеть на нее без ужаса. — И я попросил жену ни слова не говорить детям.

Пора было садиться за ужин. Моя поднадзорная, в сторону которой наша старушка Розалия, подавая на стол, послала целую тучу суровых взглядов, с жадностью проглотила поданную ей мною тарелку супа. За едой все молчали. Я хотел было рассказать о своем приключении, поговорить с детьми, растрогать их, дать им понять и почувствовать всю необычайность этой исключительной бедности, возбудить в них жалость и симпатию к той, кого Господь внушил нам взять к себе, — но я побоялся снова вызвать в Амелии раздражение. Казалось, будто мы дали друг другу слово пройти мимо и позабыть о событии, хотя никто из нас, конечно, не был в состоянии думать о чем-нибудь другом.

Я был очень тронут, когда, больше чем через час после того, как все улеглись и Амелия вышла из комнаты, — обнаружил, что малютка Шарлотта приоткрыла дверь и в одной рубашечке тихонько вошла босиком, а потом бросилась мне

на шею, порывисто обняла и шепнула:

— Я не сказала тебе как следует покойной ночи.

Затем, показав кончиком своего маленького указательного пальца на мирно уснувшую слепую, на которую ей захотелось взглянуть еще раз, прежде чем отправится спать, она спросила:

— Почему я ее не поцеловала?

— Ты еще поцелуешь завтра. А сейчас оставим ее в покое. Она спит, — объяснял я дочурке, провожая ее до двери.

Затем я снова сел и проработал до утра, читая книги и подготовляясь к ближайшей проповеди. Несомненно, думал я про себя (так вспоминается мне сейчас), Шарлотта выказала сегодня гораздо большую чуткость, чем старшие дети, но разве каждый из них в ее годы не вводил меня вначале в заблуждение? Даже самый старший из них, Жак, от всего теперь сторонящийся, замкнутый… Принимаешь это за нежность, а они просто ластятся и ласкаются.

27 февраля

Сегодня ночью снега снова выпало очень много. Дети в восторге, потому что, по их словам, скоро придется выходить на улицу через окна. Дело в том, что утром дверь оказалась заваленной, и

ходить можно только через прачечную. Вчера я успел выяснить, что в деревне запасов достаточно, так как некоторое время нам несомненно предстоит быть отрезанными от внешнего мира. Не первую зиму нас засыпает снегом, но я не запомню, чтобы когда-нибудь заносы бывали такие глубокие. Я пользуюсь ими для того, чтобы продолжить начатый мною вчера рассказ.

Я уже говорил, что, когда я вез к себе калеку, я очень неясно себе представлял, какое место может она занять в нашем доме. Я знал, что жена не окажет мне большого сопротивления, я знал, каким помещением мы располагаем, какие у нас ограниченные средства. Я поступил так, как и всегда поступаю: отчасти по природному влечению, отчасти из принципа, отнюдь не пускаясь в подсчеты расходов, в которые может вовлечь меня мой порыв (мне неизменно казалось, что это было бы противно духу Евангелия). Но одно дело полагаться на Бога, другое — все возлагать на своего ближнего. Мне вскоре показалось, что я взвалил на плечи Амелии тяжкое бремя, такое тяжкое, что вначале совсем растерялся.

Я помогал ей изо всех сил состригать волосы девушки: я отлично видел, что одно это вызывало в ней отвращение. Но, когда дело дошло до того,

чтобы ее отчистить и вымыть, я должен был уступить место жене; и я понял, что самые тяжелые и неприятные обязанности от меня отпадают.

Впрочем, Амелия не выразила больше ни малейшего неудовольствия. Видимо, она уже подумала об этом за ночь и приняла эту новую заботу; казалось, что она даже находит в ней известное удовольствие, и я заметил у нее улыбку после того, как она принарядила Гертруду. Беленькая шапочка покрывала ее остриженную голову, которую я слегка напомадил; кое-какие старые вещи Сары и чистое белье заменили грязные лохмотья, которые Амелия только что отправила в огонь. Имя «Гертруда» было выбрано Шарлоттой, и все мы немедленно его приняли, оставаясь в неведении относительно ее истинного имени, которого сама сиротка не знала, а я нигде не мог разузнать. Она, очевидно, была чуть-чуть моложе Сары, поскольку вещи ее, переставшие ей служить год тому назад, оказались девочке впору.

Мне следует сознаться: в первые дни я почувствовал, что погружаюсь в глубокое разочарование. Я несомненно сочинил себе целый роман о воспитании Гертруды, и реальная действительность принуждала меня круто с ним разорвать.

Безразличное, тупое выражение ее лица или, вернее, его абсолютная невыразительность заморозило вплоть до самых истоков мою добрую волю. Целые дни она проводила у очага, держась настороже; стоило ей заслышать наши голоса, особенно же наше приближение, и черты ее лица, казалось, застывали; они утрачивали свою невыразительность, только когда они приобретали враждебность, при малейшей попытке воздействовать на ее внимание, она начинала стонать и ворчать как животное. Эта насупленность проходила только с наступлением часа еды, которую я ей подавал сам и на которую она набрасывалась с животной жадностью, невыразимо тягостной для посторонних. И подобно тому, как любовь призывает любовь, так и я чувствовал, что испытываю только отталкивание, стоя перед упрямым отказом этой души. Да, действительно, сознаюсь, — в течение первых десяти дней я доходил до отчаяния, даже до равнодушия к ней и в такой степени, что почти сожалел о своем первоначальном порыве, и очень бы хотел никогда ее к себе не привозить. И выходило очень забавно: Амелия, точно торжествуя при виде чувств, которые мне не удавалось от нее скрыть, начинала, казалось, расточать ей тем больше забот и тем больше

благожелательности, чем яснее чувствовала, что Гертруда мне становится в тягость и что присутствие ее в нашей среде мне неприятно.

Так именно обстояло дело, когда меня навестил мой друг, доктор Мартен из Валь-Травéра во время одного из объездов своих больных. Он очень заинтересовался тем, что я ему рассказал о положении Гертруды, и крайне изумился вначале, что она дошла до такой исключительной отсталости, будучи всего только слепой, но я объяснил, что ее увечье было усугублено еще глухотой старухи, все это время присматривавшей за ней и никогда с ней не разговаривавшей, так что несчастная девочка пребывала в состоянии полной заброшенности. Он стал уверять меня, что в таком случае мне нечего приходить в отчаяние, а что я просто плохо приступил к делу.

— Ты хочешь начать постройку, — сказал он мне, не обеспечив себя сколько-нибудь твердой почвой. — Подумай, что все в этой душе — еще хаос и что даже самые первые очертания ее еще не наметились. Для начала следовало бы собрать в один пучок несколько осязательных и вкусовых ощущений и прикрепить к ним в виде этикетки какой-нибудь звук или слово, которое ты должен воспроизводить ей как можно чаще, а потом

добиваться, чтобы она его повторила. Главное, не вздумай с ней очень спешить: занимайся с ней в определенные часы и никогда не занимайся очень долго подряд…

— Одним словом, вся эта метода, — прибавил он, после того как растолковал мне ее до мелочи, — не заключает в себе никакого колдовства. Я ничего тут не выдумываю, и многие люди применяют ее на деле. Неужели ты сам не вспоминаешь? В то время как мы были с тобой в философском классе, наши преподаватели разбирали с нами аналогичный случай в связи с Кондильяком и его оживленной статуей… Если только, — оговорился он, — я не прочел того же самого позже в каком-нибудь психологическом журнале… Впрочем, неважно, на меня это произвело впечатление, и я даже запомнил имя несчастной девочки, гораздо более обиженной природой, чем Гертруда, поскольку она была слепой и глухонемой, которую подобрал доктор какого-то английского графства около половины истекшего столетия. Ее звали Лаура Бриджмен. Доктор этот вел дневник (тебе тоже не мешало бы это делать) успехов ребенка или, во всяком случае, вел его вначале, отмечая в нем приемы своего обучения. В течение ряда дней и недель

он упорно заставлял ее осязать два предмета — булавку и перо, а затем она ощупывала на листе бумаги с буквами для слепых контуры двух английских слов pin и pen. В течение нескольких недель он не добился никаких результатов. Тело казалось необитаемым. Но доктор не терял надежды. «Я напоминаю собой человека, — сообщал он, — перегнувшегося через край глубокого черного колодца и с отчаянием забрасывающего туда веревку в надежде, что за нее ухватится чья-то рука». Ибо он ни минуты не сомневался, что там, на дне этой пучины кто-то есть и что в конце концов его веревка будет все-таки схвачена. И вот однажды он заметил, что бесстрастное лицо Лауры осветилось подобием улыбки; я думаю, что в эту минуту слезы любви и благодарности хлынули их его глаз и он упал на колени, вознося хвалы Создателю. Дело в том, что Лаура вдруг сообразила, чего от нее добивался доктор. Спасена! С этого дня она вся превратилась во внимание; успехи сделались быстрыми; вскоре она принялась учиться самостоятельно и впоследствии стала директрисой института слепых — возможно, впрочем, что и не она, а другая… потому что не так давно были отмечены новые случаи, о которых много говорили газеты и журналы, на

все лады удивляясь, — на мой взгляд, совершенно неосновательно, — что такого рода создания могут быть счастливы. Но факт остается фактом: каждая из этих замурованных оказалась счастливой, и, едва получив возможность изъясняться, они начинали рассказывать о своем счастье. Журналисты, естественно, приходили в восторг и извлекали отсюда поучение для тех, кто, «наслаждаясь» всеми своими пятью чувствами, смеют при этом жаловаться…

По этому поводу между Мартеном и мной разгорелась дискуссия, поскольку я восставал против его пессимизма и не допускал (как, по-видимому, допускал он), что наши чувства, в конечном счете, способны только на то, чтобы довести нас до отчаяния.

— Я думаю совсем иначе, — заявил я. — Я хочу сказать, что душа человека гораздо легче и охотнее рисует себе красоту, приволье и гармонию, чем беспорядок и грех, которые повсюду затемняют, грязнят, пачкают и сокрушают этот мир, о чем свидетельствует нам и чему заодно способствуют и помогают имеющиеся у нас пять чувств. Так что к вергилиевскому «fortunatos nimium» я скорее прибавил бы: «si sua mala nescient», чем: «si sua

bona norint»[21], которому нас обычно учат. О, как счастливы были бы люди, если бы не ведали зла!

Он рассказал мне еще об одной повести Диккенса, которая, по его мнению, была непосредственно навеяна случаем Лауры Бриджмен и которую он пообещал мне скоро прислать. Через четыре дня я действительно получил «Сверчка на печи», которого прочел с большим удовольствием. Это немного растянутая, но временами волнующая история слепой девушки, которую отец, бедный игрушечный мастер, все время окружает иллюзией комфорта, богатства и счастья; ложь, которую искусство Диккенса из всех сил старается представить святой, но которую я, благодарение Богу, не стал бы пробовать на моей Гертруде.

На следующий же день после посещения Мартена я начал применять на практике его метод, вкладывая в него все свои силы. Я очень жалею теперь, что не делал заметок (как он мне это советовал) о первых шагах Гертруды по той сумеречной дороге, по которой я мог вести ее вначале только ощупью. В первые недели понадобилось

---

[21] Примечания: 21

Ссылка на стихи Вергилия (Георгики, II, 458–459): «О блаженные слишком, — когда б свое счастие знали, — жители сел!» Слова «когда б свое счастие знали» герой повести хотел бы заменить выражением «если б они не ведали зла». — *Примеч. пер.*

гораздо больше терпения, чем можно было бы думать, и не столько из-за времени, которое я затрачивал на это начальное воспитание, сколько вследствие упреков, которые это воспитание на меня навлекло. Мне тягостно писать, что упреки эти исходили от Амелии; впрочем, если я и упоминаю о них, то потому лишь, что не связал с ними никакого враждебного или горького чувства, — во всеуслышание заявляю об этом на тот случай, если бы листки эти со временем были ею прочитаны. (Разве прощение обид не было заповедано нам Христом немедленно вслед за притчей о заблудшей овце?) Скажу больше: в те самые дни, когда я сильнее всего страдал от ее упреков, я никак не мог сердиться на то, что она ставила мне на вид, будто я уделяю Гертруде чересчур много времени. Я скорее упрекнул бы ее за недостаточно твердую веру в успешный результат моих трудов. Больше всего меня тяготило ее маловерие; но и оно, впрочем, меня не обескураживало. Сколько раз мне приходилось выслушивать: «Если бы из этого хоть что-нибудь выходило!..» Она упорно держалась того мнения, что труды мои пропадают зря; и ей, конечно, казалось нелепостью, что я посвящаю этому делу время, которым я, по ее разумению, мог с

неизмеримо большей пользой распорядиться иначе. И всякий раз, как я был занят Гертрудой, она старалась ввернуть, что кто-то или что-то во мне очень сильно нуждается, а я растрачиваю из-за этой девочки минуты, которые следовало бы отдать другим. А кроме того я думаю, что ее мучила своеобразная материнская ревность, поскольку у нее то и дело срывалось: «Ты никогда так не возился ни с одним из наших детей». И это правда; хотя я очень люблю своих детей, мне ни разу еще не приходило в голову, что я обязан подолгу с ними возиться.

Я часто склонялся к выводу, что притча о заблудшей овце труднее других укладывается в сознании людей, считающих себя, однако, истинными христианами. Тот факт, что одна из овец, сама по себе, может в глазах пастуха оказаться дороже всех остальных взятых вместе, — вот что было выше их понимания! Слова: «И если есть у человека сто овец и одна из них заблудится, не оставит ли он девяносто девять из них на горе и не пойдет ли за той, которая заблудилась?» Эти слова милосердия были бы объявлены такими людьми, — посмей они только говорить прямо, — возмутительнейшей несправедливостью.

Первые улыбки Гертруды утешили меня во всем

и воздали мне за труды сторицей. Ибо «истинно говорю вам, что овца эта, когда пастух ее отыщет, доставит ему больше радости, чем все девяносто девять овец, которые ни разу не заблуждались». Да, да, поистине должен сказать, что ни разу еще улыбка кого-либо из моих детей не затопляла мое сердце такой серафической радостью, как улыбка, которая забрезжила на лице этой статуи в то утро, когда она, несомненно, вдруг поняла и заинтересовалась всем, что я упорно стремился ей преподать в течение долгих дней.

Пятое марта. Я заметил себе эту дату, как обычно замечают день рождения. Это даже не столько улыбка, сколько преображение. Вдруг все черты ее одухотворились; это было внезапное озарение, напоминавшее пурпуровое свечение высоких Альп, от которого еще до зари начинает трепетать снеговая вершина, тем самыми уже отмеченная и выхваченная из мрака. Это можно было назвать мистической окраской. Я представил себе равным образом вифсаидскую купель в ту минуту, когда в нее сходит ангел возмутить спящую воду. Я почувствовал себя точно восхищенным от земли, созерцая блаженное выражение, которое появилось вдруг у Гертруды; мне представилось, что сила, посетившая ее в это мгновение, даже не

разум, а скорее — любовь. И тогда меня охватил столь сильный порыв признательности, что, запечетлевая поцелуй на ее прекрасном челе, я мысленно возносил его Богу.

Насколько трудно было добиться первого результата, настолько последующие успехи были стремительны. Сейчас мне стоит большого труда ясно припомнить, какими способами мы продвигались; иногда мне казалось, что Гертруда шагает вперед скачками, словно издеваясь над методичностью. Я вспоминаю, что вначале я налегал скорее на качества, а не на разнообразие предметов: горячее, холодное, теплое, сладкое, горькое, вяжущее, гибкое, легкое; затем шли движения: отстранять, придвигать, поднимать, пересекать, ложиться, связывать, разбрасывать, собирать и т. д. Очень скоро, позабывши о методе, я начал с нею беседы, не задумываясь над тем, в какой мере поспевает за мной ее ум; я действовал медленно, завлекая и приглашая ее задавать мне вопросы, сколько вздумается. В течение времени, когда она оставалась предоставленной самой себе, ум ее, несомненно, работал, а поэтому каждая новая встреча была для меня новым удивлением: я чувствовал, что ее отделяет от меня менее плотная ночь. Как-никак, — говорил я себе, — а это похоже

на то, как теплый воздух и настойчивая работа весны мало-помалу одолевают зиму. Сколько раз поражался я тому способу, каким стаивает снег. Невольно думаешь, что покров его разрушается снизу, хотя внешний облик ничуть не меняется. Каждую зиму Амелия попадает впросак и возвещает, что снег лежит по-прежнему, не меняясь; мы все еще верим в его плотность, а он вдруг возьмет и осядет и расступится здесь и там, пропуская новую жизнь.

Из опасения, как бы Гертруда не зачахла, неотлучно, точно старуха, засиживаясь у камелька, я начал выводить ее на прогулки. Но она соглашалась гулять не иначе, как опираясь на мою руку. Удивление и страх, выказанные ею вначале, на первых прогулках, навели меня на мысль, прежде чем она сама мне об этом сказала, что она никогда еще на пускалась в окружающий мир. В той хижине, где я ее встретил, все заботы о ней сводились к заботам о том, чтобы давать ей пищу и помогать ей тем самым не умереть, — я никоим образом не сказал бы: жить. Ее темная вселенная ограничивалась стенами той единственной комнаты, в которой она неизменно оставалась; в редких случаях осмеливалась она доходить до порога в летние дни, когда дверь открывалась

на огромную светлую вселенную. Позже она мне рассказывала, что, слушая пение птиц, она представляла себе это пение таким же непосредственным проявлением света, как и тепло, ласкавшее ей щеки и руки, и что она, — правда, не особенно задумываясь над этим, — находила вполне естественным, чтобы нагретый воздух начинал петь, подобно тому, как стоявшая у огня вода закипала. Но, в сущности, все эти вещи оставляли ее спокойной, и она ни на чем не останавливала внимания, пребывая в состоянии глубокого оцепенения до того дня, когда я стал ей уделять свое время. Я вспоминаю ее нескончаемые восторги после того, как я ей объяснил, что слышимые ею голоса исходят из живых существ, единственное назначение которых, по-видимому, — ощущать и выражать радость, разлитую в природе. (Именно с этого дня она взяла привычку говорить о себе: я полна радости, как птица.) И, однако, мысль, что пение это говорило о великолепии зрелища, которого она не могла видеть, начинала вызывать в ней грусть.

— Это правда, — спрашивала она, — земля действительно так прекрасна, как об этом поют птицы? Почему об этом так мало говорят? Почему вы не говорите со мной об этом? Вы боитесь меня

огорчить, зная, что сама я не могу ее увидеть? Вы неправы. Я ведь отлично слышу пение птиц, и мне кажется, я понимаю их речи.

— Люди, обладающие зрением, не умеют их так хорошо слышать, как ты, Гертруда, — говорил я, желая ее утешить.

— А почему другие животные не поют? — спросила она.

Иногда вопросы ее меня озадачивали, и я на мгновение терялся, ибо она заставляла меня задумываться над тем, что я до сих пор принимал без всякого удивления. Таким-то образом я впервые сообразил, что, чем более животное связано с землей, тем оно грузнее и печальнее. Я старался ей это растолковать; я говорил ей о белке и ее играх.

Она спросила меня потом, неужели из всех животных летают лишь птицы.

— Есть еще бабочки, — пояснил я.

— А они поют?

— Нет, они по-иному рассказывают о своей радости. Она написана красками на их крыльях… — И я стал описывать пеструю расцветку мотыльков.

28 февраля

Мне нужно вернуться назад: вчера я позволил

себе уйти чересчур далеко.

Для обучения Гертруды я должен был сам изучить алфавит слепых; но вскоре она стала гораздо искуснее меня читать этот шрифт, в котором я с большим трудом разбирался и который невольно предпочитал читать глазами, а не руками. Впрочем, не один я занимался ее обучением. Вначале мне даже была приятна помощь в этой работе, потому что я завален делами моей общины, дома которой очень разбросаны, так что посещение больных и бедных вынуждает меня к разъездам, иной раз очень далеким. Жак умудрился сломать себе руку, катаясь на коньках во время рождественских каникул, которые он приехал провести вместе с нами, — дело в том, что в недавнее время он снова вернулся в Лозанну, где прежде проходил начальную школу, а сейчас поступил на богословский факультет. Перелом оказался неопасным, и Мартен, которого я тотчас же пригласил, сумел вправить кость, не прибегая к содействию хирурга; но соблюдение необходимых предосторожностей заставляло его сидеть дома. Он вдруг начал интересоваться Гертрудой, на которую до сих пор не обращал внимания, и взялся помогать мне обучать ее чтению. Он помогал мне лишь во время своего выздоровления,

около трех недель, но за этот период Гертруда сделала значительные успехи. Теперь ее охватило необыкновенное рвение. Казалось, что ум ее, еще вчера погруженный в дрему, с первых же шагов, еще раньше, чем научился ходить, пожелал уже бегать. Я удивлялся, как легко она формулирует свои мысли и как быстро научилась выражаться, и отнюдь не по-детски, а вполне правильно, пользуясь для наглядной передачи своей мысли — и притом самым для нас неожиданным и забавным образом — или теми предметами, которым ее только что обучили, или тем, что мы ей рассказывали или описывали, в случае невозможности предоставить ей непосредственно самую вещь: дело в том, что при объяснении предметов, для нее недоступных, мы, подражая методам телеметража, пользовались вещами, которые она могла воспринять или осязать.

Я не нахожу нужным отмечать здесь начальные ступени этого обучения, тем более, что они, вероятно, имеют место при обучении всех слепых. Думаю, что в каждом отдельном случае вопросы, связанные с цветами, ставили каждого учителя перед одними и теми же затруднениями. (В связи с этим мне пришлась отметить, что в Евангелии нигде не упоминается о цветах.) Не

знаю, как в таких случаях поступали другие; что до меня, я начал с перечисления цветов спектра в том порядке, в каком их нам показывает радуга; но сейчас же в сознании Гертруды произошло смешение между окраской и светом; и я начал себе уяснять, что ее воображение было не в силах установить различие между свойством оттенка и тем, что художники, если не ошибаюсь, называют «колером». Ей стоило огромного труда уяснить себе, что каждый цвет может быть в свою очередь более темным и что цвета могут до бесконечности смешиваться между собой. Ничто еще так ее не озадачивало, и она беспрестанно возвращалась к этой теме.

Между прочим, мне удалось съездить с ней в Невшатель, где я дал ей возможность послушать концерт. Место каждого инструмента в симфонии позволило мне вернуться к вопросу о цветах. Я обратил внимание Гертруды на различие в звучности медных, деревянных и струнных и на то, что каждый из них способен по-своему передавать, с большей или меньшей силой, всю гамму звуков — от низких до самых высоких. Я предложил ей по аналогии представить себе, что в природе красная и оранжевая окраска соответствует звучанию рожков и тромбонов; желтые и

зеленые — скрипкам, виолончелям и контрабасам; фиолетовые и синие — кларнетам и гобоям. Какое-то внутренне восхищение заменило с тех пор ее сомнения.

— Как это должно быть красиво! — повторяла она.

И потом вдруг:

— Ну, а как же белое? Я не представляю себе, на что похоже белое…

И мне сразу стало ясно, в какой мере мое сравнение оказалось неубедительным.

— Белое, — попробовал я все-таки сказать, — есть предельная высота, на которой все тона смешиваются, подобно тому, как черное представляет их наиболее низкий предел. — Но тут же и я, и она отказались от этого сравнения, поскольку Гертруда заметила, что и деревянные, и медные, и скрипки явственно отличаются друг от друга как на самых низких, так и на самых высоких нотах. Сколько раз, совсем как тогда, мне приходилось вначале молчать, теряться и размышлять, каким бы мне сравнением воспользоваться.

— Ну, ладно, — сказал я ей под конец, — ты можешь представить себе белое как нечто беспримесно чистое, нечто, вовсе не содержащее в

себе цвета, а один только свет; черное же, напротив, перегружено цветом до того, что делается совсем затемненным.

Я привожу эти обрывки разговора в качестве примера трудностей, на которые я натыкался очень часто. Гертруда обладала тем приятным свойством, что никогда не делала вида, что все понимает, а это часто случается с людьми, которые засоряют таким образом свою голову неточными и смутными сведениями, отчего все их рассуждения оказываются со временем порочными. До тех пор, пока она не составляла себе вполне ясного представления, каждое сведение являлось для нее причиной волнений и борьбы.

Что касается моих аналогий, то трудность увеличивалась еще от того, что понятия цвета и тепла теснейшим образом переплетались в сознании, так что впоследствии мне пришлось положить немало трудов для того, чтобы их разъединить.

Таким образом, я убедился на ее примере, до какой степени зрительный мир отличается от мира звуков, в какой мере всякое сравнение, привлекаемое для объяснения одного с помощью другого, оказывается несостоятельным.

29 февраля

Усердно занявшись моими сравнениями, я ничего еще не сказал о том огромном удовольствии, которое получила Гертруда на невшательском концерте. Там исполняли не что иное, как «Пасторальную симфонию». Я сказал «не что иное», потому что нет такого произведения, — и это вполне понятно, — с которым мне так хотелось бы ее познакомить. Долгое время после того, как мы вышли из концертного зала, Гертруда все еще не нарушала молчания и, по-видимому, утопала в восторге.

— Неужели то, что вы видите, в самом деле так же прекрасно, как это? — проговорила она наконец.

— Так же прекрасно, как что, моя милая?

— Как сцена на берегу ручейка?

Я ей ответил не сразу, невольно задумавшись, что все эти несказанные созвучия изображали мир не таким, как он есть, а таким, каким он мог быть, каким он мог бы стать без существования зла и греха. Кстати, я ни разу еще не нашел в себе мужества поговорить с Гертрудой о зле, о грехе, о смерти.

— Люди, имеющие глаза, — сказал я наконец, — сами не знают о своем счастье.

— А я, не имеющая глаз, — вскричала она в ту

же минуту, — знаю, какое счастье — слушать.

Она прижалась ко мне на ходу и повисла у меня на руке, как делают маленькие дети:

— Пастор, разве вы не чувствуете, как я счастлива? Я говорю это не для того, чтобы вам было приятно; о, нет! Посмотрите на меня: разве нельзя увидеть по лицу, когда человек говорит неправду? О, я отлично узнаю это по голосу. Помните тот день, когда вы мне сказали, что вы не плачете, вскоре после того как тетушка (так она называла мою жену) упрекнула вас в том, что вы ничего не хотите для нее сделать. Я вскричала про себя: «Пастор, вы *лжете*!» О, я сразу различила по голосу, что вы не говорите мне правду. Мне даже незачем было прикасаться к вашим щекам, чтобы узнать, что вы плакали. — И она громким голосом повторила: — Мне даже незачем было прикасаться к вашим щекам.

Я покраснел, так как мы находились еще в городе и прохожие обернулись. А она тем временем продолжала:

— Не следует даже пытаться склонять меня этому верить, знаете? Во-первых, потому, что было бы нечестно пытаться обмануть слепую… А затем еще потому, что из этого бы ровно ничего не вышло, — прибавила она со смехом. — Скажите

мне, пастор, вы ведь не несчастны, не правда ли?

Я поднес ее руку к своим губам, желая дать ей почувствовать без лишних слов, что известной долей этого счастья является она сама, и тут же ответил:

— О, нет, Гертруда, я счастлив. Отчего бы мне быть несчастным?

— Однако иногда вы плачете?

— Иногда я плакал.

— Но не после того раза, о котором я говорю?

— Нет, после этого я не плакал.

— И у вас не было больше желания плакать?

— Нет, Гертруда.

— Скажите еще… у вас не появлялось потом желания мне солгать?

— Нет, дитя мое.

— Можете ли вы мне обещать, что вы никогда не станете меня обманывать?

— Обещаю тебе.

— Хорошо! А теперь скажите мне сию же минуту: я хорошенькая?

Этот неожиданный вопрос поставил меня в тупик, тем более, что до сегодняшнего дня я совершенно не желал обращать внимание на ее неоспоримую красоту; мало того, мне показалось совершенно ненужным делом, что она этим за-

интересовалась.

— К чему тебе это знать? — поспешно спросил я.

— Я делаю это из щепетильности, — сказала она. — Мне хотелось бы знать, не очень ли я… — как это вы говорите? — не очень ли я детонирую в симфонии? Кого же мне об этом спросить, пастор?

— Пастору не приходится придавать значение красивой наружности, — заметил я, защищаясь по мере сил.

— Почему?

— Потому что ему бывает достаточно одной душевной красоты.

— Вам хочется заставить меня думать, что я безобразна, — сказала она с очаровательной гримаской.

Я не удержался и воскликнул:

— Гертруда, вы сами прекрасно знаете, что вы красивы.

Она замолчала, и на лице у нее появилось очень серьезное выражение, которое не покидало ее до самого возвращения домой.

Едва мы вернулись, как Амелия нашла случай дать мне понять, что она не одобряет моей поездки. Конечно, она могла бы заявить об этом

раньше; но, согласно своему обыкновению ничему не препятствовать, она позволила нам сначала уехать для того, чтобы потом получить право осудить. Она, собственно говоря, не сделала мне ни одного упрека, но самое ее молчание было красноречиво. Разве неестественно было справиться о том, что мы слушали, раз ей было отлично известно, что мы с Гертрудой отправились на концерт? Разве девочка не почувствовала бы больше радости, услышав, что к посещению ею концерта проявляется некоторый интерес? Впрочем, нельзя сказать, чтобы Амелия все время молчала, но она, видимо, с совершенно определенным умыслом старалась говорить о самых безразличных вещах. И только поздно ночью, после того как дети отправились спать, я отвел ее в сторону и строго спросил:

— Ты недовольна тем, что я сводил Гертруду в концерт?

В ответ я услышал:

— Ты делаешь для нее то, чего никогда бы не сделал ни для кого из нас.

Итак, все время одна и та же обида, все то же неумение понять, что праздник устраивается для ребенка, вернувшегося со стороны, а не для тех, кто оставался дома, — как говорит нам притча.

Мне было больно и оттого, что Амелия не приняла во внимание увечья Гертруды, для которой никаких других праздников не существовало. И если у меня сегодня случайно оказалось свободное время, у меня, человека всегда очень занятого, то упрек Амелии был тем более несправедлив, что она хорошо знала, как были сегодня заняты наши дети: у одного — срочная работа, у другого — неотложное дело; сама же Амелия совершенно не интересовалась музыкой, так что, если бы она свободно располагала временем, и тогда ей никогда не пришло бы в голову отправиться на концерт, хотя бы он устраивался у самых дверей нашего дома.

Но еще больше огорчило меня, что Амелия решилась высказать все это в присутствии Гертруды; хотя я и отвел ее несколько в сторону, но она нарочно повысила голос для того, чтобы Гертруда ее слышала. Меня терзала не грусть, а скорее негодование, и через несколько минут, когда Амелия удалилась, я подошел к Гертруде, взял ее маленькую хрупкую ручку, поднес к лицу и сказал:

— Ты видишь, на этот раз я не плакал.

— О да, но на этот раз — моя очередь, — сказала она, выжимая из себя улыбку и, когда она подня-

ла ко мне свое прекрасное лицо, я вдруг заметил, что все оно залито слезами.

8 марта

Единственное удовольствие, которое мог бы доставить Амелии, — это воздерживаться от вещей, которые ей не нравятся. Только такие, только отрицательные доказательства любви она мне позволяет. Что она до последней степени обеднила мою жизнь, это она вряд ли себе представляет. Дай Господи, чтобы она когда-нибудь потребовала от меня трудного подвига. С какой бы радостью сделал я для нее что-нибудь неслыханно смелое, опасное! Но ее, видимо, отталкивает все, что не связано с повседневностью, так что жизненный рост рисуется ей прибавлением к прошлому неизменно одинаковых дней. Ей не хотелось бы, она не приняла бы от меня не то что новой добродетели, но хотя бы только углубления добродетели уже известной. С беспокойством, если не с осуждением, смотрит она на каждый душевный порыв, усматривающий в христианстве не одно только обуздание инстинктов.

Сознаюсь, что по прибытии в Невшатель я так и не сходил расплатиться с нашей суровщицей, как просила меня Амелия, и не привез ей коробку ниток. Но за это я потом так рассердился на себя,

что сама она, наверное, сердилась бы не больше; тем более, что я дал себе твердое слово не забыть, памятуя, что «кто проявляет верность в малых делах, проявит ее и в великих», а кроме того я заранее страшился выводов, которые она могла бы сделать из этой забывчивости. Мне определенно хотелось, чтобы она меня как-нибудь попрекнула, ибо в данном случае мне было бы поделом. Но так уже обычно бывает, что мнимая обида берет верх над конкретной виной; о, как чудесна была бы жизнь, если бы мы довольствовались одними реальными бедствиями, не преклоняя слуха к призракам и химерам нашего ума… Впрочем, я, кажется, начинаю записывать сюда вещи, которые отлично могли бы послужить темой для проповеди (Луки, XII, 29 «Не питайте помыслы неспокойные»). А я ведь решил заносить сюда историю умственного и морального развития Гертруды. Продолжаю.

Я думал, что буду в силах проследить это развитие шаг за шагом, и начал свой рассказ с большими подробностями. Но помимо того, что у меня нет времени детально описать все фазы этого развития, мне необыкновенно трудно установить теперь его точную последовательность. Отдавшись течению рассказа, я сначала изло-

жил мысли Гертруды, затем наши беседы, уже сравнительно недавние, и всякий, кто случайно прочтет эти страницы, будет несомненно поражен, узнав, как скоро она научилась правильно выражаться и мыслить вполне основательно. Дело в том, что развитие ее отличалось поразительной быстротой: я часто изумлялся, с какой стремительностью ловит она ту интеллектуальную пищу, которую я ей подносил, и все то, чем она могла овладеть, усваивая ее себе в результате неослабной работы сравнения и внутреннего созревания. Она вызывала мое удивление тем, что постоянно угадывала или опережала мою мысль, и часто за период от одного разговора к другому я почти не узнавал своей ученицы.

По истечении нескольких месяцев никак нельзя было бы предположить, что мысль ее столь долгое время пребывала в дремоте. Она выказывала даже большую зрелость суждения, чем это свойственно большинству молодых девушек, отвлекаемых соблазнами внешнего мира и рассеивающих лучшую часть своего внимания на бесчисленные вздорные занятия. А кроме того она, по-видимому, была много старше, чем нам сначала показалось. Можно было подумать, что она старалась обратить себе на пользу свою

слепоту, а я готов был признать, что во многих отношениях это увечье сообщало ей известные преимущества. Я невольно сравнивал ее с Шарлоттой, и, когда мне случалось иногда повторять с моей дочерью уроки и наблюдать, как ум ее отвлекается при виде первой же пролетевшей по комнате мушки, я думал: «Странно, она несомненно лучше слушала бы меня, если бы была лишена зрения».

Само собою разумеется, Гертруда питала большое пристрастие к чтению; я же, верный своей заботе возможно чаще сопровождать работу ее мысли, не желал, чтобы она много читала, или, вернее, чтобы она много читала без меня, в особенности же Библию, — желание, пожалуй, очень странное для протестанта. Я вернусь еще к этой теме; но прежде чем приступить к столь важному вопросу, мне хочется рассказать один мелкий случай, связанный с музыкой, случай, имевший место — если я правильно вспоминаю — некоторое время спустя после невшательского концерта.

Да, концерт этот мы посетили, по-видимому, недели за три до летних каникул, на которые Жак снова приехал домой. В этот промежуток времени мне несколько раз случалось оставлять Гертруду

у небольшой фисгармонии в нашей часовне; за инструментом обычно у нас сидит мадемуазель де ла М., у которой Гертруда теперь живет. Луиза де ла М. еще не начинала музыкальных занятий с Гертрудой. Несмотря на всю мою любовь к музыке, я ее толком не знаю, и потому чувствовал себя мало способным показать что-нибудь моей ученице в те разы, когда я подсаживался рядом с ней к клавиатуре.

— Нет, оставьте, — сказала она при первых же сделанных мною попытках. — Я хочу упражняться одна.

И я оставил ее тем охотнее, что часовня казалась мне мало подходящим местом для того, чтобы сидеть там с Гертрудой наедине, — отчасти из уважения к святости места, отчасти из опасения сплетен, хотя с ними я, как правило, отнюдь не считаюсь; но в данном случае дело касалось девушки, а не одного лишь меня. Когда в моих пастырских обходах мне это бывало по пути, я доводил ее до церкви и оставлял там зачастую на долгие часы, а потом заходил за нею на обратном пути. И она терпеливо занималась, подыскивая созвучия, и вечером я заставал ее внимательно вслушивавшейся в какой-нибудь аккорд, погружавший ее в длительное восхищение.

В один из первых дней августа, тому будет чуть-чуть побольше полугода, я, не заставши дома бедной вдовы, которую мне хотелось сколько-нибудь утешить, повернул назад и зашел за Гертрудой в церковь, где я ее покинул; она не ожидала меня так скоро, и я был крайне изумлен, застав вместе с нею Жака. Ни он, ни она не слышали моего прихода, так как слабый шум, произведенный мною, был покрыт звуками органа. По натуре своей я не склонен подслушивать, но вещи, касающиеся Гертруды, я принимал близко к сердцу; приглушая шум своих шагов, я крадучись взбежал по нескольким ступенькам лестницы. Должен признаться, что я не услышал ни одного слова, которого оба они не могли бы свободно сказать при мне. Но Жак стоял возле нее, и я видел, как несколько раз он протягивал руку, направляя пальцы Гертруды по клавишам. Разве не странно, что она принимала указания и руководство, которые еще недавно находила совершенно излишними? Я был поражен и огорчен гораздо сильнее, чем мне хотелось, и приготовился было вмешаться, но тут заметил, что Жак вдруг посмотрел на часы.

— Мне нужно тебя покинуть, — сказал он, — отец скоро вернется.

Я видел, как он поднес к губам ее руку, которую она не отняла; он вышел. Через несколько минут я бесшумно спустился по лестнице, открыл церковную дверь с таким расчетом, чтобы Гертруда могла услышать и подумать, что я только что возвратился.

— Ну, Гертруда, пора идти. А как твой орга`н? Хорошо?

— О да, очень хорошо, — сказала она мне самыми обыкновенным голосом, — сегодня я, безусловно, сделала некоторые успехи.

Глубокая грусть наполнила мое сердце; но ни я, ни она ни одним словом не обмолвились о только что описанной сцене.

Мне не терпелось остаться наедине с Жаком. Жена, Гертруда и дети имели обыкновение уходить вскоре после ужина и предоставляли нам обоим сидеть за занятиями до позднего часа. Я дожидался этой привычной минуты. Но, когда пришло время начать разговор, я почувствовал, что сердце мое переполнено тревожными чувствами, и я не сумел, вернее, не осмелился затронуть мучительную для меня тему. Первым нарушил молчание Жак, неожиданно заявив о своем желании провести все каникулы вместе с нами. Между тем несколько дней тому назад

он сообщил о своем намерении сделать поездку в Высокие Альпы[22], которую я и жена горячо одобрили; я знал, что его ждет Т., его товарищ, намеченный им себе в спутники; поэтому эта внезапная перемена показалась мне стоящей в связи со сценой, которую я недавно обнаружил. Меня сразу охватило глубокое негодование, но я испугался, что, если я дам волю своему чувству, мой сын наглухо замкнется в себя; я опасался также и того, что мне придется раскаиваться в допущенных резкостях, а поэтому, сделав над собою усилие, я самым естественным тоном спросил:

— А я думал, что Т. на тебя твердо рассчитывает.

— О, нет, — возразил он, — Т. на меня твердо не рассчитывал, и к тому же он нисколько не огорчится, если с ним поедет другой. Я отдохну здесь не хуже, чем в Альпах, и думаю, что употреблю свое время на что-нибудь более полезное, чем лазанье по горам.

— Одним словом, — заметил я, — ты нашел себе здесь занятие.

Он взглянул на меня, почуяв в моем голосе легкую иронию, но, не угадывая еще ее основания,

---

[22] Примечания: 22

Один из департаментов Франции на границе с Швейцарией. — *Примеч. пер.*

непринужденным тоном сказал:

— Вы же знаете, что книгу я всегда предпочитал палке альпиниста.

— О да, мой друг, — произнес я и тоже пристально посмотрел на него. — Но не находишь ли ты, что уроки игры на фисгармонии занимают тебя еще больше, чем чтение?

Жак, верно, почувствовал, что краснеет, потому что поднес руку ко лбу, точно желая загородиться от света лампы. Но он быстро оправился и голосом, в котором мне приятно было бы слышать меньше уверенности, произнес:

— Не осуждайте меня чересчур строго, отец. У меня не было намеренья таиться от вас; вы на несколько минут предупредили признание, которое я собирался вам сделать.

Он говорил с расстановкой, точно читая по книге, и округлял фразы с таким спокойствием, что казалось, будто речь шла совсем не о нем. Проявленное им исключительное самообладание вывело меня из себя. Чувствуя, что я хочу говорить, он поднял руку, точно желая сказать: погодите, вы еще успеете высказаться, дайте мне сначала докончить; но я схватил его за плечо и, сильно встряхнув его:

— Если я увижу, что ты заронил тревогу в чи-

стую душу Гертруды, — бурно вскричал я, — я не желаю тебя больше видеть! Мне не нужны твои признания! Злоупотребить увечьем, невинностью, чистотой — это такая гнусная подлость, на которую я никогда не считал тебя способным; и ты еще говоришь об этом с таким отвратительным хладнокровием!.. Слушай внимательно: я опекаю Гертруду и ни одного дня больше не потерплю, чтобы ты с нею разговаривал, прикасался к ней, ее видел!

— Отец, — продолжал он все тем же спокойным тоном, который выводил меня из терпения, — знайте, что я уважаю Гертруду ничуть не меньше, чем вы. Вы глубоко заблуждаетесь, усматривая хотя бы крупицу предосудительности, я не говорю уже о моем поведение, но даже в моих намерениях или в глубине моего сердца. Я люблю Гертруду и уважаю ее, — уверяю вас, ничуть не меньше, чем люблю. Мысль о том, чтобы смутить ее, злоупотребить ее невинностью и слепотой представляется мне такой же отвратительной, как и вам. — Он заявил мне, что хочет быть для нее опорой, другом и мужем, но что он не находил нужным оповещать меня до того, как его решение жениться на девушке еще не было принято; что, наконец, сама Гертруда еще ничего не знает об

этом решении, так как он желал предварительно переговорить со мной. — Вот признание, которое я собирался вам сделать, поверьте, мне больше нечего вам открывать.

Слова эти повергли меня в глубокое изумление. У меня стучало в висках. Я приготовился к упрекам и по мере того, как он отнимал у меня всякий повод к негодованию, чувствовал себя все более безоружным, так что к концу его речи я ничего не нашелся сказать.

— Идем спать, — заметил я под конец, после длительного молчания. Я поднялся и положил руку ему на плечо. — Завтра я скажу тебе, что я об этом думаю.

— Скажите мне, по крайней мере, что вы на меня больше не сердитесь.

— Мне потребуется ночь для размышления.

Когда я встретился с Жаком на следующий день, мне серьезно показалось, что я увидел его в первый раз. Я вдруг уяснил себе, что мой сын уже не мальчик, а молодой человек; пока я считал его мальчиком, его любовь, которую я случайно открыл, представлялась мне чем-то чудовищным. Я провел целую ночь, убеждая себя, что все это было, напротив, вполне естественно и нормально. Чем же объяснить, что недовольство

мое сделалось от этого еще более острым? Все это объяснилось для меня значительно позже. А пока что мне предстояло переговорить с Жаком и объявить ему мое решение. Какой-то инстинкт, не менее непогрешимый, чем совесть, подсказывал мне, что необходимо во что бы то ни стало помешать этому браку.

Я увлек Жака в глубину сада. Там я его сразу спросил:

— Ты открылся Гертруде в своем чувстве?

— Нет, — ответил он. — Возможно, что она сама догадывается о моей любви; но я ей ничего не говорил.

— В таком случае дай мне слово, что ты не будешь с ней об этом заговаривать.

— Отец, я твердо решил вас слушаться; но не могли бы вы мне объяснить ваши мотивы?

Я затруднялся ему их назвать, не будучи уверен, что слова, приходившие мне в голову, окажутся наиболее подходящими в эту минуту. Сказать по правде, совесть гораздо больше, чем разум, подсказывала мне тогда мое поведение.

— Гертруда еще очень молода, — сказал я наконец. — Подумай, что она не была еще у причастия. Тебе известно, что она не похожа на обыкновенных девушек и что развитие ее было очень

поздним. Она несомненно окажется излишне чувствительной — при ее-то доверчивости! — к первым же словам любви, которые услышит. Именно поэтому не следует их ей говорить. Овладевать тем, кто не может защищаться, — подло; я знаю, что ты не подлец. Ты говоришь, что в чувствах твоих нет ничего предосудительного; я же считаю их преступными, потому что они преждевременны. Гертруда еще не обладает благоразумием, а потому мы обязаны проявить его вместо нее. Это дело нашей совести.

У Жака есть одна великолепная черта: для того, чтобы его удержать, нужно сказать ему: «Я обращаюсь к твоей совести»; мне часто приходилось прибегать к этому средству в его детские годы. Между тем я поглядывал на него и думал, что, если бы Гертруда могла его видеть, ей несомненно понравилась бы эта высокая, стройная фигура, прямая и вместе с тем гибкая, красивый лоб без морщин, прямой взгляд, его детское лицо, на котором уже проступала несколько неожиданная серьезность. Он был без шляпы, и его пепельные волосы, которые в то время были у него довольно длинные, слегка вились на висках, наполовину скрывая уши.

— Вот о чем я хочу еще тебя просить, — начал

я, вставая со скамьи, на которой мы оба сидели, — ты говорил о своем намерении выехать послезавтра, я прошу тебя не откладывать поездки. Ты собирался провести в отсутствии целый месяц; прошу тебя ни на один день не сокращать своего путешествия. Согласен?

— Да, отец; я подчиняюсь.

Мне показалось, что он тогда сильно побледнел, так что даже губы его совсем потеряли краску. Но это быстрое согласие я истолковал как знак того, что любовь его была еще недостаточно сильной; мысль эта принесла мне несказанное облегчение. А кроме того я был умилен его послушанием.

— Я снова узнаю своего любимого мальчика, — тихо сказал я ему и, прижав его к себе, коснулся губами его лба. Я почувствовал, что он чуть-чуть отстранился, но я не захотел на него обижаться.

10 марта

Наш домик так мал, что нам приходится невольно делать все на глазах друг у друга, и иногда это довольно-таки стесняет мою работу, хотя я закрепил за собой в первом этаже маленькую комнату, где я могу оставаться один и принимать посетителей. Особенно же это стесняет, когда мне хочется поговорить с кем-нибудь из домашних наедине, не придавая, однако, беседе чересчур

официального характера, как это несомненно бы вышло у меня в приемной, про которую дети шутя говорят: «святое место», куда нам вход воспрещается. Но сегодня утром Жак уезжал в Невшатель, где ему нужно купить себе башмаки для экскурсии, а так как погода выдалась прекрасная, дети после завтрака ушли из дому вместе с Гертрудой, которую они водят и которая заодно водит и их самих. (Мне приятно попутно отметить, что Шарлотта относится к ней с исключительной предупредительностью.) Вполне естественно, что я остался один с Амелией как раз в такое время, когда мы пили чай у себя в столовой. Я этого именно и желал, так как мне очень нужно было с нею поговорить.

Мне так редко случается оставаться с нею с глазу на глаз, что я ощутил в себе какую-то робость, и серьезность вещей, о которых мне предстояло ей говорить, повергала меня в смущение, как если бы дело шло не о признаниях Жака, а о моих собственных. Я почувствовал также, прежде чем начать говорить, до какой степени два существа, живущие как-никак одной общей жизнью и даже любящие один другого, могут быть (или стать) непонятными и как бы замурованными друг для друга; в подобных случаях слова — те ли, которые

мы сами обращаем к другому, или те, которые обращает к нам он, — звучат жалостно, как удары зонда, предупреждающего нас о сопротивлении разделительной ткани, которая, если на нее не обращать внимания, грозит уплотниться все больше…

— Вчера вечером и сегодня утром к меня был разговор с Жаком, — начал я в то время, как она разливала чай; и мой голос дрожал в такой же мере, в какой голос Жака вчера звучал уверенно. — Он сказал мне, что любит Гертруду.

— Он отлично сделал, что с тобой поговорил, — заметила она, не глядя на меня и продолжая свои хозяйственные занятия, как если бы я рассказал ей самую заурядную вещь и при этом не сообщил ничего нового.

— Он сказал, что хочет жениться на ней; его решение…

— Это можно было предвидеть, — пробормотала она, пожав легонько плечами.

— Значит, ты кое-что подозревала? — спросил я с некоторой нервностью.

— Видно было, что это началось уже очень давно. Но таких вещей мужчины обыкновенно не замечают.

Так как оспаривать ее было бы бесполезно и

так как слова ее содержали в себе, пожалуй, известную долю правды, я просто ей возразил:

— В таком случае, тебе безусловно следовало меня предупредить.

Она улыбнулась той слегка кривившей уголок рта улыбкой, которая часто сопровождала и прикрывала ее умалчивания, и склонила голову набок:

— Что бы это было, если бы я стала тебя предупреждать обо всем, чего ты не видишь!..

Что значил этот намек? Я этого не знал и, не желая ни о чем допытываться, пропустил ее слова мимо ушей.

— Одним словом, я хотел бы услышать твое мнение.

Она вздохнула и сказала:

— Друг мой, ты знаешь, что я никогда не одобряла присутствия этой девушки в нашем доме.

Я с трудом удержался от вспышки при этом намеке не недавнее прошлое.

— Речь идет не о присутствии здесь Гертруды, — ответил я; но Амелия уже продолжала:

— Я всегда находила, что из этого ничего, кроме неприятностей, не выйдет.

Искренно желая избежать ссоры, я подхватил на лету ее фразу:

— Значит, брак этот представляется тебе неприятным? Как раз это мне и хотелось от тебя слышать; очень рад, что мы, наконец, сходимся во мнениях. — Я прибавил еще, что Жак к тому же, вероятно, подчинился доводам, которые я ему привел, так что ей больше не о чем волноваться; мы с ним условились, что он завтра же отправится в свою поездку, которая продлится целый месяц.

— Так как я подобно тебе нисколько не заинтересован в том, чтобы ко времени возвращения Жака Гертруда находилась у нас, — вставил я под конец, — я подумал, что самое лучшее будет устроить ее у мадемуазель де ла М., у которой я по-прежнему смогу с ней видеться; мне не к чему скрывать, что я связан самыми серьезными обязательствами по отношению к этой девочке. Недавно я заходил предупредить ее новую хозяйку, которая охотно соглашается оказать нам услугу. Тем самым ты тоже освободишься от присутствия человека, который тебе в тягость. Луиза де ла М. будет смотреть за Гертрудой; она, видимо, в восторге от этого предложения; она заранее радуется, что будет давать ей уроки гармонии.

Амелия, видимо, дала себе слово хранить глубокое молчание, а потому я снова заговорил:

— Так как Жаку не следует позволять видеться с Гертрудой вне стен нашего дома, я полагаю, что недурно было бы предупредить мадемуазель де ла М. относительно создавшегося положения. Как ты думаешь?

Я пытался своими вопросами добиться хоть слова от Амелии; но она плотно сжимала губы, словно поклявшись, что ничего не ответит. А я все продолжал, и не потому, что хотел еще что-нибудь добавить, а потому что молчание ее сделалось для меня невыносимым.

— Впрочем, возможно, что Жак вернется из поездки излечившимся от своей любви. Разве в его годы люди отдают себе отчет в своих чувствах?

— О, иногда и в гораздо более зрелые годы они не отдают себе в них отчета, — как-то странно заметила она наконец.

Ее загадочный и наставительный тон раздражал меня, тем более что я по натуре человек ума трезвого и не легко мирюсь со всякого рода таинственностью. Повернувшись к ней, я попросил ее объяснить, что она хотела сказать своими словами.

— Ничего, друг мой, — грустно проронила она. — Я лишь подумала о только что выраженном тобой желании, чтобы тебя предупреждали

в тех случаях, когда ты сам чего-нибудь не замечаешь.

— Ну и что же?

— Ну и вывела заключение, что предупредить человека не так-то легко.

Я говорил уже, что терпеть не могу таинственности и из принципа не допускаю никаких недомолвок.

— Если ты хочешь, чтобы я тебя понимал, постарайся выражать свои мысли яснее, — проговорил я, несомненно несколько грубым тоном, в чем тотчас же раскаялся, так как заметил, что губы Амелии на мгновение задрожали. Она отвернулась, встала с места и сделала несколько неуверенных, почти шатающихся движений по комнате.

— Скажи мне, Амелия, — проговорил я, — стоит ли все время расстраиваться и теперь, когда все поправлено?

Я чувствовал, что мой взгляд ее стесняет, и поэтому следующую фразу произнес, повернувшись спиной, положив локоть на стол и опустив голову на руку:

— Я говорил с тобой сейчас очень резко. Прости.

И вдруг я услышал, что она подходит ко мне:

я почувствовал, как ее пальцы легко легли мне на лоб, и в то же время она нежно проговорила голосом, полным слез:

— Мой бедный друг!

И затем сию же минуту вышла из комнаты.

Фразы Амелии, казавшиеся мне в то время загадочными, вскоре для меня разъяснились; я воспроизвел их в том виде, в каком их воспринял впервые; в тот день я понял только одно: Гертруде настало время уехать.

12 марта

Я вменил себе в обязанность каждый день уделять немного времени Гертруде; в зависимости от загруженности моего дня иногда это составляло несколько часов, иногда несколько минут. На следующий день после моей беседы с Амелией я был довольно свободен, погода выдалась прекрасная, и я увлек Гертруду в лес к тому отрогу Юры, где сквозь завесу ветвей, за огромной отлогой равниной, взгляду в ясную погоду открывается поверх легкого тумана чудесное зрелище белоснежных Альп. Солнце уже клонилось к западу влево от нас, когда мы добрались до места, где обычно любили сидеть. Луг с короткой и густой травой спускался к нашим ногам; невдалеке паслись коровы; у каждой из них, как это принято в

горах, на шее висел колокольчик.

— Они как бы рисуют пейзаж, — сказала Гертруда, прислушиваясь к позвякиванию бубенцов.

Она попросила меня, как на всякой прогулке, описать ей местность, где мы проходили.

— Но ведь ты и без того знаешь: это опушка, откуда виднеются Альпы.

— А их хорошо видно сегодня?

— Они видны сейчас в полном великолепии.

— Вы мне говорили, что они каждый день бывают разные.

— С чем нужно было бы их сегодня сравнить? С жаждой, которую испытываешь в летний день. Еще до вечера они окончательно истают в воздухе.

— Скажите, пожалуйста, а что на лугу перед ними есть лилии?

— Нет, Гертруда, лилии не растут на таких высотах; разве какие-нибудь чрезвычайно редкие их виды.

— Но не те, которые называются лилии полей?

— Лилий на полях не бывает.

— Даже на полях в окрестностях Невшателя?

— Лилий на полях не бывает.

— А почему же тогда Господь сказал: «Взгляните на лилии полей»?

— Очевидно, в его времена они там были, поскольку он так говорил, но от посевов человека все они вымерли.

— Помнится, вы часто мне говорили, что здесь, на земле, мы больше всего нуждаемся в любви и в вере. Как вам кажется, если бы у людей было больше веры, не могли бы они снова видеть лилии? Вот я, когда я слышу эти слова, уверяю вас, я вижу эти цветы. Хотите, я их вам сейчас опишу? Они похожи на колокольчики из пламени, большие лазоревые колокольчики, полные ароматов любви, качаемые вечерним ветром. Почему вы говорите, что их нет? Здесь, на лугу перед нами? Я их обоняю. Я вижу, что они покрывают весь луг.

— Они не прекраснее тех цветов, которые ты видишь.

— «Истинно говорю вам, что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них», — привела она слова Христа, и, слушая ее мелодический голос, я поддался впечатлению, будто слышу их в первый раз. — «Во всей славе своей», — задумчиво повторила она и некоторое время сидела молча.

Я начал:

— Я уже тебе говорил, Гертруда: люди, обладающие глазами, не умеют смотреть. — И я услышал,

как из глубины моей души поднялась во мне такая молитва: «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты явил нищим духом то, чего не открываешь премудрым!»

— Если б вы знали, — вскричала она тогда в каком-то шутливом возбуждении, — о, если б вы только знали, с какой легкостью я все это себе представляю! Вот что, хотите я опишу вам пейзаж?.. Сзади нас, вверху и вокруг стоят высокие, пахнущие смолою, сосны, с красными стволами, с длинными темными горизонтальными ветками, которые стонут, когда их сгибает ветер. У наших ног, как раскрытая книга, наклонно лежащая на пюпитре горы, большой зеленый и пестрый луг, то синий от тени, то золотистый от солнца, а словами этой книги являются цветы: горечавка, ветреница, лютики и пышные лилии Соломона, которые коровы разбирают по складам своими колокольцами и которые слетаются читать ангелы, поскольку глаза людей, как вы сказали, закрыты. А под книгой я вижу молочную реку, туманную, мглистую, таящую таинственную пучину, огромную реку; и нет у нее других берегов, кроме прекрасных сияющих Альп, там далеко-далеко прямо перед нами… Туда-то и отправится Жак… Скажите, он действительно

уезжает завтра?

— Да, он должен уехать завтра. Он тебе это сказал?

— Он мне ничего не говорил, но я догадалась. Он долго пробудет в отсутствии?

— Месяц… Гертруда, мне хотелось спросить тебя… Почему ты мне не рассказала, что он приходил к тебе в церковь?

— Он приходил туда дважды. О, я не хочу ничего от вас скрывать, но я боялась вас огорчить.

— Ты огорчишь меня только в том случае, если будешь молчать.

Ее рука потянулась к моей.

— Ему было грустно уезжать.

— Скажи, Гертруда… он говорил, что любит тебя?

— Он мне не говорил, но я сама отлично это почувствовала без всяких слов. Он любит меня не так сильно, как вы.

— А ты сама, Гертруда, страдаешь от того, что он уезжает?

— Я думаю, что ему лучше уехать. Я не могла бы ответить ему взаимностью.

— Ответь же: ты страдаешь от того, что он уезжает?

— Вы отлично знаете, что я люблю вас, пастор…

Ах, зачем вы отдернули вашу руку? Я не стала бы так говорить, если бы вы не были женаты. Слепых ведь не берут замуж. Почему бы нам, в таком случае, не полюбить друг друга? Скажите, пастор, неужели вы видите в этом что-нибудь дурное?

— В любви никогда не бывает дурного.

— Я ощущаю в своем сердце столько добра. Я не хотела, чтобы Жак страдал из-за меня. Я никому не хотела бы причинять страданья… Я хотела бы дарить одно лишь счастье.

— Жак имел в виду просить твоей руки.

— Вы позволите мне поговорить с ним перед отъездом? Я хотела бы объяснить ему, что ему нужно отказаться от любви ко мне. Пастор, вы, наверное, сами понимаете, что я ни за кого не должна выходить замуж. Вы позволите мне с ним поговорить? Не правда ли?

— Сегодня же вечером.

— Нет, завтра, перед самым отъездом…

Солнце садилось в ликующем великолепии. Вечер был теплый. Мы встали и, не прекращая беседы, двинулись по затененной дороге обратно.

Тетрадь вторая

25 апреля

Мне пришлось на некоторое время запустить свою тетрадь.

Снег наконец стаял, и, как только дороги сделались снова проезжими, мне пришлось заняться исполнением многочисленных обязанностей, которые я вынужден был откладывать в течение всего времени, пока деревня наша была отрезана. Только вчера в моем распоряжении оказалось несколько минут свободного времени.

Вчера ночью я перечел все, что здесь написал…

Теперь, когда я смело могу назвать по имени свое, в течение столь долгого времени не опознанное чувство, я с трудом понимаю, как я до сих пор мог еще заблуждаться, каким образом сообщенные мною выше слова Амелии могли мне казаться загадочными; как после всех наивных признаний Гертруды я мог сомневаться, что люблю ее. Дело в том, что я тогда никак не соглашался признать существование любви вне брака, но в то же время не соглашался признать хотя бы крупицу чего-то запретного в чувстве, с

такою пылкостью увлекавшем меня к Гертруде.

Наивность ее признаний, самое их простодушие успокаивало меня. Я говорил себе: она ребенок. Настоящая любовь была бы неразрывно связана с конфузливостью, с краской в лице. И, со своей стороны, я тоже убеждал ее, что люблю ее так, как любят увечного ребенка. Я смотрел за ней, как за больной, а самую ее тренировку превратил в моральный долг, в обязанность. И, конечно, в тот самый вечер, когда она говорила мне приведенные выше слова, когда я ощущал в душе такую легкость и радость, — я все еще заблуждался, как заблуждался и в момент записи ее слов. И потому именно, что я осуждал любовь и считал, что все предосудительное калечит душу, отсутствие тяжести на душе отстраняло самую мысль о любви.

Я привел все наши беседы не только в том виде, как они состоялись, но я и записал их в том самом настроении, которое у меня было тогда; сказать по правде — только сегодня ночью, перечитывая все мной написанное, я наконец правильно понял…

Сейчас же, после отъезда Жака, — которому я разрешил объясниться с Гертрудой и который по возвращении провел здесь последние дни кани-

кул, делая вид, что избегает Гертруду и говорит с ней только при мне, — жизнь наша вошла в обычную спокойную колею. Гертруда, как было решено, поселилась у Луизы, где я навещал ее каждый день. И все-таки я, страшась, очевидно, любви, старался не говорить с нею о вещах, способных ее растрогать. Я разговаривал с нею как пастор и чаще всего в присутствии Луизы, занимаясь прежде всего ее религиозным воспитанием и подготовляя ее к причастию, которого она сподобилась на Пасхе.

В день Пасхи я тоже причащался.

Все это имело место две недели тому назад. К моему изумлению, Жак, приезжавший к нам на неделю весенних каникул, не предстал вместе со мной перед престолом. И с великою скорбью мне приходится сказать, что впервые за все время нашего брака Амелия тоже не присутствовала. Казалось, что они сговорились и своим отказом от этой торжественной встречи решили набросить тень на мою радость. При этом я еще раз испытал удовольствие оттого, что Гертруда не могла ничего видеть и что тем самым одному только мне пришлось выдержать тяжесть этого огорчения. Я слишком хорошо знаю Амелию, чтобы не уяснить себе, сколько упрека таило в себе

ее поведение. Обычно она никогда не выступает против меня открыто, она старается показать мне свое осуждение, создавая вокруг меня пустоту.

Я был глубоко задет, что обида этого рода — такая, о которой мне, собственно, стыдно упомянуть, — могла до такой степени занять душу Амелии, что отвлекла ее от исполнения самого высокого долга. По дороге домой я молился за нее со всей искренностью моего сердца.

Что до Жака, то его отсутствие вызывалось мотивами совсем иного рода, которые для меня стали ясными после беседы, состоявшейся у нас вскоре после этого дня.

3 мая

Религиозное воспитание Гертруды заставило меня перечесть Евангелие совсем по-новому. Для меня делается все более ясным, что огромное количество понятий, составляющих нашу христианскую веру, восходит не к словам самого Христа, а к комментариям апостола Павла.

Это и явилось, собственно, содержанием спора, который только что и произошел у меня с Жаком. При его суховатом от природы темпераменте, сердце не дает достаточно пищи для его мыслей: он становится догматиком и традиционалистом. Он упрекал меня в том, что из христианского

учения я выбираю, «только то, что мне нравится». Но я отнюдь не подбираю, как попало, слов Христа. Просто из них двоих — Христа и апостола Павла — я предпочитаю Христа. Из страха их противопоставить друг другу, он отказывается их разобщить, не хочет почувствовать огромную разницу в вдохновении одного и другого и протестует, когда я ему объясняю, что в первом случае я слышу бога, а во втором слушаю человека. Чем больше Жак рассуждает, тем сильнее он убеждает меня в том, что абсолютно невосприимчив к неизъяснимо-божественному звуку малейшего слова Христова.

Я ищу по всему Евангелию, я тщетно ищу заповеди, угрозы, запрещения... Все это исходит только от апостола Павла. И как раз то, что он нигде не находит этого в словах самого Христа, всего больше мучает Жака. Люди с такой душой, как у него, считают себя погибшими, как только они не чувствуют возле себя опеки, ограды или барьера. И кроме того они не терпят в другом человеке свободы, которою сами они поступились, и стараются добиться принуждения того, что охотно было бы им отдано во имя любви.

— Но и я, отец мой, тоже желаю душе счастья.

— Нет, мой друг, ты хочешь ее подчинения.

— Но в подчинении как раз и заключается счастье.

Я оставляю за ним последнее слово, так как мне надоедает спорить из-за мелочей; но я твердо знаю, что счастье ставится под удар всякий раз, когда его добиваются с помощью средств, которые сами должны, напротив, являться результатом счастья, — и что, если верно, что любящая душа радуется своему добровольному подчинению, ничто так не отделяет от счастья, как подчинение без любви.

К слову сказать, Жак мыслит очень недурно; и, если бы меня менее огорчало присутствие в столь юном уме такой доктринерской сухости, я бы, наверное, восхитился вескостью его доводов и солидностью его логики. Мне часто кажется, что я гораздо моложе его; что я сегодня моложе, чем был вчера, и я повторяю про себя слово Писания: «Если вы не будете, как дети, вы не войдете в царствие небесное».

Неужели же это значит предать Христа, принизить и профанировать Евангелие, если я усматриваю в нем в первую очередь путь к достижению блаженства? Радость духа, которой мешают наши сомнения и жестокосердие, является чем-то обязательным для христианина.

Каждое существо более или менее способно к радости. Каждое существо обязано к ней стремиться. Одна улыбка Гертруды учит меня этому гораздо лучше, чем ее все мои поучения.

И предо мной светоносно встали следующие Христовы слова: «Если бы вы были слепыми, вы были бы без греха». Грех есть то, что помрачает душу, то, что препятствует ее радости. Совершенное счастье Гертруды, излучаемое всем ее существом, проистекает из того, что она не знает греха. Все в ней один свет, одна любовь.

Я передал ей, в ее пытливые руки, четыре Евангелия, псалмы, Апокалипсис и три послания Иоанна, где она может прочесть: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы», равно как уже в Евангелии она могла встретить слова Спасителя: «Я свет мира, и кто со мной, не будет ходить во тьме». Я отказываюсь, однако, давать ей послания Павла, ибо если она, как слепая, не знает вовсе греха, к чему тогда беспокоить ее и позволять ей читать: «Грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Римл., VII, 13) и всю дальнейшую диалектику, несмотря на весь ее блеск?

8 мая

Вчера из Шо-де-Фона приехал доктор Мартен. Он долго обследовал глаза Гертруды с помощью

офтальмоскопа. Он сообщил мне, что говорил о Гертруде с доктором Ру, лозаннским специалистом, которому собирается представить свои наблюдения. Оба считают, что Гертруде можно сделать операцию. Мы уговорились, однако, ни слова не говорить Гертруде до тех пор, пока у нас не будет полной уверенности. Мартен обещал приехать и сообщить мне о результатах совещания с Ру. К чему возбуждать в Гертруде надежду, которую вскоре пришлось бы угасить? И кроме того, разве она и теперь не вполне счастлива?

10 мая

На Пасхе Жак и Гертруда встретились в моем присутствии; вернее сказать, Жак навестил Гертруду и беседовал с нею, впрочем, о вещах самых ничтожных. Он был гораздо меньше взволнован, чем можно было бы ожидать, и я снова повторил себе, что, если бы любовь его была по-настоящему пылкой, ее не так легко можно было бы побороть; правда, перед отъездом его в прошлом году Гертруда ему объявила, что ему не следует питать надежд. Я заметил, что теперь он говорит Гертруде «вы», и это, несомненно, правильнее; впрочем, я его об этом не просил, и я очень рад, что он сам сообразил. В нем, безусловно, есть очень много хорошего.

Тем не менее я начинаю подозревать, что эта покорность давалась Жаку не без усилий и не без борьбы. Досадно, однако, что принуждение, которое он наложил на свое сердце, в настоящее время в его глазах есть вещь прекрасная сама по себе; он хотел бы навязать его всем; я почувствовал это во время той дискуссии, которая недавно у нас состоялась и о которой я сообщал уже выше. Кажется, еще Ларошфуко сказал, что наш ум часто бывает игрушкой сердца. Конечно, я не рискнул тут же обратить на эти слова внимание Жака, зная его натуру и причисляя его к тем людям, которых спор еще сильнее заставляет отстаивать свою точку зрения; но в тот же вечер, отыскав как раз у апостола Павла (я мог поразить Жака только его собственным оружием) подходящий материал для возражения, я позаботился оставить у него в комнате записку, в которой он мог прочитать: «Кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его» (Римл., XIV, 3).

Я отлично мог бы выписать еще и продолжение текста: «Я знаю и уверен через Господа Иисуса, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым: тому нечисто», — но не рискнул этого сделать, опасаясь, как бы Жак не усмотрел в моей мысли

какого-то оскорбительного намека на Гертруду, а от этого следует всячески оберегать его ум. В данном случае дело явно идет о пище, но сколько находим в Писании мест, которым следует придавать двойной и тройной смысл! («Если глаз твой…» — чудесное умножение хлебов, чудо в Кане Галилейской и т. д.). Заниматься мелочным спором здесь неуместно; смысл этого стиха глубок и пространен: ограничения должен вносить не закон, а любовь, и апостол Павел вслед за этим сейчас же восклицает: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». По причине недостаточности нашей любви нас и одолевает лукавый. Господи, изыми из моего сердца все, что не принадлежит любви… Ибо я напрасно бросил вызов Жаку: на следующее утро я нашел у себя на столе записку, на которой я выписал свой стих; на обратной стороне листка Жак всего только проставил другой стих из той же главы: «Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер» (Римл., XIV, 15).

Я еще раз прочел всю главу. Вся она — отправной пункт для бесконечных дискуссий. И я стану терзать всеми этими недоумениями, стану омрачать этими тучами ясное небо Гертруды? Разве я не ближе к Христу и не приближаю ли я ее

к нему, когда я учу ее и заставляю верить, что единственный грех — это покушение на счастье другого или неуважение к своему собственному счастью?

Увы! Есть души, упорно отталкивающие от себя всякое счастье: неприспособленные к нему, неловкие… Я думаю о бедной моей Амелии. Я беспрестанно призываю ее, я толкаю ее, понуждаю к счастью. Ибо каждого хотел бы я вознести к Богу. Но она все время уклоняется, замыкается в себе, как иные цветы, которые не распускаются ни от какого солнца. Все, что она видит, волнует ее и огорчает.

— Что поделаешь, друг мой, — ответила она мне недавно, — мне не дано было родиться слепой.

О, как мучительна для меня эта ирония и сколько приходится тратить сил, чтобы не позволить себе возмутиться! Мне кажется, однако, что ей следовало бы понять, как сильно подобного рода намеки на слепоту Гертруды способны задеть меня за живое! Тем самым она помогает мне уяснить, что меня больше всего восхищает в Гертруде ее бесконечная снисходительность, ибо ни разу еще мне не приходилось от нее слышать хотя бы малейшего осуждения по адресу ближнего. Правда, я никогда не допускаю, чтобы до

нее доходили вещи, которые чем-нибудь могут ее задеть.

И в то время как счастливая душа одним излучением любви распространяет вокруг себя счастье, вокруг Амелии все делается угрюмым и мрачным. Амелия могла бы сказать, что от нее исходят черные лучи. Когда после дня борьбы, посещений бедных, больных, обездоленных я возвращаюсь ночью домой, сплошь и рядом измученный, с сердцем, настоятельно требующим расположения, тепла и покоя, я обычно встречаю у своего семейного очага одни волнения, пререкания и неурядицы, которым я охотно бы предпочел уличный холод, ветер и дождь. Я отлично знаю, что старушка Розалия всегда старается все сделать по-своему, но дело в том, что в целом ряде случаев, когда жена хочет взять верх, старушка бывает права, а Амелия нет. Я отлично знаю, что Гаспар и Шарлотта ужасно шумливы, но разве Амелия не достигла бы бо`льших результатов, если бы кричала на них менее громко и не каждую минуту? Все эти наставления, увещания и выговоры в конце концов утрачивают всякую остроту, как камешки, лежащие на пляже, так что дети страдают от них гораздо меньше меня. Я отлично знаю, что у малютки Клода режутся

зубы (во всяком случае так уверяет Амелия всякий раз, как он начинает кричать), но разве его не приглашают невольно к крикам, когда Сара или мать сию же минуту прибегают и начинают его все время ласкать? Я глубоко убежден, что он кричал бы гораздо меньше, если бы ему позволили несколько раз покричать в полное свое удовольствие в те часы, когда меня не бывает дома. Но я знаю, что как раз в это время обе они особенно усердствуют.

Сара делается похожей на свою мать, и поэтому мне бы очень хотелось отдать ее в пансион. Увы, она совсем не похожа на Амелию той поры, когда мы обручились и когда ей было столько лет, сколько Саре; она похожа на ту женщину, какой стала Амелия под влиянием материальных хлопот, — я чуть было не сказал «упоения житейскими хлопотами» (ибо Амелия действительно ими упоена). В самом деле, мне трудно теперь узнать в ней того ангела, который недавно еще встречал улыбкой каждый благородный порыв моего сердца, которого я мечтал нераздельно слить с моей жизнью и который, как мне казалось, уже опережал меня и вел меня к свету — а, может быть, в то время я был просто одурачен любовью?.. Я не могу открыть в Саре ничего, кроме

самых вульгарных склонностей. Подобно матери, она озабочена только самыми мелочными хлопотами; даже черты ее лица, не одухотворяемые никаким внутренним пламенем, потускнели и затвердели. Ни интереса к поэзии, ни хотя бы вообще только к чтению; я никогда не слышал, чтобы у них завязался разговор, в котором мне хотелось бы принять участие; и в их обществе я ощущаю свое одиночество еще мучительнее, чем когда я удаляюсь к себе в кабинет, что я, однако, начинаю делать все чаще и чаще.

Кроме того, начиная с осени, под влиянием раннего наступления ночей, я завел привычку всякий раз, как мне это позволяли мои разъезды, то есть когда я возвращался домой довольно рано, — уходить пить чай к мадемуазель де ла М. Я еще не сказал, что с ноября прошлого года Луиза де ла М. приняла к себе, кроме Гертруды, еще трех слепых детей, которых Мартен посоветовал доверить ее заботам. Гертруда обучает их теперь в свой черед чтению и выполнению разных мелких работ, и девочки эти проявляют большие способности.

Какой покой, какое отдохновение испытываю я всякий раз, вступая в согретую теплом обстановку «Овина», и как мне ее не хватает, когда мне

случается не бывать там два или три дня подряд. Само собой разумеется, мадемуазель де ла М. свободно может содержать как Гертруду, так и троих маленьких жилиц, не стесняясь в деньгах и не утруждая себя хлопотами; три служанки с большим усердием помогают ей и освобождают ее от всякой работы. Вряд ли кто сможет сказать, что досуг и богатство были заслужены когда-нибудь с большим правом! С давних пор Луиза де ла М. посвящала себя заботам о бедных; это глубоко религиозная душа, которая, видимо, только и делает, что откликается на земные нужды и живет для одних дел любви; ее волосы, схваченные кружевным чепчиком, совсем серебряные, и тем не менее трудно себе представить более детскую улыбку, более гармоничные движения, более музыкальный голос. Гертруда усвоили ее манеры, склад речи, своеобразную интонацию — и не одного только голоса, но и ума, но и всего ее существа, — так что я все время вышучиваю их обеих за это сходство, которого, однако, обе они упорно не признают. Мне бывает страшно приятно, если только находится время побыть немного у них, смотреть, как они, сидя рядом, причем Гертруда либо склоняет голову на плечо своего друга, либо оставляет одну руку в руках

Луизы, слушают, как я читаю им стихи Ламартина или Гюго; как мне бывает приятно созерцать в их прозрачных душах отблеск поэзии! Даже маленькие ученицы не остаются совершенно бесчувственными. Дети эти в окружении любви и покоя удивительно развиваются и делают поразительные успехи. Я улыбнулся вначале, когда Луиза заговорила о том, чтобы они учились танцам, отчасти для здоровья, отчасти для удовольствия; но сейчас я сам удивляюсь ритмической грации движений, которые им теперь удаются, но которых они сами, увы, не способны ценить. Впрочем, Луиза де ла М. убеждает меня, что хотя они не видят своих движений, тем не менее они могут воспринять их гармоничность своими мускулами. Гертруда присоединяется к этим танцам с совершенно пленительной грацией и снисходительностью и вообще получает от них очень большое удовольствие. Иногда Луиза де ла М. сама начинает играть с девочками, и тогда Гертруда садится за пианино. Она сделала поразительные успехи в музыке; теперь она каждое воскресенье сама играет на органе в нашей часовне и импровизирует короткие прелюды к исполняемым песнопениям.

Каждое воскресенье Гертруда приходит к нам

завтракать; мои дети встречаются с ней с удовольствием, хотя она с ними все больше расходится во вкусах. Амелия не очень нервничает, и завтрак проходит мирно и гладко. Все мы потом провожает Гертруду и пьем чай в «Овине». Это праздник для моих детей, которых Луиза слишком балует и пичкает лакомствами. Даже Амелия, не слишком чувствительная к любезностям, в конце концов развеселяется и кажется совсем помолодевшей. Я думаю, что теперь она с трудом перенесла бы лишение этой передышки в снотворном течении ее жизни.

18 мая

Сейчас, когда установилась хорошая погода, я мог снова отправиться погулять с Гертрудой, чего у нас с ней уже очень давно не бывало (недавно снова выпал снег, и дороги вплоть до последних дней находились в ужасном состоянии), как давно не бывало и того, чтобы мы с ней оставались наедине.

Мы шли быстрым шагом; свежий ветер румянил ее щеки и все время закрывал ей лицо ее белокурыми прядями. Когда мы проходил мимо торфяника, я сорвал несколько цветущих стеблей камыша, которые я засунул ей под берет и затем переплел с волосами, чтобы они лучше

держались.

Мы еще почти не разговаривали и все еще удивлялись тому, что идем вместе, как вдруг Гертруда, повернув ко мне свое невидящее лицо, в упор спросила меня:

— Как вы думаете, Жак еще любит меня?

— Он примирился с тем, что должен отказаться от тебя, — ответил я в ту же минуту.

— Как вы думаете, он знает про вашу любовь ко мне? — проговорила она.

Со времени нашего объяснения прошлым летом, о котором я здесь писал, прошло уже больше полугода, но между нами ни разу (я сам этому удивляюсь) не было произнесено ни единого слова любви. Я уже отмечал, что мы никогда не оставались одни, и лучше было бы, если бы так оно впредь и осталось… От вопроса Гертруды сердце мое забилось с такой силой, что я вынужден был несколько замедлить шаг.

— Но ведь все тут, Гертруда, знают, что я тебя люблю, — воскликнул я. Но она не поддалась на эту уловку:

— Нет, нет, вы не отвечаете на мой вопрос.

После минуты молчания она снова заговорила, опустив голову:

— Тетя Амелия это знает; и я тоже знаю, что от

этого она грустит.

— Она грустила бы и без этой причины, — возразил я несколько неуверенным голосом. — Такая уж она грустная от природы.

— Ах, вы всегда стараетесь меня успокоить, — произнесла она с некоторым нетерпением. — Но я совсем не хочу, чтобы меня успокаивали. Я знаю, есть много вещей, которых вы мне не говорите из опасения взволновать меня или сделать мне больно; очень много вещей, остающихся для меня неизвестными, так что иной раз…

Голос ее делался все тише и тише; она замолчала, точно у нее не хватало дыханья. И, когда я, повторив ее последние слова, спросил:

— Так что иной раз?..

— Иной раз, — грустно продолжала она, — мне кажется, что все счастье, которым я вам обязана, покоится на неведении.

— Гертруда…

— Нет, позвольте мне сказать… Я не желаю подобного счастья. Поймите, что я не… Я совсем не хочу быть счастливой. Я предпочитаю знать. Есть много, много вещей, вещей безусловно печальных, которых я не могу видеть, но вы не имеете права их от меня скрывать. Я много думала в эти зимние месяцы; и я начинаю бояться, видите

ли, что мир совсем не так прекрасен, пастор, как вы мне внушили, что до этого ему еще очень далеко.

— Это верно, что человек часто оскверняет собою землю, — опасливо заговорил я, ибо стремительность ее мысли испугала меня, и я пытался теперь отвести ее в сторону, не надеясь, однако, на успех. Она, видимо, ожидала таких слов, ибо, ухватившись за них, как за звено, которым можно скрепить концы цепи:

— Вот именно, — воскликнула она, — мне хотелось бы знать наверняка, что сама я не усугубляю зла.

Долгое время мы продолжали быстро итди вперед, на говоря ни слова. Все, что я мог бы сказать, уже заранее должно было столкнуться с ее уяснившейся теперь для меня мыслью; я боялся вызвать ее на какую-нибудь фразу, от которой могла зависеть наша судьба. И при мысли о словах Мартена, что ей можно возвратить зрение, сердце мое сжалось непомерной тоской.

— Мне хотелось спросить вас, — заговорила она наконец, — не знаю только, как это сказать…

Она несомненно напрягала все свое мужество, как делал, впрочем, и я, вслушиваясь в ее слова. Но разве мог я предугадать вопрос, которым он

тогда мучилась:

— Скажите, дети слепой должны непременно родиться слепыми?

Я затруднился бы сказать, для кого из нас беседа эта была более тягостной, но мы не могли ее не продолжать:

— Никоим образом, Гертруда, — ответил я, — за исключением совершенно особых случаев. Нет никаких оснований для того, чтобы они рождались слепыми.

Это ее, видимо, чрезвычайно успокоило. Я хотел было в свою очередь спросить ее, почему она об этом меня спрашивает, но у меня не хватило мужества, и я неловко сказал:

— Но для того, чтобы иметь детей, необходимо быть замужем, Гертруда.

— Не говорите мне этого, пастор. Я знаю, что это неправда.

— Я сказал тебе то, что подобало сказать, — заявил я. — Но, действительно, законы природы позволяют то, что запрещается законом божеским и человеческим.

— Вы мне часто говорили, что законы божественные являются законами любви.

— Любовь, о которой идет речь, не является той, которую мы называем человеколюбием.

— Значит, вы меня любите из человеколюбия?

— Ты сама ведь отлично знаешь, что нет.

— Тем самым вы должны признать, что любовь наша преступает божественный закон.

— Что ты хочешь сказать?

— О, вы сами это хорошо знаете, и не мне следовало бы говорить об этом.

Я тщетно пытался лавировать; сердце мое командовало отступление моим поколебленным доводам. Я с отчаянием вскричал:

— Гертруда… значит, ты думаешь, что любовь твоя является преступной?

Она поправила:

— …Что наша любовь… Да, я считаю, что именно так следовало бы об этом думать.

— Значит?.. — Я уловил в собственном голосе какую-то молящую ноту, в то время как она, не переводя дыхания, докончила:

— Но от этого я не могу еще перестать вас любить.

Все это случилось вчера. Я не решался сначала это писать… Не помню, как мы закончили прогулку. Мы шли поспешным шагом, словно бежали, и я крепко прижимал к себе ее руку. Душа моя в такой мере отрешилась от моего тела, что, казалось, самый крошечный камешек на дороге был

бы способен свалить с ног нас обоих.

19 мая

Мартен приехал сегодня утром. Гертруде можно сделать операцию; Ру в этом убежден и просит доверить ему на некоторое время Гертруду. Я не могу привести никаких возражений, и тем не менее я малодушно попросил времени на размышление. Я попросил, чтобы мне было позволено осторожно подготовить ее… Сердце мое должно бы возликовать от радости, а я чувствую, что оно тяжело, как камень, и чревато невыразимой тоской… При мысли, что я должен сообщить Гертруде о возможности восстановить ее зрение, мужество меня покидает.

19 мая ночью

Я виделся с Гертрудой и ни слова ей не сказал. Так как сегодня вечером в общем зале «Овина» никого не было, я прошел к ней в комнату. Мы были одни.

Я долгое время стоял, крепко прижимая ее к груди. Она не сделала ни одного движения, чтобы освободиться, и, так как она подняла ко мне свое лицо, губы наши встретились…

21 мая

Не для нас ли, Господи, создана тобой эта глубокая дивная ночь? Или же она для меня? Воздух

теплый, через открытое окно ко мне входит луна, и я слушаю безмерное молчание небес. О, это смутное благоговение всей божьей твари, от которого сердце мое тает в несказанном восторге! Я могу молиться только с неистовством. Если и существует ограничение в любви, то оно не от Тебя, Боже, а от людей. И какой бы преступной ни казалась людям моя любовь, скажи же мне, что в твоих глазах она свята!

Я стараюсь поставить себя выше идеи греха, но грех для меня непереносим, я не хочу оставить Христа. Нет, я не допускаю мысли, что совершаю грех, любя Гертруду. Я мог бы вырвать из сердца эту любовь не иначе, как вырвав самое сердце, но к чему это? Если бы я уже ее не любил, я должен был бы ее полюбить из одной жалости; не любить ее — значило бы предать ее: она нуждается в моей любви…

Господи, я не знаю… Я знаю только Тебя. Веди же меня. Временами мне кажется, что я погружаюсь во мрак и что зрение, которое собираются ей вернуть, от меня самого отнимают.

Вчера Гертруда была помещена в лозаннскую клинику, откуда она может выйти только через три недели. Я ожидаю ее выхода с великим страхом. Ее должен привезти обратно Мартен.

Она взяла с меня слово, что до тех пор я не буду стараться ее увидеть.

22 мая

Письмо от Мартена: операция прошла удачно. Слава Господу!

24 мая

Мысль о том, что теперь она меня будет видеть, меня, которого она до сих пор любила не видя, — мысль эта причиняет мне нестерпимую муку. Узнает ли она меня? Первый раз в жизни я с тревогой обращаюсь к зеркалу. Если я почувствую, что взгляд ее будет менее расположен ко мне, чем ее сердце, и будет менее любящим, что мне делать? Господи, иной раз мне начинает казаться, что для того, чтобы любить Тебя, мне потребна ее любовь.

27 мая

Загруженность работой позволила мне прожить последние дни без особенного нетерпения. Всякое дело, способное отвлечь меня от самого себя, для меня благословение; но по целым дням, что бы я ни делал, за мною следует ее образ.

Завтра она должна приехать. Амелия, всю эту неделю выказывавшая мне лучшие стороны своего характера, задавшаяся, по-видимому, целью помочь мне забыть об отсутствующей, готовится

вместе с детьми отпраздновать ее возвращение.

28 мая

Гаспар и Шарлотта отправились набрать возможно больше цветов в рощах и на лугах. Старушка Розалия стряпает огромный пирог, который Сара украшает узорами из золоченой бумаги. Мы ожидаем Гертруду в полдень.

Я пишу, чтобы чем-нибудь скрасить ожидание. Уже одиннадцать. Каждую минуту я поднимаю голову и смотрю на дорогу, по которой должна проехать коляска Мартена. Я сознательно не хочу выезжать навстречу; лучше будет из внимания к Амелии не разделяться при встрече. Сердце мое дрогнуло… это они!

28 вечером

Я погружаюсь в кромешную ночь…

Сжалься, Господи, сжалься! Я согласен отказаться от любви к ней, но не допусти, Господи, ее смерти!

О, как я был прав, когда боялся! Что она сделала? Что она захотела сделать? Амелия и Сара рассказали мне, что они привели ее до дверей «Овина», где ее поджидала мадемуазель де ла М. Она захотела пройтись еще раз?.. Что случилось?

Я стараюсь привести в некоторый порядок свои мысли. Сведения, которые мне сообщают,

непонятны или противоречивы. Все мешается у меня в голове… Садовник мадемуазель де ла М. только что доставил ее без сознания в «Овин»; он говорит, что видел, как она гуляла вдоль реки, потом перешла садовый мостик, затем нагнулась и скрылась; не сообразив вначале, что она упала, он не поспешил к ней, как это следовало бы сделать; он нашел ее около маленького шлюза, куда ее унесло течением. Когда позже мне довелось ее увидеть, сознание к ней еще не вернулось, или, вернее, она снова его лишилась, ибо на минуту она пришла было в себя после помощи, оказанной ей в самом начале. Мартен, который, слава Богу, еще не уехал, не понимает, чем следует объяснить охватившую ее сонливость и апатию; напрасно ее расспрашивали: у нее такой вид, словно она ничего не понимает или дала себе слово молчать. Дыхание у нее все время затрудненное, и Мартен опасается воспаления легких; он поставил ей горчичники и банки и сказал, что приедет завтра. По неосторожности ее чересчур долго продержали в мокрой одежде, когда все сразу бросились приводить ее в чувство, а между тем в речке ледяная вода. Мадемуазель де ла М., которая одна только могла добиться от нее нескольких слов, утверждает, что Гертруда хоте-

ла набрать незабудок, в изобилии растущих на нашем берегу речки, но, не умея еще правильно рассчитать расстояние или приняв плавучий цветочный покров за твердую землю, она неожиданно оступилась… О, если бы я мог этому верить, иметь убеждение, что тут просто несчастный случай, — какое тяжкое бремя свалилось бы с моей души! Но в течение нашего завтрака, очень веселого, впрочем, меня все время беспокоила странная, не покидавшая ее уст улыбка, которой я у нее раньше не знал, которую мне упорно хотелось считать улыбкой ее новорожденного взгляда; улыбка, которая струилась, казалось, из ее глаз по лицу, точно слезы, и рядом с этой улыбкой заурядная радость других воспринималась как оскорбление. Гертруда не участвовала в общей радости; можно было подумать, что ей открылась какая-то тайна, которой она, наверное, поделилась бы со мной, если бы мы остались одни. Она не сказала почти ни слова, но никто этому не удивился, так как в обществе, тем более очень шумном, она обыкновенно молчала.

Господи, молю Тебя: позволь мне с нею поговорить. Мне необходимо узнать, а иначе как же мне теперь жить? И, однако, если она действительно пожелала прервать свою жизнь, то неужели же

потому, что она узнала? Что узнала? О Гертруда, что бы это могло быть такое ужасное? Какой смертельный яд утаил я от вас, который вы вдруг рассмотрели?

Я больше двух часов провел у ее изголовья, не спуская глаз с ее лба, с ее бледных щек, с ее нежных век, смеженных над несказуемым горем, с ее еще влажных, похожих на водоросли волос, разметанных по подушке, — и слушал, как тяжело и неровно она дышала.

29 мая

Мадемуазель де ла М. прислала за мной сегодня утром, в ту самую минуту, когда я собирался итДи в «Овин». После ночи, проведенной довольно спокойно, Гертруда освободилась, наконец, от своего оцепенения. Она улыбнулась, когда я вошел к ней в комнату, и сделала мне знак присесть у ее изголовья. Я не посмел ее расспрашивать, и, по-видимому, она сама боялась вопросов, так как в ту же минуту сказала, как бы предупреждая всякие излияния:

— Как вы называете эти маленькие голубые цветочки, которые я хотела нарвать у реки? Они совсем небесного цвета. У вас больше ловкости, чем у меня, — нарвите мне их целый букет. Я поставлю их здесь, у кровати…

Искусственная веселость ее тона причинила мне боль, и Гертруда безусловно сама это поняла, потому что прибавила затем гораздо серьезнее:

— Я не могу с вами сейчас говорить, я очень устала. Нарвите мне цветов, прошу вас. И возвращайтесь скорее.

Но, когда через час я принес ей букет незабудок, мадемуазель Луиза сказала, что Гертруда опять отдыхает и может принять меня только вечером.

Вечером я с ней увиделся. Груда подушек, подложенных со всех сторон, поддерживала ее в сидячем положении. Ее волосы были причесаны и заплетены над лбом, перемежаясь с незабудками, которые я ей принес.

У нее несомненно был жар, и вид был крайне измученный. Она задержала в своей горячей руке поданную ей мною руку; я остался стоять около нее.

— Мне нужно вам сделать признание, пастор, так как я боюсь, что сегодня ночью умру, — сказала она. — Я вам солгала утром. Цветы тут ни при чем… Но простите ли вы меня, если я скажу, что хотела покончить с собой?

Я упал на колени у кровати, не выпуская ее хрупкой руки, но она высвободила ее и стала поглаживать мою голову, в то время как я спря-

тал лицо в одеяло, чтобы скрыть от нее слезы и заглушить свои рыдания.

— Вы находите, что это очень плохо? — нежно спросила она, но я ничего не ответил, и она заговорила опять: — О милый, милый друг, вы знаете, как много места заняла я в вашем сердце и в вашей жизни. Когда я к вам вернулась, мне это сразу открылось, вернее, открылось то, что место, которое я заняла, отнято мной у другой, и что она из-за меня опечалена. Я виновата в том, что почувствовала это слишком поздно и, во всяком случае, в том, — я и так ведь все хорошо знала, — что позволила вам любить себя, ни с чем не считаясь. Но, когда предо мной появилось ее лицо, когда я увидела на этом жалком лице столько горя, я не могла выдержать мысли, что горе это дело моих рук... Нет, нет, не упрекайте себя ни в чем; позвольте мне только уйти и верните ей ее радость...

Рука ее перестала гладить мою голову; я схватил эту руку и покрыл слезами и поцелуями. Но она нетерпеливым движением освободила ее и стала мучиться какой-то новой мукой.

— Это не то, что мне хотелось сказать; нет, это не то, что мне хотелось сказать, — повторила она; и я видел, что на лбу у нее выступил пот. Затем

она закрыла глаза и лежала так некоторое время, словно для того, чтобы собраться с мыслями или снова вернуть себе свою привычную слепоту; она заговорила нетвердым, упавшим голосом, который вскоре окреп по мере того, как она открывала глаза, и усилился почти до раскатов: — Когда вы вернули мне зрение, глаза мои открылись на мир, еще более прекрасный, чем тот, о котором я прежде мечтала; в самом деле, я никогда не представляла себе день таким ясным, воздух — таким прозрачным, небо — таким огромным… Но я никогда не представляла себе вместе с тем, что лица людей в такой мере отягощены заботой; и, когда я вступила в ваш дом, знаете, что я прежде всего заметила?.. О, я все-таки должна вам это сказать: я прежде всего увидела нашу вину, наш грех… О, не возражайте мне. Вы помните, что сказал Христос: «Если бы вы были слепы, вы не видали бы греха». Но теперь, увы, я вижу… Встаньте же, пастор. Сядьте тут, возле меня. Выслушайте меня, не перебивая. Когда я находилась в клинике, я читала или, вернее, я просила, чтобы мне читали из Библии те места, которых я раньше не знала и которых вы мне никогда не читали. Мне помнится один стих из апостола Павла, который я потом повторяла целый день: «Сам я, когда не имел еще

закона, я жил; но пришла заповедь, грех ожил, и я умер».

Она говорила в состоянии крайнего возбуждения, очень громким голосом и почти прокричала последние слова, так что мне стало неловко при мысли, что ее могут услышать со стороны; потом она снова закрыла глаза и шепотом повторила как бы про себя последние слова: «Грех ожил, и я умер». Я задрожал, и сердце мое оледенело от ужаса, Я хотел перевести ее мысль на другое.

— Кто тебе читал эти стихи? — спросил я.

— Жак, — ответила она, открывая глаза и пристально в меня вглядываясь. — Вам известно, что он переменил веру?

Сил моих не хватило; я стал просить ее замолчать, но она уже продолжала:

— Друг мой, сейчас я доставляю вам большое огорчение; но не хорошо будет, если между нами останется какая-нибудь неправда. Когда я увидела Жака, я сразу поняла, что я любила совсем не вас, а его. У него было как раз такое лицо, как у вас; я хочу сказать, такое лицо, каким я всегда представляла ваше… О, зачем вы заставили меня оттолкнуть его? Я могла бы стать его женой.

— Но ты и теперь можешь стать ею, Гертруда, — вскричал я в отчаянии.

— Он поступает в монахи, — порывисто проговорила она и затряслась от рыданий. — Мне хотелось бы у него исповедаться… — простонала она в каком-то экстазе. — Но вы сами видите, что я скоро умру. Я хочу пить. Позовите кого-нибудь, прошу вас. Я задыхаюсь. Оставьте меня одну. Ах, я думала, что после разговора с вами мне будет легче. Оставьте меня. Прощайте. Я не в силах больше вас видеть.

Я покинул ее. Я попросил мадемуазель де ла М., чтобы она меня заменила; крайнее возбуждение Гертруды грозило самыми дурными последствиями, но я не мог не понять, что мое присутствие только усугубляет ее положение. Я попросил, чтобы меня известили, если ей станет хуже.

30 мая

Увы! Мне пришлось ее увидеть уже усопшей. Она скончалась сегодня утром, на восходе солнца, после ночи, проведенной в бреду и в забытьи. Жак, которого по просьбе Гертруды вызвала телеграммой мадемуазель де ла М., прибыл через несколько часов после конца. Он сурово меня упрекнул за то, что я не позвал к ней кюре в то время, когда это было возможно. Но как я мог это сделать, ничего еще не зная о том, что во время пребывания в Лозанне (очевидно, по его насто-

янию) Гертруда отреклась от протестантства? Жак в одной и той же фразе известил меня о том, что он и Гертруда обратились. Таким образом, меня сразу покинули обе эти души; казалось, что разлученные мной в этой жизни, они порешили уйти от меня и соединиться в Боге. Я склонен думать, что обращение Жака продиктовано ему рассудочными доводами, а не любовью.

— Отец, — сказал он мне, — мне не годится вас осуждать, но мной руководило единственно зрелище вашего заблуждения.

После отъезда Жака я опустился на колени перед Амелией и попросил ее помолиться за меня, ибо я нуждался в поддержке. Она просто прочла «Отче наш», делая между прошениями длинные паузы, заполнявшиеся нашими мольбами.

Мне хотелось плакать, но я чувствовал, что сердце мое бесплодно, как пустыня.